

МОЛОДОЙ *78
ЛЕНИНГРАД

МОЛОДОЙ
ЛЕНИНГРАД



**МОЛОДОЙ
ЛЕНИНГРАД
, 78**



**ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ
МОЛОДЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ**

78



**Советский писатель
Ленинградское отделение
1978**

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Главный редактор

Петр КАПИЦА

Редакционная коллегия:

Александр ВОРОНЦОВ (составитель),

Аркадий МИНЧКОВСКИЙ,

Михаил ПАНИН, Борис СЕРГУНЕНКОВ,

Леонид ХАУСТОВ, Олег ЦАКУНОВ

Иллюстрации художников

А. В. БОРИСЕНКО,

Н. А. НЕФЕДОВА,

Ж. В. ЕФИМОВСКОГО

Оформление художника

Л. А. ЯЦЕНКО

Александр Ковалев

МНЕ НРАВИТСЯ

Мне нравится, когда рукопожатья
По-доброму крепки, до хруста в пальцах.
Я узнаю их — эти руки братьев —
Ижорцев,
Металлистов,
Арсенальцев.

Мне нравится — и это не для фразы, —
Когда трамвай битковый в шесть пятнадцать
Мы на Бестужевской штурмуем разом —
Балтийцы,
Металлисты,
Пролетарцы.

Мне нравится, газету развернув,
Товарищей моих увидеть лица,
Чьи имена звучат на всю страну, —
Светлановцы,
Свердловцы,
Металлисты!

АПРЕЛЬ ИДЕТ ПО ВЫБОРГСКОЙ

Какое небо чистое!
Какое утро выдалось!
Какой апрель неистовый
пошел
по нашей Выборгской!

По площадям разбуженным,
по будущим газонам
идет апрель безудержный
с капельным перезвоном.

И явно с попустительства
веснушчатых вожатых
трамваи оглушительно
в ответ звонки закатывают.

Апрелем огорошены —
не каждый день случается, —
приветливо прохожие
друг другу улыбаются,

и, из инструкций выбившись,
вахтеры личной властью
все проходные Выборгской
весне открыли настезь!

БЛОКАДНИЦА

Я на кухню тихонько войду,
я на краешек стула присяду:
тетя Надя, забыв про плиту,
снова вспомнила про блокаду.

Тетя Надя, ах, тетя Надя,
ну какая ты, право, странная,
ты ведь только вчера о блокаде
говорила нам то же самое.

И не дале как в вечер вчерашний
всем своим коммунальным составом
мы с тобою, блокадница наша,
пережили блокаду заново.

Я и сам не пойму, что со мной,
я ведь тысячу раз это слышал:
про пожары на Моховой
и про те зажигалки на крыше. . .

Почему же в который раз,
сам с собой в непонятном разладе,
я на кухню иду, как сейчас,
чтобы слушать опять о блокаде?

ТОЛОКА

С зарей взлетели в небо топоры
с подножья сруба первой
гулкой дробью,
и эхо, перемножившись над Обью,
упало на соседние дворы.

Рубили дом —
привычная работа,
как повелось здесь испокон веков:
под первую июльскую субботу
всем миром
в двадцать слаженных дворов.

Здесь каждый —
штукатур, печник и плотник —
трудился без корысти, к локтю локоть,
и называлась общая работа
легко, светло и празднично: толока.

И я шагал со всеми в той толоке
и думал, очарован звонким утром, —

не в этих ли прекраснейших истоках,
земля моя,
твоя душа и мудрость?

СУЗДАЛЬ

Дымным золотом плеснет в лицо
куполов осанистая удадь,
и обступит с четырех концов,
словно сказка,
древний город Суздаль.

С четырех сторон ветрам открыт,
я стою, наполнен дерзкой силой:
это Русь вокруг меня — как щит,
это Русь внутри меня — по жилам.

ИЮЛЬ В МИХАЙЛОВСКОМ

Безоблачный июль
пропах полынью горькой,
безжалостный зенит
над Соротью креня,
но влажный малахит
михайловских пригорков
волшебною струей
перетечет в меня.

И, ею окрылен,
брожу чашебой сонной,
проторенных дорог
невольно сторонясь.
Здесь каждая тропа
мне наизусть знакома,
как каждая строка,
что с ней переплелась.

ПЛЕВЕН

Расчешет дождь косыми стрелами
берез балканских пряди русые —
совсем как где-нибудь под Стрельной —
на удивление по-русски.

И непонятно самому,
откуда это все, откуда:
за сотни верст,
в чужом дому
такое стрельнинское чудо.

И, странным чувством этим связан,
под ливнем, хлещущим наотмашь,
я узнаю легко и сразу
и этот сквер,
и эту площадь.

И это небо рябью плотной
мне тоже издавна знакомо. . .
По верещагинским полотнам?
А может, просто —
грусть по дому.

Олег Стрижак

ВЕСЛА

ПОВЕСТЬ

...Нет службы лучше, чем на кораблях Военно-Морского Флота, и в трудной веренице дней флотского года нет лучшего дня, чем День Флота. Хищные профили больших противолодочных на фарватере Невы — крохотная частица этого щедрого праздника. Шурке нравилось думать, как на всех флотах ребята дряют корабли, стирают форменки и гладят ленточки, чтобы утром последнего воскресенья июля рвануть по «большому сбору» на ют и замереть в парадном строю, следя углом глаза, как вздрагивает на ветру двойной «Исполнительный», поднятый до половины... По-разному пройдет этот день в приморских городах, больших и малых базах, но изюминкой его были и будут шлюпочные гонки — добрая традиция русского флота.

Шурка был радиометристом, Иван — трюмным машинистом, Юрка Дымов — торпедистом. Все трое носили старшинские галуны, им вдосталь хватало забот и вахт, возни с подчиненными и заведованием. Они любили свой корабль — двухмачтовый шестисоттонник, самый красивый корабль в мире.

Этому курносому кораблику при крещении не досталось

имени. Ему дали номер — «53». Он вступал в навигацию надменным легким шеголем и спускал вымпел в декабре, а то и в январе — истерзанный, грязный, смертельно усталый. В поганую осеннюю пору часто вспоминалось, что он отмотал по морям без малого двадцать лет.

За двадцать лет на нем сменилось шесть командиров и сотни матросов. Он редко бывал в передовой строке праздничных приказов, старательно избегал последних. Но когда случалась беда, подвертывалось трудное дело, то именно «полста третий» срывали по тревоге с отдыха и похода. Это было нелегко, этим гордились. Так — годами — откладывалась и сжималась в кулак та трудноопределимая и не поддающаяся измерению сила, которую исстари зовут духом корабля.

Была у «полста третьего» традиция: он лет десять кряду бил все корабли на шлюпочных гонках.

Гонки считались в бухте событием «первостепенной важности».

Бухта звалась Веселой. В кубрике справедливо полагали, что человек, ее окрестивший, обладал отменным юмором висельника. Низкие берега, валуны, гнилой лес и всегда студеная вода... В мае бухта была еще забита льдом. Шла бездарная полоса туманов и дождей. Несколько недель жгло белое солнце и вода слепила шершавой синевой. Потом бухта снова ныряла в непогоду, осень, мрак — на этот раз безнадежно. Черная злая волна кидалась через волнолом, и подводные лодки, выходя в море, кричали пронзительно и страшно. Больше всего неприятностей выпадало на осень. В январе вставал лед. Берег и бухту заливало острой белизной. Над кораблями шуршал пар. Вахтенные дурели от скуки и невыносимого скрипа под валенками...

Весны ждали свирепо, дрожа и раздувая ноздри при первых ударах сырого южного ветра. Весна пахла водой, свежей краской, горьким выхлопом главных машин.

Ждали.

Настанет день. День выхода. Солнце будет скользить в светлой краске, метаться в надраенной меди. Грянет аврал. Корабельные звонки — колокола громкого боя, не звонят — садят под вздох, в потроха, в печенку... Ту-ду! ту-ду! ту-ду! — всполыхнет сигнал, грохнут и взвоют трапы под дробью башмаков.

Выход! Шальной свежий вымпел на стеньге. Пена и радуга под форштевнем.

И на неизвестной минуте похода вылетит с мостика спасательный круг. Плунется в воду, поплывет, качаясь, в корму.

Понесется по шкафуту матросик, вопя дурным голосом:

— Человек за бортом!..

(Это такая игра. Все сговорились: упавший круг — человек. Нужно вытащить и откачать. Чем быстрее, тем лучше. А лучше — в положенное время. Называется норматив.)

Звонки. Ревун. Трансляция:

— Человек за бортом!

Ухнет под винтами вода, три, четыре круга улетят уже во след «утопленнику». Покатится корабль по циркуляции: руль на борту.

— На галях! — это боцман (не кричит, а хлещет кнутом) возле шлюпки, куда сбежались все, кому положено сбежаться. — Отдать подкильные! Выв-валивай!

А внизу, на шкафуте, стоят-скупают герои дня — гребцы и Доктор с медицинской сумкой — экипаж спасательной шлюпки. Оранжевые жилеты надеты по всем правилам, воротник выпущен, береты — на бочок! Доктор, по молодости, суетится, все ему интересно. Гребцам суетиться лень, за три года насмотрелись. Все будет как надо, и вытащат «утопленничка» через минуту сорок секунд с момента падения. Быстрее физически невозможно — вытащили бы быстрее. Карл Карлович песенку напеваает. Кроха Дымов ногти пилочкой полирует. Шурка в портик камбуза сунулся, сигаретку у кока прикуривает. Почему б не покурить, раз секунд пять-семь добрых есть?..

— Живо трави! — хлещет боцман, и шестерка падает вниз, на средней банке сидит Иван, за шкентель держится. Теплый парень Иван, везде ласковое место найдет...

— Гребцам в шлюпку!

Доктор, конечно, святой момент прозевал и в шлюпку брыкнулся последним.

— Шлюпку на воду!

Боцман валится сверху.

— Смирна!..

Боцман:

— Вольно!

— Вольно!

Мостик:

— Пошел ходов-вой!

На полубаке толпа вцепилась в ходовой конец и с ра-

достным воем ударилась в нос: шлюпочка, ласточка, пошла-а...

— Уключины вставить, весла разобрать!.. весла!.. на воду! Раз!

Счет задан, и боцман молчит. Он оглядывается на корабль, где в «корзине» на мостике стоит Блондин и свернутым флажком задает курс на «утопленника».

— Весла по борту!

Не дай бог «утопленника» зашибить, и Доктор, которому полдня объясняли задачу, довольно ловко для первого раза выдергивает круг из воды.

Боцман разворачивает и вставляет флаг.

Время.

На мостике старпом нажимает секундомер и отрывается от бинокля.

Гребцы выдохлись. Мыслимо ли — с декабря не гребли. Счастливый Доктор вертит головой, прижимая к груди мокрый круг. До пупа промокнет — догадается положить.

— Две восемнадцать, — сообщают с корабля.

Обидно. До прошлогоднего рекорда почти сорок секунд. На спуске шлюпки завозились. Гребли плохо. Волна... Надо тренироваться.

— Спокойно, — говорит боцман. — Весла!..

Подбирают остальные круги. Доктор вымок до ушей. Холодно. Июнь, солнце, но ближний берег не Африка, а совсем другое место.

Возможно, с корабля просигналят «шлюпке к борту», подыдут, милую, на борт и проиграют «человека за бортом» еще разиков пять. А может, дневной план уже выполнен и Блондин беззаботно отмахнет флажками: «Старшине шлюпки следовать в базу курс двести семь. Командир». На фалах ехидно выбросят пестрое «счастливого плавания», потом — то же по международному своду — старпом проверяет молодого сигнальщика.

Тогда все выжидательно посмотрят на Шурку: он метрист, ему положено знать, сколько до бухты.

— Восемь миль...

Мичман Леонид Юрьевич Раевский двадцатый год мичман, а всего оттянул на действительной лет двадцать восемь; пройдя войну, службу на всех флотах и кораблях всех классов, он умеет разбираться во многих вещах и первым делом — в нехитром и противоречивом матросском механизме.

И сейчас, отвалившись на заспинную доску (другой в мягком кресле так вкусно не устроится), он может совершенно точно сказать, что у его орлов на сердце и под печенкой.

Они раззадорены первым шлюпочным учением и обижены на себя, что не выступили в полном блеске, — забыли сгоряча, что блеск достигается терпеливой полировочкой. Но, с другой стороны, они помнят о разумной постепенности и раздосадованы: мог бы командир для начала и мили за три их выбросить... Знает боцман, что хмурый Кроха Дымов вздохнет и скажет:

— Ладно! В прошлую навигацию по двадцать четыре мили лопатили. И ничего. — И добавит небрежно: — Разве что первое место на гонках взяли.

Боцман даст им перекурить, а потом — «Весла!..» — и потянутся мерные всхлипы волны под бортами, беглые блики в бездонной воде.

Сперва снимут береты и спасательные жилеты. Потом голландки. Потом майки и прогары — грубые рабочие башмаки. Увяжется за шлюпкой чайка, но сообразит, что от этой посуды харча не дождешься, и с противным младенческим воплем метнется вбок. В тишине будет хлюп воды, стук уключин, сопенье шести потных мужиков и — изредка — голос боцмана, раздающий методические указания. Доктора боцман за весло не посадит: подождет, пока попросится сам. (Не дай бог Доктору до самой бухты просидеть пассажиром, с ходу потеряет уважение семи человек, и пойдет ему служба много труднее.)

За два с лишним часа хода они войдут в ритм, подрумянят на солнышке сахарные плечи, прослушают пару занимательных баек из истории шлюпочного спорта на Балтике в послевоенные годы и лихо вгонят свою шестерку в щель между кораблями.

Шлюпку угнездят в кильблоках, и первые восемь миль отложатся в плечах сладкой истомой.

Они любил шлюпку — бескорыстной одержимой любовью.

Шестивесельный ял не сравнить с легкой и звучной, как скрипка, академической восьмеркой, символом изящной стремительности. Зато ял соединял в себе тугую прочность, неслышанное упрямство, умение добиваться своего; он не задумываясь лез на волну, подминая ее крутыми бортами, легко и верно лежал на курсе и совершенные чудеса вытворял под парусом; он обладал классически правильными обводами, с до-

стоинством держался на воде и на таях и жарко радовал морское сердце свежей краской, свечением лака, чистой отделкой снасти. Они любили шлюпку, умели хорошо грести, хорошо на ней работать — в самую паршивую погоду, с минами, торпедами... Но заветным, святым делом были гонки «на День Флота».

...Иван перестал смеяться.

Он делал это сразу, без полутонов. «Ты, Вань, смеешься, как обязанность выполняешь, — говорил кок Серега. — Отсмеялся — и хорош. Будто с вахты сменился».

Отсмеявшись, он становился серьезен и деятелен.

— Ну-ка, давай сюда Дымова, — сказал он Шурке. — Надо раскинуть, что мы имеем.

Дела обстояли невесело. После сдачи курсовых задач закрутило неожиданно лихо: не вылезали из полигонов, потом шли учения, потом тонул танкер, и снова в полигон, и получилось так, что в шлюпку почти не садились. Были гонки на рейдовых сборах, где победу присудили орлам с «двести пятого», но это все вздор. Во-первых, все судьи были из первого дивизиона, а во-вторых, финиш назначили на условной линии по форштевню флага. Флагман стоял на одном якоре, его крутило, как бобика на цепи, и кто первым рванул эту линию — осталось неизвестным. Победу отдали «двести пятому», хотя его шлюпка была «таллинской» постройки (делали такие ялы в пятидесятых годах: облегченные, с низким бортом — специально для гонок) и совершенно неукomплектована. Комплектация шлюпки тянет пуда на четыре, и подобные штучки не делают чести боцману и старпому. Впрочем, давно известно, что «двести пятый» не корабль, а декорация, стоит всю навигацию у стенки, а черную работу тянет «полста третий»... Тем обидней было так глупо и несправедливо проиграть. Боцман подал протест; когда его отклонили, пришел злой и сказал, что этот фарс — наука на будущее: выигрывать надо у-бе-ди-тель-но! Отрываться на десять корпусов! И никто не получит повода передернуть.

Теперь боцман уехал на побывку и приболел. Старпом, которого любили и не любили, но всегда почитали как верного и яростного защитника корабля, поехал по делам в Базу. Шлюпка, оборудованная для гонок, скучала на левом борту с пробитым днищем: посадило на камушек в ноябре. Из шести буковых весел, уравновешенных и залитых свинцом перед прошлым Днем Флота, осталось три, остальные изломало в ту же

осень. Боцман получил весной восьмерку легчайших сосновых весел, собирался их строгать и гнуть... но где он, боцман?

И с командой было неважно.

Гребцов на шестерке — соответственно шестеро. Ближние к корме называются загребными, они задают ритм остальным, дальше сидят средние и на носу — баковые.

Из старой, сработанной, выверенной во всяких переплетках шлюпочной команды осталось четверо.

Шурка и Кроха — ветераны гонок «аж в ту навигацию», на первом году службы. В следующее лето в команду вошли Иван и Лешка Разин. Лешка был отменным баковым, парень свой — в прошлый День Флота сбежал из лазарета и греб с загипсованной ногой. Весной, когда сдавали задачу, Лешка стал средним, а на его месте сидел Карл. Гребет подходяще.

Не было правого загребного. Лучшего кореша, Женю Ткаченко, с которым три года проходили у мичмана Раевского кругую школу гребли и паруса, перевели на «сто восьмой»: служебная необходимость. Полгода не дали парню на своем корабле дослужить.

А вчера, когда вернулись с моря, Шурке сказали, что Ткаченко вот уже месяц тренирует гоночную команду «сто восьмого».

— Вот так вот, — закончил Шурка.

Помолчали, сосопели, поглазели в небеса, на мачты. Решили: загребным сядет Иван, средним будет Кроха... а баковый? Перебрали пол-экипажа. Один был ленив, другой слаб, третий горяч — сорвется.

— Сеня, — убежденно сказал Дымов.

Шурка с Иваном вежливо удивились.

— Сеня! — упрямо повторил Кроха. — Я знаю. Он худой-худой, а жилистый. Лошадь.

— Смешливый больно, — осторожно заметил Иван.

— Ты тоже смешливый! Будет работать...

Семенов, Сеня, был молодым торпедистом в отделении Дымова. Бесспорно, Кроха знал его лучше всех.

— Молодой, однако...

— Мы тоже с Крохой по первому году в команде были... Времени мало. Втянется?

Дымов нахлобучил беску на брови и гикнул по-боцмански, из самого живота:

— Сем-менов!!

— Оу! — слабо донеслось с юта.

— Ко мне!!

Сеня кинул сухое тело вверх по трапу.

— Звал, Юра?

Поверх рубы на нем был глухой черный комбинезон для грязной работы. Лукаво посмеиваясь глазами, Сеня вытирал руки ветошью.

— Слушай, — сказал Дымов.

Сеня почувствовал торжественность момента и опустил руки.

— Учебку в Кронштадте проходил? — спросил Шурка.

— Так точно.

— Греб?

— Так точно.

— Какой борт?

— Правый.

— Неплохо... — И неожиданно: — Хочешь на гонки пойти?

— Если возьмете, — невозмутимо сказал Сеня.

— А проиграть не боишься?

— Мы люди маленькие...

— Ох и жук же ты, Сеня! — не удержался и крутнул головой Иван.

— Ну да, — сказал Шурка. — У них в Новгороде все монтеры такие.

— Свободен, — кивнул Дымов.

Семенов скользнул вниз и вернулся к разобранному тральному клюзу.

— Ну что? — спросили его.

— Да так... — неопределенно отозвался Сеня, крепко думая о неожиданной и тревожной радости.

— И последнее, — сказал наверху Шурка. — Весла.

...Пообедав и поспав положенные два часа, собрались в торпедной мастерской. Расставили банки, поднятые через люк из кубрика. Попробовали отточенные лезвия рубанков.

Счастливым со сна Ванюша почесал молодецкую грудь.

— Все понимаю. Не понимаю, как ты командира уговорил.

Шурка неохотно усмехнулся:

— По-моему, естественно, когда умный человек соглашается с очевидными вещами.

— Очевидными... — заворчал Дымов. С дежурством он не выспался и смотрел на мир мрачно.

Иван рассмеялся: уж больно потешен был Дымов в этом славном и ладно устроенном мире, где кормят до изнеможения

(после обеда Иван еще наведалься на камбуз), дают поспать и крутят пушистые сны.

Разин додремывал недостающие пять минут. Карл, как всегда, молчал, Сеня в разговор не вступал.

Шурка взял весло. Легонькое, клеенное из сухой сосны, оно радовало душу, его можно было вертеть, как тросточку.

Хорошо, что Шурка пристал к боцману: а как будем облегчать? Боцман показал на пальцах. Вот как гнуть? ..

Он не совсем соврал, сказав в разговоре с командиром: «Знаю». Он чувствовал весло, его изгиб, норы, поведение в любой точке гребка.

Валёк можно снять без потерь. Утраченная прочность лопасти компенсируется изгибом. Тут лопасть пустить чаечкой, а тут — плоскость почти в клин. Все равно осенней работы эти весла не осилит. Одни гонки. Если к концу мили из лопасти полетят щепки — это не так страшно, как кажется.

Главное — не показывать дрожи.

— Что, мальчики? Взяли?

Весла положили на банки, раздвинули, путаясь в рельсах для торпедных тележек.

Сеня сел на банку, зажав коленями лопасть. Шурка осторожно прижал — не вертится ли — и тонко пустил рубанок. Первая стружка спорхнула на палубу. . .

Никто, кроме Карла, не был плотником, но рубанок, слава богу, держать умели. Каждый вел свое весло, и одно это гарантировало внимательность и расчет.

Они успели пройти неплохую школу до службы и на флоте и знали, как важно в умении работать — заставить себя работать, даже в таком поганом деле, как чистка цистерн или покраска сухих отсеков. Уметь заставить, и работа проглотит тебя с потрохами, лишь сигнал на перекур выдернет мысли из сосредоточенной расслабленности. Когда же работа красива и весела, вроде покраски борта в солнечный день, и результат ее кровно тебя интересует — тогда, брат, не мешай и не суйся. . .

Шурка не заметил, когда пришла подмога. Вокруг вёсел молча возились Мальчик, и Димыч, и Вовка Колзаков.

Вовка вроде из поморов, белесый — потому и Блондин. Невысокий, хитрющий, лакомый — ох, девки таких любят.

— Вовка, ты помор?

— Помор, — он со всем согласный.

— Какой же ты помор, если у тебя глаза зеленые?

- Значит, не помор.
- Или бывают зеленоглазые поморы?
- Бывают, — говорит. — Всякое бывает.

Призывали его из торгового флота. Два раза вокруг шарика протопал, в Сингапуре открытки с девочками покупал, в Хайфоне под бомбежкой был.

Шлюпку он уважает, но ленится. Не хочет человек — не надо, в команде нужны люди, как говорит старпом, «с сумасшедшинкой». Боцман на эту «сумасшедшинку» всегда обижается:

- Тяга к гребле есть признак пол-но-ценного матроса!

Жалко, Шурка нотной грамоты не знает, он бы речь боцмана нотами записывал. Одно слово «полноценного» на трех октавах играет...

Палуба, крашенная бордовой эмалью, завалена стружками — вкусней, чем в кондитерской. Кроха ушел заниматься службой. Лешка и Димыч шкуркой обхаживают новые тонкие вальки. Шурка с Колзакowym доводят лопасти.

- Не просади, зеленоглазый, — урчит Иван.

— Мне-то что? — жмет плечиком Колзаков. — Вам грести. Подумаешь, зденькнет лопасть! Даже интересно. Переломайте вообще все весла, вас и обратно на буксире припрут...

Восемь моряков в железном закутке смотрели на белые весла, сделавшие один шаг к академическим.

Никакой легкости и радости окончания работы не было. Начиналось самое тревожное.

Два года назад боцман чуть подгибал лопасти перед гонкой. Ему помогал Женька Ткаченко... Не верилось. Жека — и против «полста третьего». А как бы там ни было, но Ткаченко стал соперником, и теперь его не спросишь.

- Малыш, как боцман весла гнул?

— Когда?

— Позапрошлый год.

— Не знаю... на леерах.

— Это я видел. Чем он мочил?

Мальчик подумал.

— Не помню. Это Жека все. По-моему, водой.

— Никакого раствора не делал?

Малышев расстроился оттого, что никак не вспомнить.

— По-моему, нет...

— Ладно, — с неожиданной и неизвестно кому адресованной угрозой сказал Шурка. — Пошли. Да!.. Димыч, вали на

камбуз, скажи Сереге передать по вахте: чтоб в течение суток каждые полчаса было ведро кипятку! А Серега проконтролирует.

Лишних Шурка отпустил по заведованиям, остался с Мальчиком и Карлом.

На правом борту, где трап с полубака проваливается вниз и леера ограждают провал с трех сторон, осторожно сложили весла. Уперли в леерные стойки и мертво прихватили смоленным концом два бруса. Первые четыре весла косо легли лопастями в промежуток. Из-за рубки вынырнул Димыч с ведром и кружкой. Лопаста щедро смочили кипятком, заложили третьим брусом и тихонько потянули вниз. . .

— Хоп! — выдохнул Карл.

— Крепи, — шепнул Шурка.

Весла чуть дрожали, они были живыми, покорными, и четверка парней возле них волновалась как никогда. . .

— Окончить планово-предупредительный ремонт! — густо и значительно проскрежетал по трансляции Дымов. — Произвести приборку!

Солнце заваливалось к берегу. По кораблям легли теплые тени. Со швабрами и суконками замельтешил на палубах народ в сизых робах.

— По местам приборки, живо! — гудел в коридоре Кроха. — Серый, как пр-роба?

И все наверху отчетливо представили, как Серега надевает чистейшие, «пробные» колпак и куртку, чтобы торжественно, переступая через лужи, пронести поднос с тарелочками вслед за дежурным в командирскую каюту и привычно доложить:

— Товарищ командир, ужин: салат из квашеной капусты, на первое суп мясной с макаронами, на второе хек жареный с гречневой кашей, на третье компот! Дежурный кок старший матрос Солунин.

Назаров хлебнет ложку супа, отщипнет кусочек рыбы. Компот выпьет целиком — Серегин компот всегда в радость. Возьмет у Крохи предусмотрительно раскрытую книгу в красном переплете, подумает и поставит четыре с плюсом:

— Пересолил рыбу-то. . .

И Серега в отчаянии дернет щекой, потому что командирский вкус на соль решительно расходится с общепринятым, и опять на баках будут сыпать соль в миски горстями, поминая господ бога и ржавую якорь-цепь.

...Боцман приехал в среду рейсовым автобусом в четыре часа пополудни.

Корабельные сутки насыщены делом так, что кажутся вечностью; к вечернему чаю не всегда вспомнишь, что было утром.

В понедельник часа полтора походили на шлюпке. Лопатили на совесть, но не в полную силу — мучительно вживались в единство, когда шесть весел работают будто от общего привода. Семенов в роли правого бакового оказался неожиданно неплох, больше забот было с Разиным: он фальшивил и злился. Малышев руководить гребцами не умел и главным образом следил за рулем. К борту вернулись раздраженными. Утром, вместо зарядки, пошли снова — с лейтенантом. Жданов шлюпку знал, но еще не мог облечь короткие команды в форму беспощадной убедительности. Вернувшись, осмотрели распятые весла и остались довольны.

Поплескались ледяной водичкой. Бачковые неслись по коридорам с тарелками и чайниками. На раскладных столах резали хлеб, делили на глаз масло и сахар.

Шурка не успел размешать сахар — по трапу скатился перепуганный Малыш:

— Весло...

Шурка с Дымовым едва не сшибли стол, за ними вылетело наверх полкубрика.

Излом весла оказался не смертелен. По гребню лопасти вышибло длинную щепу. Нагрузка пойдет в другую сторону, не страшно.

Весло вынули из станка, залили эпоксидкой, придушили выбленочными узлами, положили просохнуть.

— Крепче целого будет, — заверил Кроха.

Остальные семь весел промочили и усилили изгиб.

День пронесся в беспокойстве, как длиннющий грузовой эшелон.

Ползли тревожные слухи.

Бригада знала, что на «полста третьем» неладно и Раевского нет. После весенних гонок на рейде авторитет «полста третьего» ослаб, теперь же его напрочь сбрасывали со счетов. Перед многими кораблями реально замаячила победа, золотая победа в гонках Дня Флота. Шурка не помнил за три года подобного ажиотажа вокруг шлюпок. Командиры полностью освободили гребцов от работ и вахт, всюду спешно готовили шлюпки и весла, тренировались. Впервые выставили команды

плавамастерские и береговая база. Комбриг лично интересовался подготовкой к гонкам. Соперники лихо задирали «полста третий», звонче всех ликовал «сто восьмой». Женька Ткаченко шел у них левым загребным, под его руководством делали весла — копия прошлогодних «полста третьего»: облегчали лопасть, валеки заливали свинцом. Участие Женьки понимали на «сто восьмом» как залог успеха. В шлюпке там в основном молотили комендоры, народ задиристый и бестактный. Даже Саня Кожух, кореш и душа парень, свистел Шурке с полубака и язвительно показывал пеньковый тросик: грубый намек на буксир.

Шурка тихо рычал. Иван перестал улыбаться. Дымов осунулся и посерел. Карл виду не подавал, но щетина у него стала расти вдвое быстрее, и он, обычно обраставший к обеду до ушей, пробирался коридорами как лазутчик, опасаясь нарваться на начальство.

Лешка Разин стал вдруг весел и от ненормального такого веселья утопил, работая с тросами, молоток и свайку.

Кончилось все это тем, что Иван жестоко разругался с Дымовым из-за пустячного дела: воды. Вода с берега не шла, Крохе надо было спешно умыться, попросил Ивана, чтоб качнул из цистерны, а Иван ответил как-то не так, и они позорно разорались под дверями старшинской каюты. Иван припомнил Крохе какие-то данные в долг и пропавшие гаечные ключи, Кроха вовсе несправедливо обвинил Ивана в том, что зимой он давал на свой кубрик больше пара, чем на первый, помянул и затопление кубрика при наполнении цистерн, и как пробили трубу офицерского гальюна и все дерьмо пошло опять же в первый кубрик, а Иван кричал, что это Сеня, которого послали «пробить» в смысле промыть, а он долбанул ломом, и раз он в отделении Крохи, то вышел весь в своего старшину — только Дымов мог вырастить такого идиота, и вообще, вся верхняя команда... Вспомнили Димыча, который два года назад зачем-то полез в компрессор, и загаженные при подрыве клапана ростры, и смятое на учебном пожаре ведро, и прочие прочие казусы — мелкие и неистребимые, как племя судовых тараканов.

Кошки на кораблях дохнут: не хватает чувства юмора. Нигде не смеются больше, чем в кубрике. Но иногда усталость, раздражение, злость захлестывают горло... Каждый знал по себе, что это такое. Схлестнешься насмерть с лучшим другом — и вылетишь в трубу собственного красноречья. А через

десять минут, блаженный, будто из парной, усядешься в обнимку с ним на тральной лебедке и заведешь дурашливую песенку из мультфильма...

Весла постанывали в станке, запасая упругость и злость.

А пока занялись упорами для ног. На берегу нашли хорошие доски, прихватили инструмент и влезли в шлюпку. Шлюпка, лишенная весел, вертко раскачивалась на мелкой волне; гвозди, забытые на планшире, скатывались в воду.

— Внимание! — поднял голос Сеня.

На стенке стоял командир бригады.

— Как работа? — весело спросил он.

Тон располагал к неофициальному разговору. В шлюпке заулыбались, сдержанно поблагодарили.

Комбриг с трехметровой высоты разглядывал деревянный кораблик, одушевленный столетиями морского дела.

— Старая шлюпка.

— Так точно, товарищ капитан первого ранга, — подтвердил Шурка. — Подлежит списанию. Новой-то нет.

Комбриг кивнул. Прищурился:

— Как же вы минера своего в первый дивизион отдали? Грозится вас побить!

В шлюпке помрачнели, Разин пробурчал насчет зайца, что грозился волка съесть.

— Разин, — удивился комбриг. — Где ж твои усы?

— Нету, — комически развел руками Лешка. — Жена в субботу приезжала, велела сбрить.

— Вот это да! Штаб того не может добиться, что жена одним словом решит. Как, Дунай, отдадите первое место? Или себе оставите?

— Было бы кому отдавать... — презрительно протянул Кроха.

— С нами мичман Раевский! — хвастливо сказал Шурка. — И этим сказано все.

— Нет же Раевского!

— Будет! — дружно взревела команда. — Не такой он... Боцман помирать будет, а на гонки подыметесь... Боцман, да не будет?.. Леонид Юрьевич знает... — продолжили вразнобой.

— Добро! — заключил комбриг. — Желаю удачи!

Приложил руку к козырьку и пошел дальше по стенке, перед ним раскатывались трели из пяти звонков: вахтенные у трапа извещали дежурных о приближении начальства.

...У вентиляционного грибка стоял чемоданчик, поверх брошена тужурка — боцман прошел к веслам прямо от сходни.

Невысокий, с могучей челюстью, пугающе широкий в плечах (тонкий уставной галстук ниточкой болтался на его груди), он неодобрительно разглядывал Шуркину конструкцию. Кругом, в скупом пространстве верхней палубы, несмело толкался народ.

Запыхавшийся Шурка пробился вперед.

— Здравия желаю, товарищ мичман!

— Здоров.

Боцман сунул Шурке занозистую ладонь. Кивнул на весла:

— Придумал?

Так... Похвалы ждать нечего.

— Придумал.

Боцман повернулся к веслам. Посмотрел. Ударом кулака вышиб калабаху:

— Это лишнее.

Вышиб оттяжку из-под вальков:

— Тоже лишнее.

Весла плавно закачались. Шурка прикусил губу.

Боцман вынул весло, с сомнением прижал лопасть двумя пальцами.

— Эге. Только все это муть. Слабые весла. Сла-бы-е!

Шурка бессильно прислонился к переборке. Через три минуты весь корабль будет знать, что боцман забраковал весла.

Ну почему, за что жизнь такая собачья?..

— Нет, товарищ мичман. Не согласен. По-моему — прекрасные весла.

— Прекрасные весла, товарищ мичман! — поддержал Разин (так цыган лошадь расхваливает).

Забубнили все сразу — обиженно и приглушенно.

— Это очень хорошие весла, — обреченно сказал Дымов.

Боцман посмотрел на Шурку, как петух, — одним глазом.

— Эге. Шлюпка к спуску.

— Шлюпка на воде, — развел руками Иван.

Боцман крепко дунул в ноздри и шагнул в командирский коридор. Вышел от командира, ткнул Колзакову чемоданчик:

— В мою каюту. Весла разобрать! Гребцам в шлюпку!

Ввиду неясности ситуации (победа или траур?) Кроха выдал боцману «смирно» вполсилы.

Протянулись вдоль борта и мимо якорной цепи выкатились на тихую воду. Разобрали легкие пугливые весла.

— На воду!..

Загнутые лопасти молча вцепились в воду. Пошли, провоцируясь («Как ложка в миске!» — учил когда-то боцман), ощутимо выталкивая шлюпку вперед. Чуть изогнулись и вдруг спружинили, откинулись в конце гребка...

— ...Раз. Хоп!

Вцепились снова, поволокли быстрее...

— Хоп!

Мгновенное боцманское «хоп» задавало начало гребка, тот неуловимый удар пульса, повинуюсь которому шесть лопастей уголкем хватают воду.

— Разин! Тянь-нуть! Карл, рано. А ну! Навались!..

Дали!

Весла, умницы, порхали; белые, свежие, кромсали темную предвечернюю воду без следа, без всплеска, и только шесть крутых воронок закручивались за кормой.

— Суши весла! Дунай, на руль.

Не верит, старый бес: дай-ка сам изломаю. Пожалуйста... Шурка мигнул Ивану, надел берет.

Боцман бросил фуражку и отцепил галстук.

Его иногда звали Медвежонком: столь похож был продолговатой спиной, короткими ногами и неизведанной силы лапами.

— Вес-сла!.. — задорно пропел Шурка. — И — на воду!

Юрьевич отломил гребок будь здоров. Птицей кинул лопасть назад, прицелился — хоп!.. и с-сadanул снова. И хоп!

Гребцы ухватились за боцманский темп — не приведи господь осрамиться — в такт, так, так! Шурка смертельно завидовал: не часто удается погрести с Раевским...

Да, это была школа!

Отмолотив кабельтова три, боцман буркнул:

— Суши весла!

И тут только вспомнили про весла.

А ведь целы. И как целы!

— Ничего, — проворчал боцман, перебираясь на командирское место. — Можно.

Особой радости успех не вызвал. Вот так смотришь из ущелья на горку, и кажется, что она над всеми; взберешься — а кругом столько гор, одна другой выше, — неинтересно становится...

— Товарищ мичман, добро покурить? — выкрикнул Разин. (Как-то в бухту приезжал гипнотизер, невероятные вещи

проделывал, а в конце взялся избавить любого желающего от любой привычки. Лешка попросил насчет курения. Сеанс прошел успешно, после отъезда факира Лешка держался целых два дня. На третий надоело, и он снова закурил.)

— Добро. — Мичман достал старый алюминиевый портсигар.

Курили молча, думая о своем. Но ладони уже извели сноровку и послушность новых весел и просили — еще.

Было в бухте Веселой суровое очарование — чистая, как здешний воздух, вода, тревожная полоса осенней зари, — очарование, неведомое роскошному и капризному югу. Неправдоподобная, великая тишина раскатывалась белыми вечерами. В такой вечер на юте можно было услышать: «Эх, счас бы в любимый город, да с любимой женщиной... Да!» — и скуренная донельзя сигарета летела в обрез. Шурик Малышев осторожно и ловко вытягивал из суматошного эфира ниточку грустной мелодии. У открытой двери в радиорубку устраивались матросы. Тосковала скрипка, вздыхал аккордеон. Теплый женский голос рассыпал картавые «р». Хотелось жить — вечно. На рострах ухали о палубу гири, звонко билась на помосте штанга.

Но тишина была призом. Она завоевывалась трудом, рывком через барьер. Смотр, поход, задача, стрельбы шли нескончаемой чередой, и всегда впереди был один, самый важный рубеж.

Сегодня главным рубежом были гонки.

Боцманская папироса улетела за борт.

— Ну, соколики? Что для нас главное?

— Старт.

— Точно. Отрабатываем старт. В три гребка. Первый вытяги-ваешь, но недалеко! Тр-ри коротких. И пошел, ходом. Весла!..

Поднялся ветерок. Форштвень разбивал волну в пыль. Вымокли до ребер. Боцману было хуже: он не мог погреться веслом.

Когда шлюпка вылетала на гребень, боцман убеждался, что, кроме них, ни одна шестерка не вышла на рейд — не хотели связываться с волной. А напрасно...

Небо захлестнуло серой сетью. Боцман заложил последний галс. К борту подлетели красиво, весьма довольные ветерком, Юрьевичем, веслами и собой.

...В субботу зарядки не полагалось. Вынесли койки на



стенку, прибрали в рундуках. Позавтракали на полчаса раньше и без десяти семь, с неудовольствием глядя в пасмурное небо, выстроились на юте для развода по местам большой приборки.

Вот и еще неделя прошла, пронеслась над заломленными мачтами. Хорошо!

Большая приборка — поэма чистоты. Четырежды в день на корабле моют водой все палубы, драят медь, протирают невидимую пыль. Но большая приборка — особое дело, весь корабль будет вымыт «сверху — вниз, с носа — в корму» и по окончании приборки должен быть чист, как воздух в первый день творения.

После развода Шурка смотался на полубак к Карловичу, получил мыло и ведра; когда же вернулся в кубрик, то застал Димыча в великой растерянности: пропала штатная щетка с ручкой.

— Сам ты с ручкой! — озлился Шурка. — Где ж она может быть?

— А господь ее знает. Может, торпедисты уволокли?

Шурка лично изготовил эту щетку месяц назад и справедливо считал ее лучшей на корабле. Ничего удивительного, что сперли: большая приборка. Народ горячий — будет в рундуке щетка в куче денег лежать, так непременно пронюхают, раскопают червонцы и щетку сопрут!

Шурка вздохнул и пошел на поиски...

— Слушаю, Леонид Юрьевич.

— Я, товарищ командир, насчет гонок.

— Боцман, это — корабль? Или это — филиал спортивного клуба флота? А? Что вы молчите, мичман? Садитесь.

— Спасибо...

— Ну так?

— Я на «полста третьем» десять лет. Всегда, когда гонка — наша, командир ребятам по два внеочередных увольнения объявлял. Вроде как бы — традиция.

— Нет. Нет, я сказал. Никаких! И не гляди ты на меня. Ты боцман? Иди и занимайся приборкой. Все? Что еще?

— Не любишь ты шлюпку, командир.

— А за что мне ее любить? Да сядь ты. Обиделся! А ты не прикидывал, насколько в эту неделю боеготовность бригады снизилась? Да-да, из-за гонок. Я в последнее время даже сомневаться стал: службу ли мы несем? Начинается эпоха на-

глядной агитации — и все матросики выпиливают там, строят, клеят, рисуют стенды. Кончилось. Лучших поощрили. Начинается эпоха самостоятельности. Все — пляшут и поют!.. А мне не художники, мне а-ку-стики нужны, мотористы, а не балалаечники! Чтец у меня объявился, его на каком-то концерте замначполитуправления услышал — и десять суток отпуска. Думаешь, поехал он у меня? Фига! Никудышный был матрос. А я отличнейшим старшинам, нынешним не чета, отпуск не мог пробить! А? К чему это? Зачем это? Кому это нужно?

— Не понимаешь ты шлюпку, командир... Разрешите идти заниматься приборкой?

— Идите.

...И хотя никакого расстройтва от разговора с боцманом вроде бы не приключилось, но книга корабельных расписаний в голову не шла. Хитрая книга, где каждому матросу предусмотрено место и занятие на все случаи жизни... Назаров закурил, вышел на палубу.

Дело у Раевского было налажено. Мутная вода падала с мостика, пышная желтая пена покрывала полубак. Приборщики веселые — веселый втрое лучше работает. Где это он умудряется польскую эмаль для палубы добывать? Кудесник, не боцман.

С полубака было видно, как на стенку, козырнув флагу, сошел Олейник, в руке — коробка с фильмом. Почему во время приборки? Прекратится когда-нибудь этот бедлам на корабле?

— Прошу прощения, товарищ командир... — на него невинными глазами смотрел молодой торпедист Семенов. Тоже, кажется, гребец. И уж все знает. — Тут сейчас скатывать будем. Как бы не забрызгать...

Димыч, выйдя на берег, решал мучительную задачу. Ему предстояло выменять «Трембиту», от которой уже у всех зеленело в глазах, на что-нибудь путное: суббота, и вечером полагается фильм. Нужно было найти, во-первых, не засмотренную до дыр ленту, а во-вторых, идиота, который взял бы «Трембиту» (с восемнадцатью обрывами). А идиотов среди киномехаников не бывает. Потому пошел Димыч путешествовать по кораблям с самого утра...

Творилось небывалое. Командир «сто восьмого» Громов объявил своим гребцам: за победу в гонках каждый получит десять суток отпуска.

Новость принес Дымов. Шурка прикусил губу, крепко вытер обрывком тельника мыльные руки. Никто никогда не давал по десять суток за гонки в масштабе бригады. Но Громов свое дело знает и найдет возможность устроить ребятам отпуск. Он бывал свиреп, несправедлив, однако никто на «сто восьмом» не имел причин на него обижаться.

И Шурка, и Кроха знали: решение Громова обсуждают сейчас на всех кораблях.

Только что радист Зеленов, прибиравший в командирском коридоре, рассказывал, как возмутился Назаров, когда боцман помянул про два внеочередных увольнения. «К чему это? Зачем это?.. Что за мода поощрять бездельников?..»

Бог с ними, двумя увольнениями, да и не в них вовсе дело.

Культ отпуска расцветает на флотах. В ночных раздумьях дом перестает быть просто домом и любимая девушка — просто девчонкой. Приезд домой видится нескончаемым празднеством. . . Тоска по дому, теплу, женской ласке скручивает мальчишек в дрожащей корабельной тесноте. Когда-то, во времена четырехгодичной службы, каждому матросу полагался месяц отпуска. С переходом на три года «сутки» стали мерой поощрения.

Матрос за отпуск готов гору свернуть. Капитан третьего ранга Громов играл не совсем честно, но безошибочно.

В кубрик спустился Разин. Он ходил за чем-то на «двести пятый» — там тоже праздник. Гребцы именинниками ходят. По десять суток за первое место командир положил — поверил в свою команду после гонок на рейде. . .

Шурка поглядел на встревоженные лица ребяташек.

— А ну, по местам приборки. . . Топай, Лешка, не мешай. Благодарю за информацию.

С приборкой уложились вовремя. Пока подсыхала палуба, взяли в оборот медяшку, и когда Дымов пропел по трансляции: «По местам стоять! Приборку сдавать!» — кубрик был в норме.

Назаров недостатков не нашел. Поставив ногу на нижнюю ступеньку трапа, вдруг обернулся:

— Дунай, передайте Дымову. В двенадцать тридцать построить шлюпочную команду на юте.

— Есть! — Шурка вскинул руку к берету, лихо крикнул: — Смирно!

— Вольно, — отозвался с трапа Назаров.

— Вольно! — Шурка скрестил руки на груди. — Занятно. Что же он нам скажет? . . .

Отобедали без аппетита.

В двенадцать двадцать девять дежурный по низам торкнулся в дверь кают-компании и доложил командиру, что гребцы гоночной шлюпочной команды построены по его приказанию.

Назаров вышел на ют, брезгливо глянул в низкое небо. Полз поганый ветерок, но флаг и вымпел отсырели и не шевелились. У борта, сторонясь швартова, стояли в шеренгу гребцы. Кроха скомандовал, шагнул для доклада.

— Встаньте в строй, Дымов.

Кроха аккуратно повернулся, замер на правом фланге.

— Товарищи матросы и старшины, — скучно начал Назаров. — Как вам известно, завтра вся страна отмечает День Военно-Морского Флота. Командиром бригады утвержден план спортивных и культурно-массовых мероприятий. На десять ноль-ноль назначены гонки шестивесельных ялов, дистанция две тысячи метров. Мне известно, что шлюпка нашего корабля всегда. . .

Стоят, барбосы. Усталый и равнодушный Дымов. Дунай смотрит прямо в лицо, но слушает невнимательно. Воронин откровенно думает о своем, но из вежливости его физиономия ничего не выражает. Семенова никакой неожиданностью не проймешь. Разин томится. А Сермукслис флегматичен, как финский валун.

— Смирно!

Шеренга дрогнула и напряглась.

— Приказываю! Не уронить чести корабля. Занять в гонках первое место.

Назаров отковырнул и, склонившись, шагнул в дверь.

Чтобы пройти с юта в кают-компанию, времени требуется немного. Принявшись за остывшее мясо, Назаров вдруг заметил блески в глазах лейтенантов, ставшее каменным лицо Раевского. Значит, уже известно. Ну и корабль. . .

— Юра, — удивленно сказал на юте Карлович, — дай команду разойтись. Капитан забыл, а мы будем стоять, как столбик.

Вместо хохота вышел всхлип.

Нарочито медленно, тягуче поднялись гуськом на ростры,

улеглись, назло канонам, поперек торпедного люка. Вдохнули в шесть животов.

Прежний командир «полста третьего» Демченко сказал бы: «Ребята! Они плюнули нам в душу. Они обозвали наш корвет пиратской шхуной. Не потерпим?» — «Не потерпим!» — проревели бы шесть глоток. «Задавим?» — «Заддавим!» — «Ну, добро. Есть еще моряки на свете...»

А старпом пришел бы во время работы. Потрепался бы. Вскользь: «А кто такой был Бутаков? Ну-у, адмирала Бутакова стыд не знать!» И прочел бы краткую живописную лекцию о заслугах старинного адмирала перед флотом российским. И, уже уходя: «Кстати, Бутаков о шлюпке говаривал так: шлюпка есть вернейшее средство нам всем узнавать, кто из какого металла. Вот так, альбатросы...»

— Не буду! — неожиданно сказал Карл.

— *Зря вы так, товарищ командир.*

— *Что? Они же вялые у тебя, как мухи, мичман.*

— *Зря...*

— *Ничего. Пусть позлятся.*

— *Это, Андрей Петрович, смотря на кого.*

— *Боцман, да ты матроса не знаешь! Разве матрос на начальство когда-либо злится? Матрос на жизнь сердится и, как следствие, автоматически — на себя. Нет?*

— *Обидеться могут.*

— *Ну и грош им цена тогда, альбатросам твоим. Ты мне, Леонид Юрьевич, лучше вот что скажи: почему у тебя на грузовых стрелах ржавчина?..*

— Не буду, — упрямо повторил Карл. — Спина болит.

У него бывали приступы безжалостной боли в пояснице. Карл никогда не врал и не трепался, и если сказал «болит» — значит, прихватило до остервенения. Карл вырос на хуторе, врачей не любил, особенно низовых военных врачей, одержимых манией ловить симулянтов. Некоторые строки в Корабельном уставе выделены жирным шрифтом. Одна из них: «Никто не имеет права скрывать болезни». Но достаточно было раз упрекнуть Карла в хитрости, чтобы он позволил себе забыть это положение.

— А у меня не болит, — заворчал Разин. — А я скажу: болит! Бушлатником прикинусь! И кто меня в шлюпку загонит, кто?

— На других кораблях по десять суток дают, — отвлеченно вздохнул Кроха. — Мне эти десять суток даром не нужны. . . Мне не сутки, мне отношение важно! Вечно мы за себя и за других расхлебываем. У кого шлюпка самая гнилая? У нас. У кого комплектация полная? У нас! Кто больше всех пашет? «Полста третий!» Люди за отпуск гробут, так они же гре-сти будут! Мне б за спасибо — счастлив. Петр победителям чарку наливал.

— И рубль давал серебряный, — подсказал Иван.

— И рубль! Серебряный. А тут — за обязанность. Негушки! Заболею. Ртуть в градуснике кипеть будет!

— Матрос за десять суток помрет за веслом, — сказал Лешка.

— Помрет, — кивнул Сеня.

Лешка думал о жене, что жила в двадцати километрах; Сеня — о далеком-дальнем Новгороде, и оба признавали в отпуске великий стимул.

— Заболею! — сказал Иван.

Вяло прыснули.

— Для твоей болезни в энциклопедии места не хватило. . . Дымов почесал большую твердую голову.

— Хошь не хошь. Грести надо. . . Да помогут нам наши привидения!

. . . История с привидениями приключилась в феврале, когда стояли самые сильные морозы.

Зимой большинство кораблей уходило из бухты — подальше от льда и бездействия. Уходили к Базе и дальше по чистой воде — на работу, в поход, ремонт.

К Новому году вставал лед. Сигнальщики спускали черные от морского ветра вымпела, и в финчасти отщелкивали прочь морскую надбавку. На кораблях обшивали шкафуты досками, утепляли опилками шахты, возводили тамбуры над люками. На стенке прокладывали магистраль паропровода, корабли присоединялись к ней, жадно хватая каждый глоток тепла. Палубу отдирали ото льда, драили соляром. Под робой начинали носить фланельки. Курение на заколоченном шкафуте из радости стало мукой: мундштук папиросы мгновенно леденел, дым с морозной сыростью гвоздем вставал в глотке. Фалы перемерзли и ломались, приводя сигнальщиков в иступление. И пресная вода с берега бежала такая студеная, что, по словам Крохи, мыло не мылилось.

Но все это было «чешуя».

Не успевал упасть вымпел, как ставилась железная задача: готовиться к навигации. Ремонт, учеба, тренировки. И еще старпом Луговской, помимо вереницы дневных учений, чертовски любил ночные тревоги, — а значит, любили их и матросы.

Ночи стояли звездные, с хрустом. Луница висела в желто-зеленом ореоле. По субботам на крахмальном снегу стёнки, в свете прожекторов с вышек, выстраивались увольняемые. Строй насквозь проходили офицеры, проверяли прически, ширину брюк, высоту каблука, расчески, носовые платки, иголки в шапке. . . Проверяли все. Строй редел, таял, неудачники вяло шли назад к кораблям. Остальные равнялись, поворачивались направо и с пронзительным скрипом уходили в темноту. В годке выли псы.

Конечно, по части увольнения бухте Веселой далеко было до Кронштадта, Севастополя.

В двенадцати метрах от ворот и колючей проволоки стоял клуб. На танцы приезжали девочки из окрестных деревень. Танцевали до упаду, до сухости в груди, и за час до конца увольнения кавалеры в черных шинелях провожали своих дам к автобусу. Больше всего матросских свадеб в деревнях игралось почему-то весной. . .

К полуночи увольняемые, выкурив последнюю сигарету в гальюне, спали в зыбких койках.

В скупом ночном освещении тесные коридоры становились бесконечными и полужнакомыми. Холодно блестящие медяшки, поручни обретали необычную значительность. Если не стучал движок, корабль заливала тишина, и лишь из конца в конец коридоров сдержанно ходил дежурный.

В такую вот ночь Кроха Дымов услышал *другие* шаги. Железо прекрасно проводит звук, и на спящем корабле нельзя ошибиться.

Какой-то сукин сын, беспечно постукивая каблуками, прошел по рострам левого борта в нос и минуты через две вернулся по правому борту.

Кроха Дымов рассердился всерьез. Прогулки по верхней палубе в два часа ночи — плевок в душу дежурного по кораблю. Он вылетел в одной форменке на мороз, рысью обежал палубу и, раздосадованный, спустился вниз. Отогревшись у камбуза, начал думать.

Из утепленного по-зимнему корабля никто не мог выйти мимо дежурной рубки. И то — Кроха слышал бы шаги по трапам и коридорам, стук двери. . . На всякий случай он сходил на ют к вахтенному. Тот равнодушно месил иней огромными валенками, из тулупа торчал блестящий нос. Автомат на тулупе казался маленьким, как авторучка. Вахтенный ничего не видел и не слышал.

Болтать о происшедшем Дымов не стал, рассказал только Ивану и Шурке. Иван начал смеяться, а Шурка махнул рукой: мало ли что почудится.

Через два дня о ночных шагах рассказал за утренним чаем Димыч. Ему не поверили. Кроха промолчал. Потом настал черед Ивана, за ним — Шурки.

Шурка мог поклестаться: судя по звуку, по палубе ходил человек. Был он среднего роста и веса. Мороз, похоже, его не тревожил, ибо ходил ночной гость не торопясь, в свое удовольствие. Был он не в сапогах, не в прогарах, а в легких хромовых ботинках со стальными подковками на каблуках. Те, кто слышал шаги, согласились: в подкованных хромачах.

Предположить, что на рострах разгильивает кто-то из экипажа, было глупо. Во-первых, найди иднота бродить каждую ночь по верхней палубе при минус тридцати четырех. Во-вторых, из кубриков и кают никто не выходил. А самым главным доводом против живого существа было полное отсутствие следов на свежем инее.

Всплыло щекочущее слово: «привидение».

Старшины возмутились: привидение! Изловить и дать по морде! И никаких привидений.

Команда распалась на две части: одни слышали, другие не слышали и не верили. Неверящие пытались образумить «чокнутых». Десятки раз поднималась версия пара. Радиаторы отопления часто засоряет осевшая вода. Пар с треском прошибает водяные пробки, гул и грохот катятся вдоль бортов. . . Нет, качали головами слышавшие, не похоже.

Вахтенным было настрого приказано следовать за палубой. Взяли на учет все кованые башмаки. Все делалось в секрете от посторонних: не дай бог, узнает кто на бригаде — засмеют!

Но неожиданно на соседней посудине взбеленился вахтенный, вдарил по звонку и едва не сыграл тревогу. Ему почудилось, как вдоль торпедного люка на «полста третьем» бродит кто-то большой и белый. . .

В бригаде поползли дурные слухи.

На «полста третьем» изошрялись в мрачных догадках. Вспоминали поломанный винт и утопленную торпеду, предсказывали провал курсовых задач и весенних стрельб.

И как-то случилось так, что ночью в дежурной рубке собралось пять человек.

Кроха снова стоял по кораблю, Иван — по БЧ, Лешка только сменился с вахты, а Шурка с Димычем шли из лаборатории, где рисовали стенгазету для комиссии.

Последний за сутки перекур слегка затянулся, и уже собирались двигаться к койкам, когда...

— Вот! — выдохнул Димыч.

Кроху передернуло от ненависти и злости:

— Идет, сволочь. Как по бульвару.

Самым удивительным было то, что до сих пор каждый слышал роковые шаги в одиночку, теперь же привидение обнахлилось и поддразнивало нетерпеливый коллектив.

Пять огольцов, кусая губы, смотрели на подволоку. Шаги удалились на полубак и вскоре раздалась по другому борту. Шурка облизнул сухие губы. Сам он не раз выходил в ночные дежурства искать встречи с гостем, но контакт не удавался.

— Сейчас мы его возьмем. Пройдет, зараза, на полубак — там и привхатим.

Разобрали топорики и ломы с аварийного щита. И если привидение существовало, следующая его прогулка в нос обещала быть последней, ибо не было у них никаких сил терпеть такое хамство.

Ждали около получаса.

Снова раздалась легкие шаги. Оно прошло мимо трубы, яла-четверки, потопталось у мясного ящика и двинулось к торпедному аппарату...

— Ходом! — крикнул Кроха.

Лязгнули четыре двери, взвыли морозные трапы, пятеро парней с топорами и ломами столкнулись, тяжело дыша, на полубаке.

Его — не было.

Выматерились всласть, спустились в дежурную рубку и не успели присесть на рундуки, как раздался короткий и требовательный звонок: командир вызывал дежурного к себе в каюту.

Надо полагать, Демченко очень удивился, когда в час ночи его разбудила зверская беготня по палубам и трапам.

— Дымов! Объясните мне, что происходит на корабле!

И бедный Кроха до того потерял голову, что безнадежно развел руками:

— Привидение ловим, товарищ командир.

Из каюты Дымов вылетел весь в лиловых пятнах. А через полторы минуты (достаточно, чтобы одеться по полной форме) капитан третьего ранга Демченко лично замкнул электрическую цепь колоколов громкого боя.

Сигнал учебно-боевой тревоги пронзил и перевернул корабль...

Демченко гонял их до четырех утра. Он устраивал пожары, рвал в бортах пробоины и взрывал поблизости ядерные бомбы, обещая при всем этом выбить к военно-морской матери всю потустороннюю дурь.

Но, как известно, лихая словесность никогда не заменяла в полной мере материалистический подход; к тому же половина экипажа уверовала спросонья, что тревогу сыграли после того, как привидение поскреблось в командирскую каюту.

Единственным, кто не верил в пришельца, оставался Карлович.

— Муть все это! — говорил он, сердито дую в кружку с чаем и звонко разгрызая масло (опять как забыл с вечера масло в тепло положить). — Вы все на вахте спите и видите разную чепуху.

Карл поплатился за свой скептицизм. В одну из последующих ночей он был дежурным по низам. Когда сыграли подъем, спустился в кубрик, сел на трапе, смешно вытаращил глаза:

— Буксир хотел утащить.

В ведении Карла находилось боцманское хозяйство и, конечно же, троса. Не было ни шагов, ни прочих эффектов: просто в пять утра Карлович услышал, как над его головой пополз, заскрипел по палубе тяжеленный буксирный трос.

Карл выскочил на палубу, едва не изломав дверь...

Никого! Никаких следов.

Только свежая отметина в инее от распрямившегося троса.

И теперь Карл тихонько сидел на трапе, а лицо его было — как у того студента, которому покойник в анатомичке ответил на рукопожатие («медики шутят»).

Над Карлом и его любимым тросом хохотали до полусмерти, до лопнувших голландок. С этим хохотом опоздали на утреннюю прогулку и получили замечание от дежурного по бригаде. Замечание — вещь неприятная: комбриг уколует командира, а пострадает дежурный по кораблю, — но скажите,

на каком другом корабле день начинается в столь великолепном настроении?..

Приехал с побывки боцман. «Годки» пошли к нему и, посмеиваясь, рассказали о событиях невероятных. Юрьевич в детали вдаваться не стал, показал мохнатый кулак:

— Я это пр-ривидение поймаю!

И бог его знает почему — но сгинул дух тьмы. То ли оттепель не понравилась, то ли ночные учения по защите от оружия массового поражения. А верней всего, рассудили в кубрике, — боцманской ласки испугался.

Вскоре холод сошел вовсе, потянуло с юга сыростью, унесло в конце мая последний лед, и уж давным-давно никто не вспоминал о февральских приключениях. Так и не дознались, что это было и почему.

Правда, когда вернулся из отпуска старпом, пошли к нему с вопросом. Луговской оторвался от бумаг, глянул мельком.

— Зайцы с ушами! Мороз, а палуба железная. Марш отсюда. Марсофлоты. Вот включу вам в план зачеты по элементарной физике...

— Товарищ старший лейтенант, — разочарованно вздохнул Иван, — вы грубый материалист.

Впрочем, сегодня Иван был настроен трезво:

— На привидения надейся, а сам не плошай.

Шурка поднялся с люка, откинул шлюпочный чехол. Тревожно провел рукой по веслам.

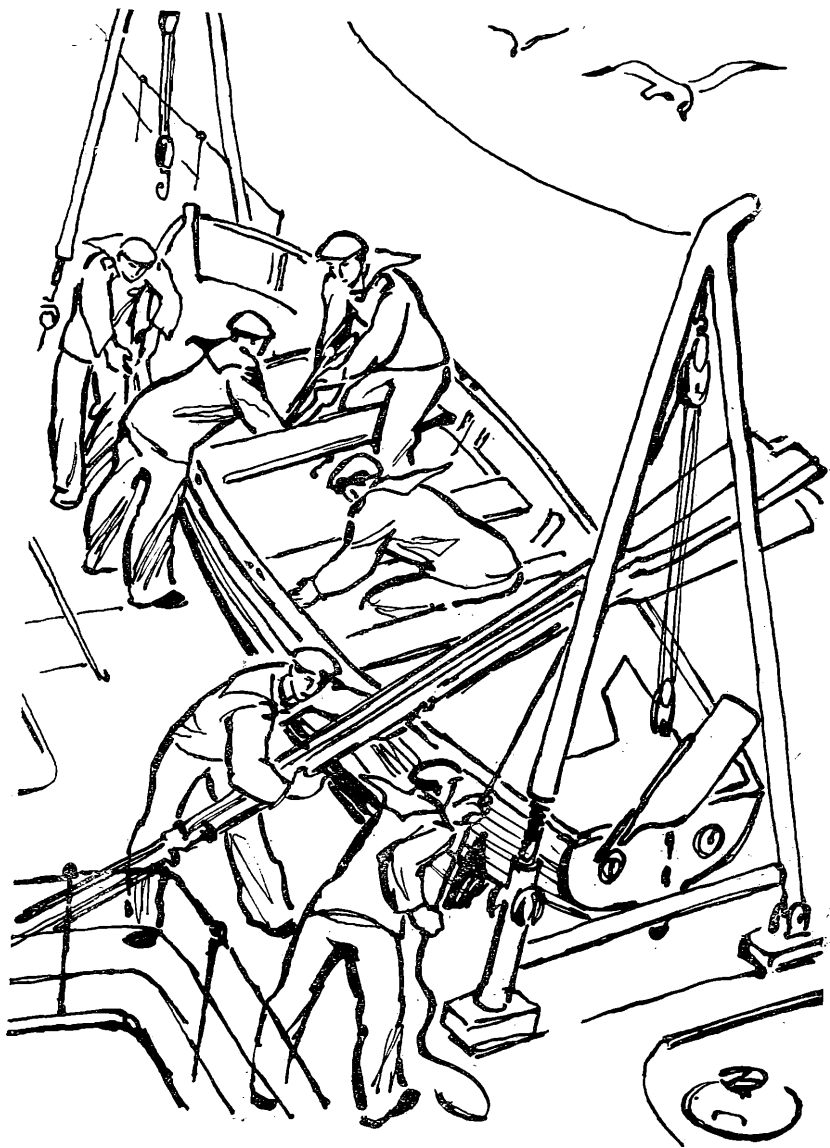
Высвободил из пут одно, поднял, залюбовался тонкой лопастью.

За ним поднялись остальные.

Не имели права они проиграть. Последние гонки...

Два с лишним года отдавали они «полста третьему» все, что могли. Они чувствовали его изгиб на волне и тоску во льдах. Долгие-долгие годы будут им сниться звонки и трапы, лица друзей, свежий ветер с гарью и брызгами... И не так они были воспитаны, чтобы поддаться какой-то обиде.

Шлюпку подняли на таях до упора. С сомнением осмотрели днище. Последнюю капитальную обработку шлюпки проходили два года назад, в доке. Доковые работы выполнялись с опережением графика. Демченко бросил отобранных боцманом людей на шлюпки.



Стотонный доковый кран, удивляясь хрупкому грузу, перенес шлюпки на горячий бетон стенки.

Плотным слоем шла жара. Громыхал, дымил завод. Причалы и доки были густо забиты эсминцами, лодками, тральщиками. Тысячи людей от подъема до спуска флага рвали и мяли железо, и оно покорно вписывалось в линии, заданные торопливым карандашом. Гулко стреляли цеха, выла пневматика, жег взгляд расплавленный сурик.

И посреди этого хаоса легли на белый камень три крохотных деревянных существа. Приземистый мичман выстроил десяток парней и поставил задачу.

Шурка вспоминал ту пору как одну из самых счастливых — пору покоя и упоения работой.

Шлюпки выдраили и выскоблили изнутри, потом убрали подпорки и положили суденышки килем вверх — на чистый старенький брезент. Ножами и скребками ободрали доски до гола, выбили вон шпаклевку и дали просохнуть.

Наверху, над мачтами и кранами, ползло язвительное солнце. Голые спины подсохли подобно дереву, потемнели и заблестели.

Боцман сказал «можно», и Карл намешал ведро лучшей в мире грунтовки. Швы проконопатили намертво, прогрунтовали и тщательно прошлились по темно-красным ребрам кирпичом — до блеска.

Днища и спины выглядели одинаково.

Из цеха примчались на электрокаре новые оковки для кия.

И только потом на сухие ухоженные доски легла первая — сплошной блеск — полоса шаровой краски...

Сейчас, под холодным серым небом, док казался выдуманным раем.

— Только не слишком усердствовать, — предупредил Дымов, — по запарке можно и все ободрать.

Гребцы понимающе хмыкнули. Нужно с умом и терпеливо отметить все места, которые будут тормозить ход, загрунтовать их, вылизать, покрасить.

— Команде в баню! Обмундирование чистить и починять!

Дунула с неба водяная пыль. Как писали старые романисты — погода благоприятствовала любви. Шлюпка, надежно укрытая сверху чехлом, раскачивалась на таях, ловчила сданыть килем по макушке.

Работали споро и зло. В нарушение правил пустили по кругу сырую сигарету, глотнули дымка без отрыва от дела.

Под правым бортом густо бил по воде пар. Душ, наверное, был уже раскален, и в нем, ударяясь крепкими плечами, несуетливо и быстро мылась, стиралась матросская братия.

Скатившись за нуждой вниз, Шурка едва не сшиб Димыча. Брякнула коробка с «фильмой».

— Что?

Дима виновато сморщился.

— «Далекая невеста».

«Невесту» за последний месяц крутил раз восемь.

— Да брось ты, Димка. Хорошее кино.

— Двадцать фильмов базовый прокат дает, — закричал Дима с давней, незаживающей обидой, — на три месяца, на всю бригаду, а в бригаде — киноустановок... А что на «Трембиту» выменяешь?..

— Брось. Обед тебе на камбузе оставили, на плите. Иди, пока Иван не сожрал...

К началу приборки днище привели в порядок. Оставалась комплектация. Настроения не было, несмотря на то, что дождик унялся. По трансляции объявили переход с ноля часов на форму «два».

— С ума посходили, — нерадостно сказал Кроха.

— А, — махнул Иван. — На День Флота в ней выползешь, а там отменят.

— Волки пускай в ней ползают, — огрызнулся Кроха. Он любил покрасоваться и белую форменку накрахмалил еще вчера.

Про форму «два» все знали и были готовы. Дивизионный писарь совершенно точно сказал, кому присвоят очередное звание, форменки лежали в рундуках уже с новыми погонами, перехваченные резким блеском галуна...

Помывка закончилась. Котел вырубил, но едкая сырая духота томилась по углам. Шурка, зевая, съехал в кубрик и привычно огорчился. Грязи не прибавилось, но весь вид большой приборки пропал. По линолеуму темнели водяные разводы, медь потускнела. Койки были перемяты. Матросы гладились на двух столах, чинили на рундуках робу. В углу хохотали и лупили в железный стол доминошники. Валялись и вносили голландки, майки, береты.

— Так! — сказал Шурка. — Внимание. До приборки пять минут. Обтянуть койки. Барахло убрать. Кто оставит — найдет на мусорной барже. Ходом — из кубрика. Остаться только

заступающей вахте. Козлятники! Забудете стол сложить — в трюмах наиграетесь, после отбоя. Живо!

Прозвенел сигнал. Причесанный и облагороженный кубрик опустел. Поругиваясь и смахивая пот, выбрали досуха воду с палубы. Осторожно спросив «добро», спустились в кубрик бачковые, затрещали мисками и ложками. Заныли, шелкнули динамики.

— Окончить приборку! Команде р-руки мыть! Бачковым накрыть столы!

И когда раздалось: «Команде ужинать!» — ребята исправно проворачивали ложками в мисках.

...Много мудрых книг на свете. Есть Библия и Коран, хотя специалисты утверждают, что Корабельный устав несравненно выше, и где-то в этом ряду стоит карманного формата издание в красном переплете — Шлюпочная сигнальная книга. В ней скупое и кратко сказано все, что нужно сказать о шлюпках кораблей Военно-Морского Флота. На борту было три таких книжки — у командира, старпома и боцмана.

Раевский, не обратив никакого внимания на Шурку, застегивал перед зеркалом китель с ослепительными пуговицами. Облезлых «анодирок» он не признавал, и старшины «полста третьего» бог весть где добывали себе на бушлаты тяжелые латунные пуговицы, нимало не тяготясь необходимостью ежедневно их драить.

— Товарищ мичман. Нам бы ШСК, до вечернего чая.

— Комплектацией занялись? — равнодушно спросил боцман.

— Так точно.

— Ну-ну.

Перед всеми гонками Раевский лично руководил приготовлением шлюпки. Сегодня он вроде о ней и не думал.

— Возьми. На полке.

Шурка осторожно высвободил красный томик из тисков «Морского дела» и «Тактики» адмирала Макарова.

Звонки отстукали «слушайте все».

— ...Через две минуты в торпедной мастерской начнется демонстрация художественного фильма.

— Что крутить-то будут? — спросил боцман.

— «Далекую невесту».

— Хороший фильм. Скажи, пусть мне стульчик поставят.

По коридорам, как на праздник, пер народ с банками и стульями. Вестовой волок кресла для офицеров. Шурка скоро обеспечил стул боцману, поспешил на ростры.

Все барахло уже бросили на торпедный люк. Сеня ползал в шлюпке, протирая днище, Карл волок от форпика грудю концов, Лешка с Димычем смешно выясняли, какой из двух шлюпочных якорей легче. Якоря были одинаковы по весу. Сошлись на белом адмиралтейском: он был нарядней.

С якоря началось ощущение праздника. Пока меняли бобины с пленкой, с кино сбежала уйма народу. Дела хватило всем, шлюпку обряжали, как невесту. Собрали со всех ялов отпорники, запасные уключины, флаги — и долго, упиваясь торгом, спорили, что лучше. Заменяли фаллины и все шкерты. Карл преподнес новые кранцы, выплетенные тонко и чисто. Такой кранец было жалко крепить к скобе, хотелось держать его на ладони и гладить, как теплого зверька. . . Среди радостного гвалта высился Мальчик, выдержки из ШСК он читал как заклинания. Гомонили Ваня с Димычем: нужны ли запасные стекла к фонарю? Коля Осокин учил Доктора накладывать марки, тут же красили серебрянкой крючья и топор, выводили на куске фанеры гоночный номер — 53.

Фильм окончился, народу на рострах прибыло. Любовно рассматривали, пробовали на вес, на вкус весла. Пришел добродушный и красивый Назаров, посмеялся, рассказал байку, как однажды его матросики на повороте у буя старшину шлюпки потеряли. Остро зыркнул глазом боцман, молча исчез. Скомандовали пить чай, у шлюпки вновь остались вшестером. Приборку игнорировали, сдержанно вышли на поверку, вновь вернулись к шлюпке. Комплектация затянулась, зато сделана была на славу. Последним уложили, упрятали под носовой решетчатый люк якорь, не забыв надежно закрепить якорьтрос. А то был весной на «двадцать первом» катере случай: сдавали задачу — и в горячке запомнили, что якорь с тросом не скреплен. Сдают, волнуются, все в руках горит. «Отдать якорь!» Ринулись два молодца, скобы на сторону, хватя якорь — и за борт! . . И тютю. Вместо пяти баллов четыре получили и бегали по всему дивизиону, якорь клянчили. Правда, рассказывали еще, что лет семь назад хитрый мичман Кузьмин взамен недостающего деревянный крашенный якорь приспособил и комдив очень удивился, когда якорь всплыл, но это, пожалуй, уже травля. . .

Уложили весла. И загрустили — до того не хотелось прятать

красавицу под чехол и топать вниз. Тонкий дух праздника кружил, не отпускал, и уйти от шлюпки было труднее, чем проститься с ясноглазой девчонкой в роскошный майский вечер.

— А что, если жиром намазать? — сказал вдруг Иван.

Каждый слышал, что на больших гонках днища шлюпок для увеличения хода натирают жиром. В бухте такого не делали.

— Где ж столько жиру возьмешь? — Лешка смотрел в корень.

— Можно солидолом.

Заманчиво...

Шурка уже почувствовал, как разминается под пальцами жирная коричневая масса, уходит в бесцветную тонкую пленку, и шлюпка в новой скользкой коже пойдёт по волне легко, как дельфиненок...

— Боцман голову открутит, — угрюмо заключил Кроха.

Да, за такого туза в рукаве боцман головы поотворачивает. Так что не придется мазать. А жаль.

— А может, не узнает? — безнадежно спросил Сеня.

Горько-горько вздохнул Иван.

— Боцман все знает. Пошли мыться!

И они пошли мыться — вполне довольные собой и судьбой, которая в исходе многотрудного, шершавого дня дарит блаженство раскаленного душа.

А душ Ванюша закатил на славу. Он сначала прогрел отсеки голым паром, потом дал воду и отрегулировал смесительные колонки, как умел только он — старшина трюмных, король воды и пара. Колонки не фыркали и не плевались, жаркая вода шла из рожков ровно и туго.

— Красота! — крикнул мокрый Ванюша.

Гребцы взвыли, кинулись под острые струи. Робы и береты — под ноги, пусть помокнут да помнутся...

Замерли, прислушиваясь к ознобу в спинах.

Корабельное мытье — отрада, священное действо.

Жгучие струи хлещут по темени, плечам, протягивают по спине и бедрам, выбивают всю дурь, усталость, злость. Раскинуть рученьки, захлебнуться ласковым потоком, отрешиться от всего. Прибавь парку, чтоб полыхнула грудь киноварью, пей взхлеб горячее добро... И когда невмочь станет — можно и за стирку.

Робу стирают палубными щетками. Два раза снаружи, один изнутри — до стерильности. После теми же щетками

драят спины. И стирка и мытье — на износ. Дай бог здоровья изобретателю бани и старшине трюмных Ивану Воронину!

Помывшись, осторожно прогулялись на полубак, развесили робы и майки на бельевых леерах.

Кубрик — в полосах синего света — уже спал. К середине ночи станет душно, потянутся из углов бормотанье, сонная ругань.

Негромко распили холодный, оставленный им на баках чай.

Если даровано человеку счастье, так вот оно: забраться после мытья в родную койку, вытянуться нагишом в прохладных простынях и отчалить тихо в царство снов... Засыпая, Шурка успел подумать, что на корабле хорошие сны — шутка неудобная. После них весь день идет косо и невпопад.

Ночь спали отвратительно.

Снились весла, боцман и зеленая ракета в быстром пасмурном небе.

Звонки разорвали и sprыснули живой водой тишину.

— Команде вставать! Койки убрать!

Воскресные пробуждения отличались чистотой и свежестью остывшего за ночь кубрика, доброй неторопливостью хорошо выславшихся людей.

В кубрик, в сиянии белой форменки, сошел лукавый Блондин. Поди ж ты, черт, новую ленточку вддел, повязка новая, брюки первого срока... Рисуясь, по-адмиральски вскинул руку:

— С праздником, товарищи моряки!

— Ура, — сказал Дымов измятым со сна голосом.

— Ура, — сказал кубрик.

— Вовик! Солнце?

— Солнце!

Всегда, неведомо откуда, чуяли они в своем ящике ниже ватерлинии, какая наверху погода.

Солнце.

Запели, загомонили.

— Радисты! Музыка!

Динамики зарычали, разразились песенным весельем.

— Кроха, — позвал Шурка. — Разомнемся?

Дымов прищурил один глаз, потом другой.

— Пошли.

С наслаждением позевывая, они выбрались на ростры — и засмеялись.

Полыхала синева. Блестели корабли. Орала бакланы.

Солнце каталось огромной ртутной каплей.

Плюнул военно-морской бог, засучил волосатую лапу и навел пор-рядок в этом мире.

На рострах пыхтела работа, ребяташки обрабатывали перекладину, штангу, мяли гири. Кому не хватило крупного добра — махали гантелями.

Выполз Иван. Расцеловались, обламывая плечи.

— Денек-то, а?

— Погода!

— Шлюпочка-то, а?

— Ну-у. Блеск.

— Солнышко-то, а?

— Да.

— Одним словом — День Флота!

А по кораблю бродил шальной дух какао и пирожков с повидлом, не зря коки во главе с мичманом Карповым колдовали с трех часов утра. Мичман Карпов был прижимистый и язвительный старик, но пирожки он пек лучшие на флотах, это могла подтвердить вся бригада.

Завтрак отгрохали королевский. Гребцы ели осмотрительно, но плотно, больше налегая на сыр и колбасу. Рабочий по камбузу притащил каждому горсть сахара: мичман Карпов приказал.

Наскоро перекурив, спустили шлюпку и, щурясь на яркую воду, перегнали ее к плавпирсу.

На палубах кораблей возились приборщики. Сигнальщики проверяли хлопотливое хозяйство: предстоял торжественный подъем флага. На «девяносто восьмом» у шлюпки шла толчая: занимались комплектацией. Ну, правильно. На охоту ехать — собак кормить. Эти уже не соперники. . .

Шурка откинулся назад, пристроив затылок на заспинную доску, и рядом с ним так же расслабленно и вольно вытянулись белые весла. Лаком их не крыли, Юрьевич сказал: лишнее.

Подходили шлюпки. Шурка, не открывая глаз, узнавал, с какого они корабля, по голосам матросов. Ни один фалинь, выброшенный на пирс, не издал при натяжении скрипа, характерного для новой снасти. Концы могли не сменить из лени или суеверия, и все это создает настроение. В то время как со-

перники занимались торгом, утрясали отношения на основе взаимной выгоды (выиграешь — поедешь в отпуск), шлюпка «полста третьего» шла как в бой.

Плеснули звонки: окончена приборка. Сейчас мальчики моют лапки, валяются в кубрик и, сшибая друг друга мускулистыми задами, переодеваются в форму «два».

Ударил, заныл, перевернул сердце «Большой сбор».

Палубы швырнули в небо грохот сотен башмаков. Как песня проплыли команды.

Плавно развернулся на фалах «двести пятого» сигнал «Исполнительный, Исполнительный», поднятый до половины. Всплыли на прочих фок-мачтах «ответные» вымпела.

И настала долгая, емкая минута всеобщей тишины перед подъемом флага, минута, в которую так хорошо думается о самом-самом своем. . .

Шурка, как и все вахтенные на шлюпках, сидел в положении «смирно» (стоять в шлюпках запрещено): положив ладони на сведенные колени и повернув лицо к кораблям.

Время вышло.

Упали сигналы.

Взметнулся, мерно пошел «Встречный марш»; повинуюсь ему, поплыли на паутинке фалов и штагов: вверх — стеньговые военно-морские, косо — пестрые флаги расцветивания. Дошли до места. Секунда тишины. . .

И грянул над бухтой, разворачиваясь как флаг, первый мощный аккорд гимна. . .

Было очень много холодной воды и очень много холодной земли вокруг этой горстки людей и горстки железа.

Но железо, отлитое в неумолимую точность кораблей и лодок, мало считалось с расстоянием и холодом. Люди, чьи плечи были отмечены золотыми буквами, нашивками и звездами, пришли сюда не по своей воле, но они знали, что так надо и что они занимают нужным и правильным делом.

И тяжелая торжественная мелодия ложилась на сизые камни и студеную воду как печать уверенности этих людей в своей силе и правоте.

Первым слово «победа» произнес на борту «полста третьего» замполит дивизиона Довлатов.

С подъема флага праздник набрал деловой ритм. Переодевались в чистые робы гребцы. Спортсмены сборных дивизи-

она разбирали отглаженные майки, звенели тугими мячами. В кубрике готовились к репетиции вечернего концерта, нудно тенькали гитары, мелкой трелью рассыпался баян.

От трапа прозвенели четыре уважительных звонка. И хотя четыре звонка положены комдиву и заму, по какой-то особой мягкости и приветливости звона стало ясно, что на корабль всходит Довлатов.

Сухой и элегантный, строгий без надменности и дружелюбный без фамильярности, Борис Семенович Довлатов был любим в дивизионе откровенно и преданно.

У него была каюта на «полста третьем» и комнатка в казарме, но заставить его там было трудно. Он пропадал на кораблях, и все это даже отдаленно не напоминало политработу. Он просто жил — без нажима, без усилия, без пунктов.

В кубрике его звали по имени-отчеству, чаще коротко — зам.

Сегодня на его парадном кителе играла блеском и звоном строка послевоенных медалей.

Во всей бригаде войну знали четыре-пять мичманов поколения Раевского, из офицеров воевал один начпо. В сорок четвертом он был матросом. У матросов, родившихся в пятидесятых, темнели от почтения и зависти глаза, когда они украдкой рассматривали тяжелый, будто сквозь копоть, блеск орден Красной Звезды, червленое золото нашивки за тяжелое ранение.

Довлатов не воевал. Он пережил пацаном ленинградскую блокаду.

Суть своего замполита дивизион определял кратко: боевой зам. Он лихо водил катер, хитро и решительно строил торпедные атаки. По части светового и флажного семафора побивал первоклассных специалистов. Легко и точно, как вилкой за обедом, владел крупнокалиберным катерным пулеметом... Рядом с ним не знать специальность было стыдно.

Посмеиваясь и зорко поглядывая вокруг, Довлатов шел по кораблю.

Они были удивительно схожи — человек и корабль — стремительным твердым профилем, легкостью движений и привычкой к ветру. Глянцевые ботинки зама не уступали в чистоте недавно крашенной палубе, ломкая складка брюк отражалась в строгих линиях корабельной окраски, белизна обвесов

соответствовала ослепительности манжет, и золотые запонки перемигивались с высшей пробы надраенными медяшками.

На шкафуте Довлатов остановился, заглянул в камбузный портик:

— С праздником, Солунин.

Сергея поспешно отер пот с худого лица:

— Здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга! С праздником. Что ж вы к завтраку не пришли? Добро вам на пробу пирожков с чаем снарядить?

— Спасибо. Потом. Я с катерниками завтракал.

— Пирожки до обеда простынут. . .

— Хуже не станут. Фирму знаю. Что на обед?

— Праздничный обед: салат из свежих овощей со сметаной, — нехитрые эти слова звучали в бухте Веселой вальсом духового оркестра, — на первое суп картофельный из свежей картошки с фрикадельками, на второе пюре картофельное на молоке, с сардельками, на третье компот, галеты.

— Откуда ж сардельки?

Сергея развел руками: сие, мол, ведомо одному лишь мичману Карпову.

— Ясно, — сказал Довлатов. Взглянул на часы. — Полчаса до старта. Пора картошку жарить. Антрекоты позже. Главное — не передержать.

— Виноват, — сказал Сергей.

— Семь антрекотов. Гребцам и командиру шлюпки. С жареной картошечкой, со свежим лучком. Красота!

— Виноват, — сказал Сергей в другой тональности.

— Карпову скажи, мое приказание. И передай от меня привет. За то, что сам не догадался. Он же старый волк. Должен знать, как победителей в такой день встречают.

Довлатов кивнул Блондину: не сопровождай, занимайся службой — и пошел по кораблю, здороваясь с каждым матросом и заговаривая о пустяках.

За двадцать минут до старта вся бригада знала о приказании Довлатова. Ни на одном корабле не осмелились его повторить.

Боельщикам, забившим все мостики и прожекторные площадки, делать пока было нечего.

На безлюдных ростры «полста третьего» вылез Сергей Солунин с миской и круглым тесаком.

Его рассматривали в полсотни биноклей. У кого не было бинокля — пялились так.

Серега лениво отхватил семь алых ломтей, кинул в миску и пошел вниз. Вылез рабочий по камбузу и прибрал колоду.

Было во всем этом оскорбительное спокойствие.

Пустые палубы «полста третьего» раздражали. У всех на глазах затевался неслыханный, непонятный фокус. Сброшенный со счета, съеденный до гонок корабль в ответ на шквал насмешек не огрызлся, а, попыхивая трубой, жарил антрекоты.

Главный судья отложил игры: волейбольные и баскетбольные команды не вышли на площадки.

Оторвать людей от гонок могла лишь боевая тревога.

Солнечная, вспененная тишина качалась над бухтой.

Движение и голоса сдержанно бурлили у плавпирса, где сгрудились носами к понтонам полтора десятка ялов. Спокойным широким шагом подходили шлюпочные команды. Гребцы разувались, аккуратно выстраивали на пирсе прогары, ловко спускались в шлюпки.

Иван, оглаживая банку, коротко рассказывал Шурке о довлатовском призе.

— Зам у нас с юмором. . . — протянул Шурка. В интонации сплывались насмешливая оценка ситуации, и гордость за Довлатова, и тревога: попробуй теперь проиграй, забудут тебе антрекотик в глотку, как чоп в пробоину.

— Смирно! — ухнул Кроха.

Медвежонком скатился в шлюпку боцман.

— Воль-но!

— Вольно, — отработал Дымов. — Товарищ мичман, антрекот с картошечкой любите?

— Обож-жаю! — огрызнулся Раевский. — Отставить смех! Всем отдыхать.

Завертели головами и выяснили, что рядом болтается шестерка «сто восьмого», загребными Женька с Саней Кожухом. Холодно поздоровались. Говорить было не о чем.

В шлюпку прыгнул командир «сто восьмого» Громов.

— Смирно! — выкрикнул Женька.

В шлюпке «полста третьего» разулыбались. Женька отвернулся, Громов сделал вид, что не заметил.

От «сто восьмого» донесся радостный вой. Значит, Громов не собирался идти на шлюпке и решил это только что. Хочет бить наверняка. . .

— Внимание! Начинаю проверку комплектации.

Флагманский артиллерист капитан второго ранга Тотс,

здоровущий улыбчивый прибалт, раскрыл красную корочку ШСК. Тотс нынче главный судья гонок, и это справедливо. Шлюпку он знает, а гребет — дай бог каждому.

Тотс зачитывал по ШСК наименование шлюпочной утвари, и в шлюпках предъявляли названный предмет. Походило на игру в лото, и в этой игре, бесспорно, банк сорвала шестерка «полста третьего» — единственная полностью укомплектованная шлюпка. «Сто восьмой» и то отличился — у них не было якоря. Таллинская шлюпочка «двести пятого», конечно же, вышла пустой, как корыто. Обнаглели вконец. Не-ет, милые, не видать вам нынче аплодисментов.

Минер первого дивизиона подбежал к Тотсу, торопливо зашептал, указывая на Раевского.

— Раевский! — весело крикнул Тотс. — Ты чего там с веслами намудрил?

В шлюпке глухо забубнили. «Минер-раз» фигурировал в этом ропоте как человек нехороший.

— Имею право, — развел руками Раевский. — Правилами оговаривается длина весла, длина и ширина лопасти. Весла — стандарт. А валец — мое личное дело.

Почти никто не уловил сути разговора. Заветные весла лежали, пришкертованные к бортам, упрятанные от дурного глаза.

— Добро, — кивнул Тотс.

Громов осторожно заглянул через борт. Покачал головой:

— Рискуешь, Леонид Юрьевич.

Раевский так же осторожно постучал согнутым пальцем в звонкий борт шестерки Громова.

— Весной шлюпочку получили? Нет, Владимир Григорьевич. Без риска. Как в трамвае.

Громов нетерпеливо откинулся на заспинную доску. Показалось — заложит сейчас он руля, отвалит, накренься, как на моторном баркасе, и пойдет, расшибая волну, на одном са-молюбии. . .

Но шлюпка его болталась в мягкой солнечной воде. А с соседнего яла на него равнодушно пялились чужие матросы.

Разыграли воду.

Раевскому досталась первая вода, Громову — вторая.

Шурке первая вода нравилась; но боцман почему-то скривился. Оттолкнулись от пирса, разобрались в буксирную цепочку. Карл закинул фалинь на рейдовый катер, где уже раскуривал трубочку Тотс. Катер застрекотал, выхлопнул синью,

боцман переложил руля, шлюпка увалилась вправо и мягко пошла.

Буксировка шлюпок — славное зрелище. Смирные, растянувшись едва ль не на полтора кабельтова, шлюпки бойко бегут за катерком, приседая на волне, над бортами торчат только головы в беретах — гребцы упрятались под банки, и на последней шлюпке задорно плещет флаг.

Полубаки и мостики кораблей были плотно облеплены народом в белых форменках. Когда шлюпки проходили под форштевнями, корабли взревели, вскипели отмашкой белых рук.

Всем желали победы.

Из шлюпок раскланялись, как на премьере.

Буксирная цепочка отошла, сплющилась, привычно не вписываясь в водную плоскость, и вскоре ее размыло дымкой: день выдался теплым, видимость резко упала. В хороший бинокль трудно было различить подробности приготовления к старту. Припав к окулярам, ждали ракеты.

Впрочем, ждали не все.

И на кораблях, которым в этот день посчастливилось дышать у стенки, каждый третий матрос был на вахте. В то время как мотористы надевали мазутные комбинезоны, вахтенные у трапа заботливо бинтовали ремни автоматов, чтоб не изгадить белую форменку. Проверяли температуру в арпогребах дозорные по погребам, и обходили отсеки дозорные по кораблю. Рабочие по камбузу размышляли о том, что свежая картошка несравненно лучше сушеной, но имеет существенный недостаток: ее надо чистить. Насвистывал за колючей проволокой караул у складов и мастерских. Шарили биноклями по горизонту сигнальщики поста наблюдения. Занимались привычной работой вахтенные радисты, акустики, телефонисты.

А в шлюпке «полста третьего» шла обычная травля. Лешка вымаливал у боцмана «добро» выбросить якорь.

— Та-ащ мичман! Опять мы одни, как идиоты, с чистой шеей. Ни в одной шлюпке якоря нет. Добро, а? Ну, та-ащ мичман. . . Ей-богу, выброшу, потом меня же благодарить будете. . .

— Не надо трогать якорь, — не-русски твердо сказал Карл. — Пусть лежит на левом борту. А то Юра с Ваней перевесят, и мы все упадем.

Шурка глядел в зеленую волну, под которой угадывалась ледяная чернота, и думал о том, что корабельные шутники не правы. Шел себе человек, продираясь на гнилой посудине сквозь шторма и туманы, извелся, веру потерял, думал — все. . . И на тебе! Утро. Бухточка под солнцем. Волна — синь, брызги — жемчуг, чайки мечутся, и дышится — за четверых. Взял он клочок бумаги, отобразил береговую загогулину, написал: «Веселая». И точка!

Отсмеявшись Карловой теории равновесия, притихли.

Они знали бухту наизусть, исходили ее под парусом и на веслах, видели в любую погоду из шлюпки, с берега и с борта корабля, но сегодня она была неожиданно новой.

— И впрямь веселая, — легко вздохнул Иван.

— Перекурить бы, товарищ мичман, — тихонько попросил Дымов.

— И не думай, — отрезал боцман. — Задохнешься на старте.

Кроха закрыл глаза и пополз поглубже под банку: прошли волнолом, и ветер с моря был свеж.

Идти до бочки оставалось две-три минуты, можно было и вздремнуть.

Боцман никогда не рисовался и не врал себе. Сегодня он был уверен в своих ребятах.

Левый баковый, Карл Сермукслис, приземистый, с крутой челюстью, синеглазый латыш, колхозный плотник, столяр и шофер. Он мог работать упорно, безостановочно, сколько потребуется, не помяная своих заслуг, не прося награды. С таким строевым боцман может спать спокойно, зная, что палуба — без льда и ржавчины, в форпике порядок и пройдохи из нижней команды не получают ни грамма лишней краски. О людях, подобных Карлу, как о надежных механизмах вспоминают, лишь когда они выходят из строя. Может быть, поэтому Карл не съездил в отпуск. Менялись командиры. . . а главная вина, конечно, на нем, Раевском: не пробил парню десять суток. Скверно получилось. . .

Правый баковый, Володька Семенов, длинный и тощий малый с лошадиными жилами, бывший техник на высоковольтных линиях. Жадно пьет флотскую науку, хорошая будет Дымову замена. Он пока помалкивает, девичьими ресницами поводит, но сидит в этом скромнике такой верховод. . . покруче Крохи старшина будет.

А правым средним идет его командир, Юра Дымов (уго-раздло их такого детину Крохой окрестить), — человек, влюбленный в свои торпеды, в корабль, в железные флотские годы, но от роду ему двадцать два, и кокетничает Дымов своей влюбленностью на полную катушку. Был он слесарем-наладчиком в большой типографии на онежском берегу, работать силен и показать свою работу — тоже силен. Щеголь лихой, на пару с Дунаем, робу носят, как принцы крови. Командовать умеют. Подчиняться умеют. Любить и ненавидеть умеют, а человек без любви и ненависти — что корабль без пеленгов. Да. Побольше бы таких старшин. Торпедист Дымов — отменный.

Сосед его на левом борту — строевой матрос Лешка Разин, раздольный парень, иногда столь широк, что служба ему в тягость. Гонял до службы «МАЗ» на щебеночный карьер, а в выходные ребра ломал на мототреке. На корабль его списали из шоферов за какую-то историю. Курносая мордаха, баянист и первый танцор в дивизионе, весь он — удалой, нараспашку и в то же время крепко себе на уме. Когда дело не по душе, гляди за ним в оба, но уж если присосался к чему, вроде шлюпки, будь спокоен: не отвернет.

Правый загребной, Ванюша Воронин, кудрявый и ласковый, первая опора командира БЧ. Галуны нашли в ладонь величиной — как раз по плечам. Прошлепал Иван машинистом на своем пароходе всю Волгу насквозь и в хаосе машинельных систем, совсем как господь, видит стройную целесообразность. Меры не знает, и хохочет, и бесится, и работает — до дурноты. Свирепость этих старшин оттого, что не мыслят — как можно дело делать плохо, потроха за дело не класть.

И Шурка Дунай середины не знает: либо весел, либо зол. Бывший слесарь с завода на Петроградской стороне, он мог, играя на крайностях, делать сто дел за день. Были в нем одержимость, расчет и чувство секунды — не зря шел он левым загребным, по которому держат такт все гребцы.

Да. Это были ребята не бархат, но что с тем бархатом делать?

В эту минуту, как перед рывком на вражий берег, им было ровным счетом на все наплевать. Они шли за победой.

— Отдать буксиры! — крикнул в рупор Тотс.

Шлюпки сбились в кучу. Прошла под кормой шестерка плавмастерской. Ну и размалевали: планширь белый, буртик зеленый, лопасти красные, а флюгарка — павлиний глаз...

— Весла, — сказал боцман.

Тугие, нетерпеливые весла скользнули в уключины.

В шлюпке «двести пятого» загалдели, замахали руками: что у них за весла, не такие весла, почему такие весла. . .

— Так, — отметил Шурка. — Эти тоже не соперники.

Вышли на старт.

В запястьях противно прыгал пульс.

Шлюпка ощутимо переваливалась, волна на открытом месте была в два-три балла.

Разделись до пояса и вмиг озябли под ветром.

Шурка оглянулся. На горизонте плавали в солнечном пятне несерьезно мелкие силуэты кораблей. По самой высокой мачте угадывался «двести пятый». Под его форштевнем — финиш.

— Скучно, — хрипло сказал Кроха.

— Погребем, отогреемся, — мечтательно сказал Иван.

— А как до плавпирса дойдем, — мотнул головой Лешка, — вот поку-урим! . .

— Баковые табань!

Начиналась нервная игра. И когда все стремились нажечь соперников на старте хоть на фут, Раевский упрямо пятился, и подгребал вперед, и снова пятился, выгадывая, чтобы в момент выстрела шлюпка была на малейшем ходу.

— Весла! — скомандовал Тотс и поднял руку с ракетницей.

Вот и все.

Ушли озноб и пульс.

Пропал мир.

Осталось очень мало: лопасть и лопасть соседа по борту, руки на вальке и руки соседа по банке, лицо боцмана.

Все.

После расскажут: ракета была зеленой.

А весла дивно хороши. . .

Боцман привстал и замахнулся.

Выстрел.

— На воду!!

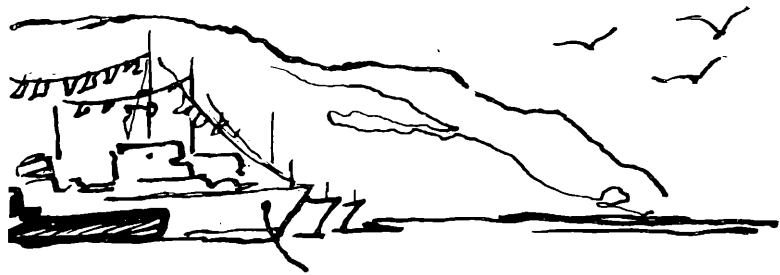
Стоячая шлюпка тяжела, как локомотив.

Хоп! — вцепились. Мертво.

Ну!

Потянули — коротко — сорвали!

С места.
Хоп!
Весло — рычаг второго рода.
Впившись лопастью в кашу воды, вы-тя-ги-ваешь на себя
эту дуру. . . Хоп!
Вода черна, как боцман.
Перекошен, пятерня кривая в небе.
— Ти-инуть! А-р-раз! — и хоп! И два — хоп! Ну три!..
И! — пашо-ол!!
Кулак несется в полукруг.
— Па-шел! Ходом!! Па-ашли, милые! А ну!! Ходом! Ход-
дом. . . Мать!! И хоп!
Хоп — вцепились весла в воду.
И так!
Спин-ной, от-тянуть, под-дохнуть, раз! . .
Рывок.
Бурун. Под форштевнем.
Бурун под кормой.
Пот.
Сдохнуть!
Боцман:
— И-р-раз!
Волна.
Не промахнись с волной.
Гребень отхватишь — руки изорвешь. . .
Боцман:
— Дер-ржись за воду!
Весла, умницы, держат. . .
Раз!
Катер отнесся метров на сто.
Волна лупит в днище.
Вырываемся, нет? — не взглянуть.
— Вырываемся, — шепнул Иван.
Бочки не видно. Катер ушел. Куда?
Дымов:
— Сеня!
Боцман:
— Вместе!!
Вместе, так твою, в единый дых.
Где Громов?
— Делай их! — ревел боцман. — Делай! Ход-дом!
И Шурка увидел.



Слева, в шести метрах, уродовались мальчишки Громова. Вытягивал и выбрасывал весло Женька. Набычивался Ко-жух. Впечатался косо по ветру флаг.

Громов орал и складывался пополам.

Люди надрывались и горели, кипела под яростным криком вода, но шлюпки стояли одна подле другой, и это было страшнее всего.

Одна подле другой.

Громовская — на метр сзади.

Синь и зелень.

Розовые весла.

И — ни сантиметра не вырвать.

Капли пота отлетали на валец. Простукивали уключины.

— Реб-бята! — молил боцман. — Бригада смотрит!

Нет, некогда было вспомнить, что там, где солнце и мачты, не дышит бригада: в крестах дальнометров — две шлюпки.

— Дави их, молодцы! — рвал галстук Громов. — Топи их, как котят! Они же не тянут! Гонка наша! Как котят!!

Раевский стоял — он не имел дурной привычки раскачиваться и выть, Раевский стоял и засаживал кулаком сваи:

— Ход-дом! Ход-дом! Ну хоть дюйм! Дюйм!.. Ну?!

Руки щепоткой сцепил:

— Ну нашли еще пороху, ещ-ще чуток, нашли!

Пороху.

Щепотку пороху!

Они сожгли уже в бешеной гребле нервы — все, и мясо, и кости.

Пороху!

Расчетливо вонзить весло в волну, швырнуть плечи назад, вырывая на прямых руках всю шлюпку, и, когда спины не хватит, рвануть руками... хоп! — ушли за транец шесть воронок — хоп!..

Сатана Раевский и флаг — поперек.

Раевский искал выход. Флаг ложился поперек. Волна и ветер шли в борт.

В левый борт.

Забрал у Громова волну и ветер.

Под парусом — была б победа.

На веслах — нет!

И шел себе Громов, как в ванне.

Вот чем пахла в этот ветер первая вода.

В такт гребкам поднималось и падало небо. Струнами ныли жилы. В кильватере встали шлюпки, далекой сороконожкой семенили красные лопасти.

Громов, подняв руку, стлался в колени загребным, выбрасывая как знамя:

— Десять суток! Десять суток! Десять суток!

— Подавятся. . . — выскрипел Кроха.

— Н-но! — рывнул боцман. — Воздух беречь! . .

Можно рыснуть влево, можно. С-под форштевня дать им ветерка.

Не дам!

Только с видом на транец.

— Мальчики!!

Была у боцмана глотка! Теперь таких не делают.

Взвился голос и рухнул на плечи, смял, сожрал все вокруг.

— Мальчики! Родные мои, пе-ре-прыг-нуть! Чуток. Ударь их волной! Нашей волной! Но-о-о! Дунай! Вор-ронин! Дымов! Карлович! Сеня! Лен-ня! На вас вся Рос-сия смотрит!! И р-ра-ааа-з!!

И под немислимый этот рев, ослепшие от напряжения, на ничтожном обрывке нерва, на отчаянной любви к Юрьевичу — вытянули сан-ти-метр.

Позже скажет Тотс, что шлюпки держались рядом четыре с половиной кабельтова.

Сантиметр.

И тут же выиграли другой.

Третий.

— Над-дай, орлы! — гремел Раевский. — В душу буду целовать!

Пусть по планширю громовской шлюпки ленивого таракана, и побрел бы он в нос — рядом с кормой шестерки «полста третьего».

Так выигрываются гонки.

И кончился Громов. Захлебнулся левый баковый, упорол, стервец, весло. Это тебе не за чужим бортом грести! Лопнуло моральное состояние, раскололись десять суток.

Напрасно кричал Громов:

— Отпуск! Достанем их! Навались! . .

Напрасно.

Проворот шести ключин в конце гребка сливался в еди-

ный щелчок, и с каждым щелчком шлюпка «сто восьмого» ощутимо уходила назад.

Раевский мог переложить руля, выйти ей в нос и лишиться возможности отыгаться.

Мог. Но не вышел.

Уж так он был приучен играть — честно.

— Темп не терять! — весело крикнул он. — Отдохнуть! Темп не терять!

Громов сбился и сам вышел им в кильватер. Такова магия транца лидирующей шлюпки.

Они не теряли темпа. Глотнув воздуха, синевы, уверенности, они рвали воду, несли шлюпку-ласточку к победе.

— Оторваться! — тряс кулаком боцман.

Оторваться. Обрубить им все надежды на реванш.

Губы запеклись, предплечья вспухли и отяжелели.

Под берегом бежал серенький катер. Сколько прошли? Сколько еще? . .

— Оторваться! У-бе-ди-тельно прийти!

Выврать нужно убедительно. . . Раз!

И еще! И еще. И еще. . .

— Волнолом, — выдохнул Шурка.

Осталось четыре кабельтова. Какая ерунда. . .

И внезапно — как обрезали — кончилась волна. И сразу отпихнули назад «сто восьмую». Даешь убедительно!

Уже доносилось протяжное: «А-а-а. . .» — стонали боельщики.

Откинуться назад. . . упасть вперед, хватая воздух, зацепить шелковую, штилевую воду — хоп!

Потянулась песчаная коса, колючая проволока, причал подводных лодок.

Еще чуть-чуть.

Никому не достать!

— Еще чуть-чуть!

— Покричать, — шепнул черными губами Лешка.

— Рано, — выбросил ладонь боцман. — Скажу. Навались! Красиво выиграть, мальчишки! Убедительно! Вся Россия смотрит! А ну!!

Навалились, кроша стиснутые зубы, выламывая уключины.

Сотня метров!

Замелькали ржавые якорные цепи.

Выгнулся боцман. Мичманку поправил. Вскинул лапы:

— Пока-ажем «полста третий»! Вместе!! И-и! . .

Грянули.

Крик помогает.

Выплескиваются криком на финише спринтеры. Хрипят, ломая стальные мышцы, борцы. Страшно, беззвучно кричат мотогонщики, вминая машину в победный вираж.

Протяжно и голодно воют гребцы.

Ударили в шесть глоток, перекрыв корабли.

— Десять гребков!

Навек впечатывая пальцы в древесину, на пределе, выжигая легкие криком, упали в тень форштевня флагмана.

— Суши весла! — выстрелил боцман. — Смирна-а!

Вскинулись весла, распластались горизонтально — узкие белые крылышки.

А командир призовой шлюпки мичман Раевский, кинув железную руку к козырьку, спокойно и гордо глядел наверх, где пестрый флаг судьи на финише, улыбка комбрига, гремящий оркестр.

Были в его лице медь сводных оркестров, мерный грохот матросских батальонов на Красной площади (знавал Юрьевич столичные парады!) и еще очень многое — торжественное и простое.

Опустил руку.

— Весла по борту!

Радостный марш раздирал тишину.

Шлюпка, как боевой конь без седока, сама нашла корабль, уткнулась в родную якорь-цепь.

Боцман снял галстук и расстегнул рубашку.

Шурка тихо всхлипывал, уронив голову на валец. Иван сполз на рыбины и мучительно дрожал, закрыв глаза ладонью. Дымов упал назад, Карл раскинулся на люке, Лешка, почти вываливаясь вон, плескал в шею забортную воду.

А наверху бесновалась, рыдала от восторга братва.

...Ветер крутил праздничные флаги. Странно было думать, что в такое утро кто-то может подышать, ломать весла, рвать глотки и запястья.

Путь от плавпирса до корабля стал стометровкой триумфа. Налетели сворой, повисли на плечах кореша. . .

Уже выдернули из воды мокрую и счастливую шлюпку, самую быструю шлюпку бригады, бережно поставили на киль-блоки. Стерли соляром серый налет на бортах, навели порядок, каким должна быть отмечена лучшая шлюпка. Вовка

Колесник скатился в кубрик сообщить, что весла — в лучшем виде.

— Да, — вспомнил Кроха. — Что там Громов насчет весел кричал?

Шурка стоял в трусах и белой форменке, с брюками и вешалкой в руках. Пожал плечами. Действительно, когда они стали уходить вперед, Громов пытался разъяснить своим гребцам, что у Раевского весла тухлые и победа, соответственно, за «сто восьмым». . . Эпизоды гонки вспоминались, как давний трудный сон.

— Когда человеку очень обидно, он не знает, что кричать, — объяснил Карлович. — Пу-усти! . .

Ловко отпихнул Шурку от зеркала, начал разбрасывать белые волосы на косой пробор.

Суконные брюки перешиты хорошо и отглажены — пять баллов. Шурка стянул бедра ремнем, сладко потянулся — форменка ладно обласкала каждый мускул. Заглянул через Карла в зеркало: как лежит воротник, удобно ли золоту на плечах.

— Ходом?

Крепкие и белозубые, играя длинными ленточками, расшвыривая недозволенные клеша, вывалили на ют.

День кружился, позванивал, светился насквозь. По разогретым палубам текла истома. Белый камень стенки, дух чистых кораблей. Табак был вкусен, как любовь, и радость переплетала алой ленточкой блик на «пушке» вахтенного, вздох воды под кормой, золотистый тембр гитары.

Вышел боцман — при параде, повернулся — соколом.

Глаз выхватил из регалий на боцманской груди знак мастера спорта, георгиевскую ленту «Победы над Германией».

Звучная команда к построению — пора!

Широким и гордым строевым прошли на свое место.

— «Полста третий», — заложил руки за спину комбриг. Прищурился: — Молодцы.

Тот скандовал и доложил. Начштаба развернул бумагу. Шурка шагнул вперед за боцманом. Строй гребцов бригады крепко вздохнул: даром это не дается. Взяли кубок, грамоту, торт, бачок компота. Начштаба читал дальше. Гудел оркестр. Ветер заворачивал красную скатерть судейского стола. Корабли именовались по номерам войсковых частей, это было непривычно и скучно. Пронесли что-то длинное в брезенте.

Комбриг сказал два слова о традициях русского флота, о пользе шлюпочного дела. . .

Припадали на колени фотографы-любители. Спокойно работал профессионал из флотской газеты. Стенку плотно забили белые форменки, взяв строй гребцов в каре. Размах причалов и площадей познается, когда их захлестывают тысячные толпы.

— Товарищи моряки! Сегодня команда «пятьдесят третьего», командир шлюпки мичман Раевский, в десятый раз подряд взяла первое место на гонках в честь Дня Военно-Морского Флота Союза ССР! За отличную выучку и стойкость командование бригады награждает экипаж корабля комплектом академических весел!

Все взревело — и стихло.

Распахнули брезент.

Лаковые, вишневые — восемь весел для морского яла, изысканные и надежные, воплощение мечты.

— Все, — шепнул Сеня. — Теперь наш экипаж академический. Оперы и балета.

— Имени Раевского, — добавил Иван.

Валялось и прыгало «ура», музыканты вышибали солнце из труб. Шурка спихнул кубок назад, ловя команду «разойтись».

— Качать боцмана!

Юрьевич легко вырвался и побежал.

— Кача-ать!!

Поймали, скрутили, закинули в небеса.

— Реб-бята! — стонал боцман.

Дудки!

Он взлетал, звеня медалями, и десятки лап принимали его нежней перины. . .

Обедать сели, сняв форменки и застелив колени полотенцами. После техники на корабле пуще всего берегли парадную форму.

Ведро для слива харчей сегодня пустовало. Праздничный обед подбирали дочиста.

За едой невнимательно поговорили о шлюпке: шестерку «сто восьмого» обштопали не меньше, чем на десять корпусов («На пятнадцать!» — ревниво кричала молодежь), потом пе-

решили на свежие новости. Победа в гонках стала хорошим глотком бальзама: дивизион, как опасливо сказали в бригаде, озверел. Били всех без разбору: на стометровке, на кроссе, на канате, на полосе препятствий и вырвали даже волейбол у бойцов береговой базы, которые всю навигацию стучали в мячик. . .

В открытый люк падал смех из кают-компания. К Лешке приехала жена, командир пригласил ее отобедать с офицерами, и Лешка, прислушиваясь к люку, вертелся и ронял крошки.

Накрахмаленный, дохлый от усталости Серега внес на трех пальцах поднос с антрекотами.

— Чудик, — сказал Дымов, — кормилец! А мы совсем забыли. . . Садись с нами!

— Да не хочу я, ребята, — вяло отнекивался Серега. — У кого курить есть?

— Тихо! — отверг Шурка десяток предложенных сигарет. Прогулялся до рундука, разломил заветную пачку: 1-я Ленинградская имени Урицкого. А что еще нужно старшему коку Сереге Солунину, уроженцу Канонерского острова? . .

И когда сожрали все призовое мясо и все трофейные торты и самый сказочный кусок торжественно пронесли в кают-компанию Леониду Юрьевичу, гребцы почему-то собрались в торпедной мастерской, где на рабочем столе сладко вытянулись весла — личный приз комбрига.

Это были весла!

— Ну, с победой, боцман.

— С Днем Флота.

— Хороший праздник. . . Лучший праздник.

— А напрасно ты ребят. . .

— Нажаловались!

— Вахта рассказала.

— «Вахта, вахта». . . Верно, что комбриг торпедолов тебе предложил?

— Был разговор.

— Командиром будешь?

— Подумать надо. . .

— Они себя героями чувствуют! Дни до приказа считают. Мне герои на борту не нужны. Мне обыкновенные старшины нужны. Которые служить будут! Да. . . Отличные ребята у

тебя, боцман. Но гордецы, ох, гордецы! Мне бы их — молодыми. . .

— Эге. Они такими и пришли.

— Двумя кораблями я командовал, и оба выводил в отличные. И этот — выведу. Выведем, Юрьевич?

— Пожалуй, соглашусь. . . Приму торпедолов.

— Жа-аль. Вот тебе честное: жаль. Давай по последней. Добрый праздник. С победой?

— С Днем Флота.

Шикарные, заслуженные были весла.

— Выпить бы, — вздохнул Иван.

Да, выпить было бы очень даже здорово.

— Перебьешься, — сказал Кроха. — Пошли курить.

Великое слово — перебьешься. Очень многого не хватает порой человеку. Женской руки. Письма из затерянной весны. Простого тепла. . . Но есть шепотка табаку, и слава богу — перебьемся. А когда уж курить нечего. . . Перебьемся.

Закурили не спеша и с толком. Солнце пополам с табачным дымом — бешеный коктейль.

— Вот и весь праздник, — сплюнул в обрез Шурка. — На вахту сегодня. Дунь-дребедень. Будет выход завтра?

Кроха пожал плечами.

— Должен. Мы ж не достреляли.

— Добро. День веселее пройдет. . .

Папиросы были скурены, как этот ясный день. И остался коричневый мундштук.

— Поспать надо. До инструктажа.

Дымов поднялся, крепко потянул воздух.

— Осенью пахнет.

— Морем, — отмахнулся Иван.

Шурка прислушался. Тянуло осенним холодком, предвестником утренней росы и штормов.

Черным ветром шла с норда последняя флотская осень.

— Точно, Кроха. Осень. . .

Кубрик спал. Послеобеденный сон — святое дело. Кто знает, каким сюрпризом взломается эта ночь.

Шурка легкими движениями упрятал форму «два» в рундук, достал чистую робу (та, в которой шел на гонках, уже постирана и сохнет). Матросская синяя роба. Лучшее платье, какое смог придумать человек. Вымытая пресной водой, высушенная на ветру, роба пахла снегом. . .

Кинул в изголовье бушлат и, подтянувшись, забросил себя в койку.

Узкая койка. Цепи. В полуметре над лицом стальной лист подволока, он же — палуба офицерского коридора.

Вестовой шатался в кают-компанию и обратно, убирая посуду. Сапоги лупили по железу. В глаза Шурке сыпалась мелкая крошка краски. Дерьмо, а не эмаль. Красили в мае, уже сыплется. Что же будет через полгода?

А вот через полгода Шурки здесь уже не будет, и койку эту займет Вовка Колесник. Семьдесят семь до приказа, сто дней до увольнения в запас. И прощай сине море, гребни белые. . .

Удивительно некстати вспомнилась зеленоглазая Танюша. Ласковая, хрупкая. Она за что-то обиделась на него. А они неделю болтались в полигоне, особенно крут был последний денек, когда волна накрывала ют как подушкой, ютовую авральную группу подменяли каждые полчаса, и они сделали все, что надо, уже в темноте; когда бы ни вернулся корабль, то первым на берег сходит командир, а вторым — почтальон, и обидчивые письма в такую ночь не ложатся на душу. . . Он ей и отписал. Сгоряча. И уже две недели — ничего.

И до того неудобно и мутно стало жить, что Шурка дернулся, приподнялся на локте. Вздохнул и нетерпеливо сказал в синюю темноту:

— Кроха, Кроха! Юрка! . .

— Чего? — сонно отозвался Дымов.

— Но мы же выиграли! Выиграли? Ну!

— Выиграли, — зевнул Кроха и накрыл голову бушлатом.

Поль Герман

БАЛЛАДА О ГРАЖДАНСКОЙ

Степью по-над Доном
Темно-серой птицей
Над отрядом конным
Пыль летит, кружится.
Глухо бьют копыта
В предрассветной рани.
Нет еще убитых,
И никто не ранен.

Полыхает гривой —
смоляным пожаром, —
Воронкой игривый
Конь под комиссаром.
Комиссар отважен,
И не только в речи.
Следом сабли вражьей
У плеча отмечен.
За святое дело
Хоть сейчас сразится.
Алой каплей смелость
Через бинт сочится.

Командир по стати
Комиссару вровень.
Бурку раскрылатил,
Грозно хмурит брови.
Молод он

и зорок,
На коне буланом.
Командиру — сорок
На двоих с наганом.
А беда — все ближе.
Топот — все слышнее.
Конь смеется рыжий,
Выгибает шею.
А на рыжем — всадник:
Волосы — туманом.
Пляшет конь в засаде
С белым атаманом.

Он вояка старый,
Третий год — в бандитах.
Грудь его с крестами
В трех местах пробита.
Будет дело жарким
И займется разом.
Смерть глядит из балки
Пулеметным глазом.

Налетели! . . Злая
Закипела сеча:
Пулемет залаял,
А ответить нечем.
Эх, погиб парнишка.
Надломился станом! .

.. Я захлопну книжку
И читать не стану.

— Где ж твоя удача?
— По степям рассыпал.
Атаман заплачет —
Он узнает сына.

Закричит: «На помощь!..»
— Поздно, батя, поздно...
...Вороная полночь.
Орденами — звезды.

Я открыл страницу.
Дочитал до точки.
В прошлом не изменишь
Ни судьбы, ни строчки.

Слава командирам!
Комиссарам слава!
Встал рассвет над миром
В обагренных травах.
Это время мчится,
Натянув поводья,
Солнечной зарницей
Из вчера
в сегодня!

* * *

Срывая с крыльев неба сгустки,
На пару — пара,
Бой — так бой!
И перегрузки, перегрузки...

Какой пронзительный покой
Сегодня в небе.
Месяц узкий,
Оставшись с ночи,
не спешит
Растаять в свете дня бесследно
И тихо льет из чаши медной
Последний крик своей души.

Когда в торжественной тиши
Светлеет небо над тобою,
Ты вспоминай о тех, кто боем
Связал войну, даря нам жизнь.

* * *

Как давно это было: война,
и жестокий мороз,
И уставший бежать
весь от дыма седой
паровоз,
И костры на перроне,
и рядом —
иззябшие мы,
Ленинградские дети, — летящие листья войны.
Полбуханки — богатство! —
нам дали на троих пацанов.
Нерушимое братство
голодных мальчишеских ртов.
По горбушке-ледышке
метался костровый ответ,
Кровь на деснах мальчишки. . .
Это все — не из книжки,
и такому
забвения нет!
А потом мы вернулись в наш город
к могилам отцов.
. . .Быть хотел бы я пулей,
летящей фашизму в лицо.

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

Нет звезд
и нету неба для меня —
Одних приборов желтые глазницы.
Ах, как близки бывают наши лица
При зыбком блеске звездного огня.
Ночь рядом,
а преграда — так тонка!
От близости рождаются сомненья:
Мой самолет,
мое стихотворенье,

Где мы летим?

Ни зги, ни огонька. . .

Но вот вдали мелькнул чудесный свет,

И я спешу сквозь мрак и холод ночи.

Твои глаза — струящийся источник

Большой любви,

и ночи словно нет.

Она все лжет, когда беду пророчит.

Ей справиться со мной не по плечу.

Ты спи, спокойно спи — я прилечу.

У нас в полку я не последний летчик.

Наталья Ивасенко

СЫН

РАССКАЗ

Я люблю детей маленьких. Конечно, с ними тяжелее: бессонные ночи, постоянная стирка, ребенок на руках, ты скована, ничего не можешь себе позволить. Все это так. Но заглянешь в его ясные глазки да услышишь его смех или лепет, а тут еще обнимет он тебя своими мягкими ручками — и куда только делась усталость. Недаром говорят: как рукой снимет. И снова готов не спать, стирать, готовить, гладить...

У меня трое детей: один сын и две дочки. В младенчестве все трое были толстенькие, пухленькие, кругленькие. Ножки у всех коротенькие, крепенькие, как ножки у белых грибов. Но это было давно. Теперь ребята повзросли. Сын уже на третьем курсе института, иностранные языки изучает, а две дочки в школе учатся: одна в восьмом классе, другая — в пятом.

До последнего времени семья наша жила дружно. Муж у меня молчаливый, покладистый. Спросишь его иногда, ну, как делать то-то и то-то, или там еще что-нибудь, он обычно говорит одно и то же: «Да делайте как хотите. Лишь бы хорошо было». Да я стараюсь ему голову особенно-то и не забивать пустяками. Работа у него ответственная. Он диспетчер на заводе. Так что привыкла сама управляться.

Девочки наши тихие, послушные, старательные. Учатся

хорошо. Да и сын всегда таким же был. Иногда говорят: вот был-был таким, и вдруг как подменили или «от рук отбился». Нет, этого не могу сказать. Такой же серьезный, получает стипендию, такой же приветливый; утром — «доброе утро», вечером — «спокойной ночи», из-за стола выходит — всегда «спасибо» скажет. Не в этом дело. Просто теперь нам как-то трудно договориться, понять друг друга, что ли. Вот я его по-матерински учу и наталкиваю на то, что не нужно ему это. Сам научился думать, по-своему. А мне принять его таким трудно.

И началось-то все вроде с пустяка. Этой весной решили мы с отцом ему куртку купить. Есть хорошие капроновые куртки, удобные, и от дождя, и от ветра, с «молнией», и цвет сдержанный. Думала, обрадуется. А он спрашивает:

— Какую куртку?

Я даже удивилась. Фаньше никогда не спрашивал: что куплю — то и ладно. А тут спросил. Я ответила.

— Не надо, — говорит, — мне такую. У нас в таких никто не ходит. Уж если покупать, то покупать японскую. У нас в институте только такие носят.

Ну, посоветовались мы с отцом и решили — купим.

— Ничего, пусть подороже, — говорю я мужу, — зато что он хочет. Мы ему никогда дорогих вещей не справляли. Парень, в конце концов, заслуживает.

Так и сделали.

Летом думала, как обычно, отправить всех троих к родне, к тетке своей в деревню. Но и тут Вениамин мне говорит:

— Нет, мама, в деревню я не поеду. Я уже оформился — на стройку поеду, тут недалеко, под Ленинградом. Мне деньги нужны.

— А зачем тебе? — спрашиваю. Мы и так стипендию его оставляем ему на личные расходы: транспорт, кино, подарки друзьям, когда идет на день рождения, и так далее.

— Понимаешь, мама, мне обязательно магнитофон купить надо. Денег я от вас с отцом требовать не могу и не буду, ты не беспокойся. Я сам заработаю.

И объяснил мне, что магнитофон ему нужен, чтобы лучше усваивать иностранный язык:

— Буду сам себя записывать и прослушивать.

— А может, не обязательно, и без него можно? — не очень решительно спросила я. — Как же раньше-то, когда магнитофонов не было, языки учили?

— Ну как ты не понимаешь? С ним же удобнее работать над ошибками в произношении. У нас в группе у каждого свой магнитофон есть.

Что тут делать? Денег у нас, конечно, таких нет. А вещь нужная. Пусть поработает.

В конце августа он действительно купил магнитофон да еще несколько пленок с записями, так что в перерывах между его занятиями слушаем мы модные песенки и мелодии.

Ну, думаю, хорошо. Купил, и ладно. Раз надо для занятий — так надо. И пока никакой тревоги у меня не возникло.

Началась осень. Сентябрь. У него занятия. Вдруг он меня предупреждает:

— Мама, ты не волнуйся, я буду приходить теперь домой только к восьми.

— А что случилось? — Так-то он в три-четыре всегда дома.

— Я на работу устроился. На базу. Разгружаю ящики.

— Зачем это? Что, опять тебе что-нибудь нужно?

— Да.

— А теперь что?

— Джинсы.

— Джинсы? — удивилась я. — Было бы из-за чего работать. Семь или сколько, ну, пятнадцать рублей я тебе хоть сейчас дам.

— Да нет, мама, — мнется он. — Мои джинсы сто двадцать рублей стоят.

— Сколько?! Я таких и в жизни-то не видала. У отца выходной костюм за восемьдесят рублей. И костюм хороший. А тут...

— А в нашей группе все только в таких джинсах ходят.

— У каждого за сто двадцать рублей? — не могу успокоиться я.

— Да. А я не хочу отставать от других или быть хуже. Я хочу как все. Я не рыжий, — и он опять засмеялся.

— А смеяться тут нечего! — вспылила я. — Нечего голову глупостями забивать! Я не была против магнитофона, как ты помнишь. Надо так надо! А джинсы-то зачем? Ради шика? А купишь джинсы, — успокоишься?

— Нет, — отвечает он. — У меня должны быть деньги. Я хочу быть как все!

— «Как все, как все!» — в сердцах передразнила его я. —

Заладил одно и то же. Ну и как хочешь! Я, конечно, потакать твоим глупостям не собираюсь!

— А я и не требую. Сам заработаю и куплю себе то, что считаю нужным.

— Ну и работай! Дурачок! От своих занятий время отнимаешь. Хороший специалист в кавычках из тебя получится!

— Хороший, и без всяких кавычек. Ты не волнуйся. Я спать буду меньше. Между прочим, Джек Лондон несколько лет подряд спал по пять часов, и ничего!

— Знаешь ли, у каждого свое здоровье. А если ты начнешь болеть? Ты худенький. Посмотри на себя, какой ты грузчик? На работу-то брали — не смеялись?

В общем, уговоры мои не подействовали, отец было пытался что-то сказать ему — не стал и слушать.

И случилась все-таки беда. Как чувствовала. Прихожу с работы — дома девчонки перепуганы, отца нет, еще на работе, а Вениамин лежит с перебинтованной ногой. Испугалась я:

— Что такое?

— Да ничего страшного, — успокаивает меня Вениамин. — Просто ящик был тяжелый, сорвался и упал на ногу. Я уже у врача был.

— Вот так! Говорила же я тебе, говорила! Какой из тебя грузчик? Вот урок получил хороший — надеюсь, теперь успокоился со своей работой?

— И не подумаю. Это случайность. Я же тебе сказал, я ни в чем не хочу себе отказывать.

— А подождать немного не хочешь? Вот закончи институт, будет у тебя специальность, работай тогда по специальности, деньги свои будут — вот тогда и делай, что хочешь!

— Нет уж, столько ждать не хочу.

— Почему-то мы с отцом могли себе отказывать в том или ином.

— Да, я знаю, вы с отцом привыкли чего-то ждать, на что-то надеяться, откладывать и успокаивать себя: это подождет, не это главное. А я так не хочу. Отказывать себе в чем-то — это не уважать себя. В нашей группе девиз: «Лучше все и сейчас, чем ничего и потом». Я хочу, как все.

— Все-то на двух ногах идут, а ты начинаешь со своим девизом на одной прыгать! — заплакала я. — Что ты с другим-то равняешься? Сам же говорил: у того папа профессор, у другого — директор магазина, у третьего — директор завода...

— Ну и что? Другим дают, а я возьму. Вот и вся разница. Да не смотри на меня так. Не беспокойся: воровать не буду, заработаю.

— Ты становишься рабом вещей! — напоследок сказала я.

Чувствую — бесполезно с ним говорить. А он мне опять в ответ свое:

— Нет, ты ошибаешься, я буду рабом любой вещи до тех пор, пока ее у меня нет. А когда она у меня есть — я ее хозяин. Разве ты не замечала сама: о какой-то вещи думаешь именно потому, что у тебя ее нет. А когда она у тебя есть — ты забываешь о ней, ты свободен от нее и можешь думать о более для себя важном и нужном. Ты не согласна?

Я ничего ему не ответила. Вышла из комнаты.

И решила посоветоваться с Клавдией — вместе у конвейера стоим, давно дружим. По дороге домой рассказала ей все. Выслушала она меня внимательно и говорит:

— Господи, да я бы на такого сына молилась! Я бы не радовалась на него! Это же счастье — такого сына иметь! И учится хорошо, и чего-то хочет, и честно добивается, не то что у некоторых: сидят на шее да требуют. А то есть еще страшнее: ничего не хотят — ни учиться, ни работать! Так что тебе волноваться нечего!

Сумки с продуктами оттягивают наши руки, говорить долго нам некогда, каждая торопится домой, и мы расходимся.

Я иду домой и думаю о сыне. Напрасно меня успокаивает Клавдия. Не принимаю я его таким. Ведь ошибается мой Венямин.

АВТОПОРТРЕТ

РАССКАЗ

К тридцати двум годам мне кое-что стало понятно. В жизни каждого человека есть любовь. Не бывает жизни без любви. Только одни умеют эту единственную разглядеть, а другие, что называется, «воронят» свое счастье.

У меня так и получилось. И кто виноват? Да, наверное, сама виновата. Хотя, конечно, и не повезло мне. Ведь некото-

рым еще и везет. Человек не знает ничего, не ведает, а к нему приходит другой человек с громадной своей любовью и решает все за него. Тогда такому остается только счастливо подчиниться. А мне за свою надо было бороться самой. С самого начала. И этого как раз я не понимала. Я не понимала, что любовь — это в первую очередь борьба, а уже потом все остальное.

Когда мне было два года, отец мой погиб на войне. Моя мать очень любила отца и потому больше замуж ни за кого не вышла. Растила меня одна. Зато столько ласки, столько заботы, сколько я получила от своей матери, по-моему, никто никогда не получал и не получит. Причем эта любовь ее не была, как пишут иногда, «слепая». Нет, просто мать — я это как-то рано поняла, но, к чести своей, никогда не злоупотребляла этим, — не смогла бы жить без меня. Она так всем в открытую и говорила, и знакомым своим, и родственникам, и соседям по квартире:

— Если, не дай бог, с Наденькой что, — при этом она плевала через плечо, — жить не буду ни минуты.

После четвертого класса я поступила в специальную школу при Академии художеств. Мне нравилось рисовать, мать как-то сумела разглядеть мое увлечение, собрала мои рисунки, отнесла в школу. Меня допустили к экзаменам. Свою первую в жизни композицию я запомнила навсегда. Разрешено было написать акварелью на тему любой сказки. Я выбрала «Лисичку-сестричку и Серого Волка», тот момент, когда подобранная стариком лиса, которая притворилась мертвой, за его спиной с лукавством и проворностью сбрасывает с саней рыбу. Композиция понравилась, экзамены я сдала успешно и была принята в школу. С тех пор и началась моя жизнь художника. Причем мои тетки всячески убеждали меня, что этим я должна быть обязана только своей матери.

— Если бы не Шура... — говорили они и ставили много-много точие, то есть догадайся сама: со всеми своими способностями ты ничего не смогла бы добиться, если бы не твоя мать. А я и не спорила. И добавляли: — Люби, люби маму. Она для тебя — все! Смотри!

А чего смотреть? Росла я девочкой смирной, тихой. Во дворе гулять не любила, шумные игры мне не нравились. Мне бы посидеть, почитать, порисовать.

По воскресеньям вместе с мамой уезжали в Пушкин, Павловск на этюды. Мать ездила со мной с удовольствием.

И даже когда мерзла рядом со мной в осенние холодные дни, все равно была довольна.

Я пишу, тороплюсь, вижу, как она мерзнет, а она только успокаивает меня:

— Не торопись, не торопись. Мне полезно померзнуть.

Я понимаю, что она имеет в виду: целыми днями на заводе, в цеху, потом магазины, вечерами дома — я делаю уроки, она рядом.

Так вот мы с ней и жили. Конечно, были у нас походы в кино, театр, в гости, на выставки, к нам иногда приходила родня и мои школьные подружки. Тихо, без особых всплесков, спокойно, день за днем. Ничего яркого, из ряда вон выходящего не помню, потому что ничего и не было.

Самое главное, мы были с ней всегда рядом. И как-то так с самого начала поведось: если мне приходилось уходить к подружкам — ну, мало ли, день рождения, праздник, — то всегда уходить из дому мне было нелегко. У матери вид был настолько потерянный, жалкий, такое в ней сразу проскальзывало тоскливое одиночество, что я тут же обещала матери никогда никуда впредь не ходить:

— В последний раз, мам. Я и сама не хочу, но раз уж обещала, понимаешь. . . Я скоро вернусь.

— Не засиживайся поздно, — просила она. — Иначе я буду волноваться.

— Конечно, — обещала я.

И действительно, среди праздничной суеты я вспоминала мать и торопилась домой. Ничто — ни угрозы подружек, ни их подтрунивания, ни насмешки — не могло меня удержать. Это тоже вошло в привычку: уходить из дому я могу редко, в крайнем случае, когда отказаться невозможно. И если уж уходила, то знала: к девяти я должна обязательно быть дома. Надо мной смеялись:

— Ты почище Золушки. Та хоть к двенадцати должна была быть дома, а ты к девяти торопишься.

— Мама ждет. Она волнуется. Сердце у нее слабое. Нервы. Я не хочу ее огорчать.

Невозможно было каждый раз объяснять всем, как сложилась наша жизнь, что такое для меня мать и я для нее. Теперь мой черед беречь ее, ограждать от излишних волнений. Постепенно и знакомые, и подружки к этому привыкли и иногда сами мне напоминали:

— Маме-то позвони! Не забыла?

— Помню-помню, спасибо!

И когда я бежала домой раньше всех, никого это уже не удивляло и никто не подтрунивал.

Да, откровенно говоря, и времени у меня особенно не было расхаживать по гостям да по подружкам. После школы поступила в институт на факультет живописи. А это значит — каждую свободную минуту надо или рисовать, или компоновать, или делать наброски. По воскресеньям опять этюды. Громадный тяжелый этюдник оттягивает плечо. Хорошо, мама рядом, помогает, несет складной стульчик и мой холст.

Вот, говорят, художники такие влюбчивые, такие легкомысленные, трепачи. Неправда это. Как правило, художники болезненно самолюбивы, работают много, напряженно, устают. Начиная со второго курса ставят нам обнаженную модель, и нет ни у кого более целомудренного взгляда на натуру, чем у художника. Раскрыть и передать красоту природы, ее гармонию, сложность цвета — вот какие задачи решает художник, когда он смотрит на модель. И взгляд в это время у художника серьезный, строгий, сосредоточенный. Он один на один выходит на поединок с природой. И должен победить. Ему не до шуточек. А если любой другой человек, не художник, войдет в это время в мастерскую, он и хихикать будет, и пальцем тыкать, и смущаться, и краснеть, и отворачиваться, потому что ничего, кроме голого тела, он не увидит.

Да и вообще художники с детства привыкают работать. Все дети знают, что такое воскресенье, ждут его не дождутся — сколько радости ждет их в этот день: новые фильмы, прогулки, игры, шалости во дворе, книги, — да, господи, мало ли интересного можно придумать, когда ты свободен, и у тебя есть время, и тебе нечего делать! А у будущих художников выходных не бывает. В воскресенье-то да в каникулы самая работа и начинается: этюды, наброски, композиции. Это я все к тому так долго объясняю, чтобы понятно было, как к двадцати четырем годам я все еще была одна, ни с кем не успела познакомиться, никто за мной не ухаживал. Молодые люди ведь любят девушек беспечных, веселых, у которых голова не забита работой и которых мама не ждет домой к девяти вечера. Это уж я позже поняла.

Спрашивают меня:

— Когда замуж-то, Надя?

А я только плечами пожимаю да смущаюсь — почему-то стыдно, как будто в чем-то я виновата. Многие подружки уже

замужем. У кого один ребенок, у кого даже двое детей, а я все одна.

Вот, думала, кончу институт, буду посвободнее, времени для развлечений будет больше. Но так я думала, потому что не знала, что сразу же после окончания института новые задачи передо мной встанут, да поважнее, посерьезнее, чем во время учебы. Проблем было много, но главная: работать хочется, а где? Ведь не в комнате же, где мы с мамой живем. Год ушел, прежде чем я нашла нежилой фонд — подвал, окна на уровне ног прохожих. Темно даже днем. Сыро. Но и этому я была рада. . . .

В основном я пишу натюрморты. Это и понятно. Для тематических картин, для пейзажей нужны впечатления, поездки. А я ездить не привыкла. Летом, когда у мамы отпуск, обычно уезжаем мы с ней куда-нибудь недалеко от Ленинграда: Токсово, Кавголово, Сосново — озера есть, лес рядом, — очень хорошо отдыхается в этих местах. Уехать куда-нибудь подальше одной у меня не получается — опять же, а как мама? Как тут уедешь? Ничего, ладно, буду рядом. И само собой получается, что остается мне писать только натюрморты.

В двадцать пять лет я полюбила Бориса. Полюбила так, как могут любить только раз в жизни. Полюбила так, как об этом могла только слышать, читать и мечтать.

Высокий, глаза большие, серые, зрачок четкий, лицо смуглое. Он мне сразу понравился. Кто он? Чем занимается? Как зовут? Ничего о нем не знала, но в первую же минуту нашего знакомства подумала: если полюблю — то только такого! И еще: как он прекрасен!

Он был другом моего двоюродного брата, с ним я у родственников и познакомилась. Инженер. Двадцать восемь лет. Женат. Есть сын. Все это узнала от самого Бориса. Он ничего не скрывал. Никакой тайны у него не было. Видимо, тех мыслей и чувств, которые были у меня, у него не возникло. А я как с ума сошла. Никогда ни с кем не целовалась, не обнималась, не кокетничала. А тут первый раз в жизни пошла на хитрость:

— Мне бы очень хотелось, Борис, — говорю я ему, — написать ваш портрет. Ведь я художник.

Ему тоже интересно стало. Начал расспрашивать, над чем я работаю, что делаю и так далее — то есть чувствую, что ему интересно со мной. Признался, что в искусстве ничего не понимает, некогда этим заниматься было. Я еще больше обрадовалась. Значит, есть возможность предложить свои услу-

ги — быть своего рода экскурсоводом по залам Эрмитажа и Русского музея. Идея эта ему очень понравилась. Обменялись мы телефонами, и начались наши встречи.

Странно, ведь с самого начала знала, что он женат. На что надеялась? Временами себя убеждала: опомнись, пока не поздно, опомнись! Но бесполезно. Ничего не могла с собой поделать. В общем, как в модной сегодня песне Высоцкого поется: «Чую с гибельным восторгом: пропадаю! Пропадаю!»

Ходили мы по музеям, бродили по улицам. Узнала я, что жена Бориса человек очень больной, сына он любит и потому из-за жалости никогда семью свою не оставит.

У нас не было обид при расставаниях: к девяти меня ждала мама, и к этому же времени он тоже должен был быть дома — его ждала семья. Так что и тут у нас с самого начала была определенность.

Но он, видимо, догадывался о моем чувстве. Еще бы, при встречах с ним я краснела, смущалась, временами невпопад отвечала. Звонила ему первая. Первая при встречах бежала ему навстречу. А он был ровно ласков со мной. Учтив. Внимателен. Заботлив. Но и только — так мне казалось. Но я ошибалась.

Через несколько месяцев он как-то признался мне:

— Надя, я люблю тебя. Я полюбил тебя с первого же дня нашего знакомства. Но, Надя, мы же взрослые люди, и ты умница, красивая, молодая, ты должна понять, что у тебя будет своя жизнь, ты встретишь еще того человека, с которым будешь счастлива. Что я? . .

— Нет, нет! — кричала и плакала я. — Только тебя люблю! Только тебя!

— Надя, я тоже тебя люблю, поверь мне! Все было бы гораздо проще, если бы я не любил тебя. Мы бы тогда могли жить как любовники, обманывать всех и вся, потом бы нам это все надоело, и мы бы разошлись. И у тебя была бы сломана судьба. Я не хочу этого. Слышишь? Зачем тебе ломать жизнь? Ничего у нас с тобой не получится. Меня будет мучить семья, я не смогу полностью принадлежать тебе. А тебе этого мало. А ты будешь требовать иного, а я не смогу. . .

— Ничего, ничего я не буду требовать!

— Это ты так сейчас говоришь. Подумай спокойно! — Он целовал меня, вытирал мои слезы, гладил по голове, как какую-то капризную маленькую девочку. Тон старшего не покидал его.

— Ты человек талантливый. Художник. Цени себя! Уважай себя! Я тебя очень люблю и очень хочу тебе счастья. Ты достойна его. — И опять повторял, что я умная, красивая, что у меня впереди вся жизнь.

— Никакой жизни без тебя не хочу!

— Не горячись. Не надо. Поверь, ты ошибаешься. Пройдет время, и ты мне спасибо скажешь. . .

В общем, день нашего объяснения оказался нашим последним днем. Я думала, не выдержу, умру от отчаяния и боли. Когда вернулась домой, мать взглянула на мое лицо, побледнела и спросила:

— Что случилось? Кто-то умер?

— Потом, мама, потом. Как-нибудь потом, — сказала я кривыми губами. — Сейчас не могу. Ты не сердись.

Теперь, когда прошло семь лет и я стала взрослее, я понимаю, что допустила ошибку. Не надо было его слушать. А я слушала. Не надо было ни о чем думать, а он заставил меня думать. Как, да что, да что из этого выйдет? Значит, что-то останавливало меня, если я не смогла найти таких слов, которые бы заглушили его тревогу, его рассуждения. Значит, сама виновата, что не поняла тогда, что за свою любовь надо бороться. А я выслушала его, поплакала и продолжала жить дальше. Конечно, зло и иронично я говорю теперь, — все было гораздо тяжелее, страдала я долго. А надо, наверное, было что угодно, вплоть до того, чтобы встать перед ним на колени и держать его за ноги: «Не уходи! Только не уходи, любимый!» Ведь не встала, не сделала этого.

Но время шло, и надо было дальше жить и работать. У меня оставалось одно утешение, одна отдушина — мои натюрморты. И чем сумеречнее было у меня на душе, тем таинственнее и насыщеннее были мои натюрморты. Их брали на выставки и несколько раз даже похвалили в печати. Так прошло еще несколько лет. Я стала членом Союза художников. Получила настоящую мастерскую. Мастерская светлая, просторная — только работать.

И все-таки Борис оказался прав. Год назад познакомилась я с Дмитрием. Хотя разве можно сравнивать то мое первое чувство и это?

Дмитрий еще до встречи со мной был женат и уже разведен. Где-то росла дочка. Навещал он ее редко, но помогал постоянно. Я было попыталась как-то пристыдить его: как же ты мог дочку оставить?

— Не я, не я, вот те крест! Жена меня выгнала! Ей надоело мое безденежье, мои поездки на Север за этюдами — взяла и выгнала. А я не хотел! Мне было хорошо!

Дмитрий тоже художник. Пейзажист. Любит ездить, путешествовать. Пейзажи его своеобразные, в них много неба, небо разное, но всегда сложное: облака, тучи, ветер, прорывы голубизны и острые закаты. Он чувствует состояние в природе, любит передать ее буйство, подвижность, наверное потому, что и сам неугомонный, сильный, волосы взлохмачены, голос громкий, и что интересно — любит похохотать. Он беспечен. Таких обычно называют беспутными. И теперь уже я знаю, что у нас с ним ничего серьезного не получится, — семьи в принятом смысле слова не будет. Он привык мотаться, ему не сидится на одном месте, он любит компании, и чем больше народу, тем лучше. И до сих пор меня удивляет, как это мы год-то с ним выдержали вместе. Наверное, мне было тоскливо одной и я была согласна в душе на любую встречу, а он тоже, видимо, не мог постоянно находиться в состоянии вращения, замер на мгновение, и эта-то образовавшаяся пауза нас сблизила.

Моя мать видела его несколько раз и тоже уверена, что ничего путного у нас с ним не получится. И даже — был момент — сердилась и ссорилась со мной, зачем я с ним продолжаю встречаться. Когда я возвращаюсь поздно и она знает, что я была с Дмитрием, то при мне она демонстративно отменяет капли и пьет их. Молчит. Ничего не говорит. Но запах капель действует на меня сильнее, чем любые слова.

— Мама, ну зачем ты так?

— А ты зачем? — И в глазах укор. И в голосе дрожь. — У всех нормальные семьи. А ты о чем думаешь?

— Ну не получается у меня, ты же видишь. Я бы и рада, да что-то не выходит. . .

— Значит, надо прекратить эти безнравственные встречи! Ради меня! — просит мать.

— Хорошо! И остаться одной?!

— Да, лучше остаться одной!

— Ты, оказывается, мама, очень жестока!

— Я?! Я жестока? Да я тебя пальцем в жизни не тронула!

— Да я не об этом.

— А о чем?

— Ну, тебе как-то легко говорить о моем одиночестве. Ты

даже не переживаешь. Быть одинокой, лишь бы быть порядочной. По-твоему — так?

— А ты как думала? Я имею право так говорить и этого требовать! Я сама с двадцати трех лет, как погиб твой отец, живу одна. Ты это прекрасно знаешь!

— Но ты была как раз не одна. Ты была со мной!

— Ну и что! А что это меняет?

— Как что?

Тут вдруг до меня доходит истинный смысл встреч с Дмитрием. Господи, ведь все оказывается так просто! Мне давно хочется иметь ребенка. Ведь, действительно, был бы у меня ребенок — это такое счастье! Ничего мне не надо больше! Или и на это я не имею права? У меня такое чувство, как будто я забралась высоко-высоко и сейчас должна прыгнуть: и страшно, и надежда есть, что все будет хорошо. Сердце замирает, я закрываю глаза и все-таки признаюсь:

— Мама, мне хочется иметь ребенка!

— Ребенка?! — в ужасе вскрикивает мать. — Прекрасно! Я тут же повешусь! Пожалуйста, рожай ребенка! — А потом начинаются причитания и упреки. — Для этого ли я ради тебя от всего отказалась, всю себя тебе отдала, чтобы в старости ты меня обесславил, чтобы нельзя мне было показаться на глаза родным и знакомым? Нет уж, и не думай, и не мечтай! — уже зло кричит она мне.

И в этот момент я вижу перед собой вместо матери чужую мне женщину. И снова я плачу. И плачет моя мать. . .

Надоели мне мои натюрморты. И совсем недавно неожиданно для себя и для всех я написала свой портрет. Изобразила себя в рост: в одной руке — палитра, в другой — кисти. Я внимательно и пытливо смотрю на зрителя, будто жду от него ответа на какие-то важные для меня вопросы. А вдруг мне кто-то ответит? Лицо мое без прикрас — какое есть. Карие глаза, волосы до плеч, губы плотно сжаты. В лице сосредоточенность, серьезность, суровость — в общем, все то, что бывает, когда смотришь на себя в зеркало и к себе беспощаден.

Обрадовалась я, когда автопортрет мой взяли в Манеж, в Москву, на Всесоюзную выставку. Бросила все и одна уехала на открытие выставки. Залы Манежа — как громадные соты: можно заблудиться. Нашла свой автопортрет. Ждала встречи с ним и все-таки, когда увидела, даже вздрогнула от неожиданности. Народ ходит, смотрит. Смотрят и на

мой автопортрет. А я боюсь близко подойти. Страшно. Мы как будто в каком-то странном поединке — мой автопортрет и я. Я как будто раздвоилась: я там и я здесь. И где главнее? Где важнее? Мы смотрим внимательно друг на друга. С автопортрета я спрашиваю самое себя: как же мне жить дальше? Искусство — это, конечно, хорошо. Искусство — оно никогда не изменит. Но все-таки есть еще другое счастье. Или для меня оно не существует?

Глядит на меня мой автопортрет, спрашивает меня. А мне ответить нечего.

Павел Першин

НА БАМЕ

Подтверждением прошедшего
через пургу
рельсы, точно прожекторы,
режут тайгу.
Сквозь метели, потемки,
Завьюженный быт
тот мой тезка в буденовке
в душу глядит:
«Дерзновенно и страстно
светом —

 в ночи
выстрой звонкую трассу,
город взмечи!»
Будут трудными годы:
одолейте — судьбой!
Начинается город,
продолжается бой!
И, свистя во Вселенной.
наши трассы легли
пулеметными лентами
на бушлате
 Земли!

Сдал-принял груз, и хлопнул дверцей МАЗа,
И стекла сумрачные медленно протер.
И вновь до ночи
 — лет километража,
рук на руле стальное волшебство,
за рейсом рейс —
 на грани пилотажа
работа ежедневная его.

Юрий Шестаков

ВЕСНА

Весна на воде и суше.
На улицах — суета.
Плавает в грязных лужах
небесная чистота.

А мы все бежим куда-то
по самой прямой дороге
возвышенно и крылато,
не глядя себе под ноги. . .

* * *

Часто снится лето:
под ребячий визг
прыгаю я в речку
головую вниз.

И смеется громко, .
брызгая водой,
стройная девчонка
с черною косой.

Ей подружки машут
с берега рукой,
и загаром плечи
обнимает зной.

И, во сне забывшись,
силюсь я сказать:
«Приходи на речку
вечером опять. . .»

Все боюсь проснуться
и пойти туда,
где давно замерзла
чистая вода.

* * *

Озвучено полднем июльским пространство.
И меловые овраги и горы
вторят ему световым резонансом,
больно слепя оглушенные взоры.
Скользко и знойно. Спускаюсь по склону.
Падаю, волосы трав вырывая. . .
Хохот камней, эхом продленный,
оврага глубины перемеряет.
Встаю. И качается небо размеренно.
Слезы — как капли сгущенного крика.
Кровь на руках, измазанных зеленью,
пахнет запекшейся земляникой.
Как странно! Впервые потеряна власть
над телом. Не мею. А цель уж близка. . .

Я вброд перешел эту степь, чтобы пасть
на островок родника.

Николай Байбаков

* * *

О весне подумалось невпопад.
На Петровском острове листопад.
Дуб в аллеях желуди растерял.
На приколе маются катера.

Почему подумалось о весне?
Скоро, скоро выпадет первый снег,
Все прикроет пологом, занесет.
Катера блокирует крепкий лед.

И зима затянется допоздна.
Только не изменится та сосна.
Зеленеть, кудрявиться ей, сосне.
Почему же вспомнилось о весне?

* * *

Костры ночные, сколько раз
Случалось в гиблое ненастье
Мне неожиданное счастье
Во мраке вдруг заметить вас.

Чуть-шире раздается круг,
Тьма за спиной бесследно тонет,
И крепко жмет мои ладони
Костер теплом незримых рук.

Под ветром вспыхивая ясно,
Всю ночь без устали горит,
Он словно хочет подарить
Весь жар свой прежде, чем погаснуть.

Бьет в окна гаубицей гром,
И непогода воеет нудно.
В ту ночь кому-то было трудно.
И мне хотелось быть костром.

Николай Шумаков

НЕПРОШЕННЫЕ ЗАБОТЫ

ПОВЕСТЬ

I

Алексей Сорокин поднялся чуть свет. И жена тотчас же проснулась, обеспокоенно спросила:

— Что так рано?

Алексей неохотно ответил:

— Да так, не спится. Ты лежи, лежи.

Но она уже одевалась — по привычке всегда вставала раньше, готовила завтрак, отправляла его и занималась хозяйством. Ей на работу значительно позже.

По полу тянуло холодом. Домишко ветхий, комната небольшая: вечером посильней натопишь — задыхаешься, но к утру все равно выстывает. Надоело житье без водопровода, канализации, центрального отопления. А когда-то счастливы были, что им дали эту комнату. Под старость, что ли, тянет к удобствам?

Алексей затопил печь, умылся. А Полина тем временем успела разогреть завтрак.

— Опять нога болит?

— Есть маленько, — признался Сорокин.

— Может, не пойдешь на работу?

Он досадливо махнул рукой.

— Нашла о чем говорить!

Но приятно было, что Полина по каким-то ей только известным признакам заметила недомогание. Всегда-то она догадывается о его состоянии, недаром больше двадцати лет прожили душа в душу, скоро можно серебряную свадьбу отмечать. И сейчас она миловидна, а раньше — ох девка была! Много ухажеров вилося вокруг нее, а чем-то приглянулся тихий, спокойный Алексей. Наверное, не пожалела о своем выборе. О нем-то и говорить нечего — лучшей жены не найдешь.

Алексей не спеша завтракал. Полина сидела в сторонке. Так уж повелось — сперва мужа накормит, потом о себе подумает. Не любила, чтобы он вставал за чем-нибудь, все сама подавала, без слов угадывая его намерения.

— А я, Леша, насчет мебели договорилась, — сказала она, оглядев стол и убедившись, что все в порядке. — Обещали достать финский гарнитур. Теперь-то уж точно дадут квартиру?

— Теперь точно, как в аптеке. Месяца через три переселимся. Позовем бригаду на новоселье, а?

— Ладно, приглашай. Не верится все-таки, что дадут такому мямле. . .

Алексей только хмыкнул и самодовольно улыбнулся — дескать, не такой уж он рохля, может и настоять, когда надо, потребовать положенное и по закону, и по совести.

Вдоль поселка застучала первая электричка. Алексей сказал:

— Выйду-ка я сегодня пораньше.

— Верно, подыши свежим воздухом.

Знала Полина, что сегодня он раза в полтора медленней поковыляет, но не стала лишней раз напоминать о болезни.

Одевшись, Сорокин тихонько прикоснулся к ее плечу.

— Ну, бывай. Приеду, как всегда.

Показных нежностей за ними не водилось и в молодости.

Приволакивая ногу, Алексей спустился с крыльца, по оледеневшей тропке дошел до калитки. Влажный туман окутал поселок, улица присыпана мокрым снежком, запятнанным редкими следами. Черно блестя стволы тополей и яблонь. «Так и знал, что будет оттепель», — подумал Алексей. Его нога чувствительней любого барометра.

Идти по скользкой дороге трудно, при каждом шаге боль остро отдается в бедре. «Хорошо бы отдохнуть денек», — мечтал Сорокин.

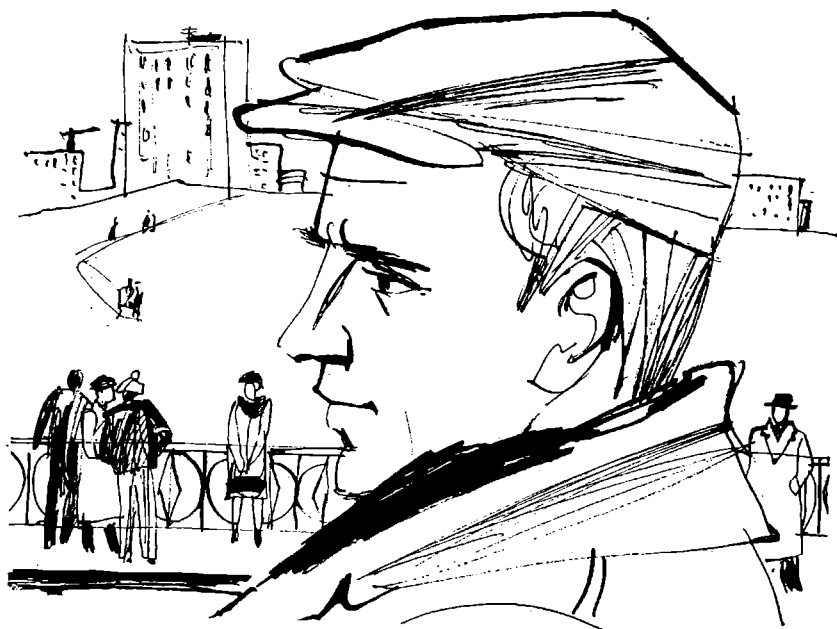
До станции Алексей добрел в одиночестве, лишь незнакомый парень обогнал. И на станции пусто — рановато еще, а

через полчаса двинут жители поселка на свои заводы, не протолкнуться будет на платформе.

За полем, совсем рядом, мутно светились окнами городские коробки. Где-то среди них без огней стоит дом, в котором они будут жить с Полиной. Хорошо без лишних хозяйственных хлопот: ни о дровах не беспокойся, ни о воде, ни о газе. И все-таки жаль будет расставаться с поселком — здесь и тишина, и деревья, и чистый воздух. Над городскими домами, бывает, темная дымка висит, а здесь дышится легко, как в настоящей деревне.

Свет прожектора дрожащим расширяющимся конусом выхватил из сумрака клубящийся туман. Электричка зашипела тормозами, остановилась. Алексей вошел в полупустой вагон, и сразу поезд тронулся. Алексей привалился к спинке сиденья, закрыл глаза.

Боль в ноге донимает почти всю жизнь, притерпелся к ней, но полностью не забудешь. Лечился, в санатории ездил, но глубоко въелось наследие блокады... Как и почему он оказался на улице, не вспомнить. Кругом черные развалины, сугробы, брошенные трамваи, занесенные по крыши снегом. Может, и не так было, может, отложились впечатления от кинофильмов и книг. Точно помнится, что не было сил ни подняться, ни закричать. Да и кто подойдет? Люди обессилены до крайности. Навсегда врезался в память страх, когда не мог разбудить мать. Наверное, тогда он выбрался на улицу и упал неподалеку от своего дома. Навечно остался бы там, если б не подобрали добрые люди. Никогда не удавалось вообразить их внешность, знал только, что пожилые были, муж и жена. Возможно, и не старые, а изможденные. В чувство привели, выходили, хлебом поделились. Кто знает, чего им это стоило? Может быть, несколько дней жизни он у них отнял. Они же стали для него, в сущности, вторыми родителями. Потом детприемник, эвакуация. Сразу после войны Алексей и не пытался их разыскать, потому что был глуп, а когда осознал, кто они для него, никаких следов не нашлось. Вряд ли живы остались. Мечтал иногда Сорокин: вот встретиться бы с ними! Может, и отблагодарить чем-нибудь смог бы, помочь. Думается, довольны они были бы, что вырос Алексей трудягой, что семья у него прочная, что не совершил он поступка, за который нужно краснеть. Похвалиться особо нечем, но и стыдиться не приходится.



Покачивался вагон, постукивали колеса, входили пассажиры — все это Алексей слышал как сквозь вату в ушах. Не хотелось шевелиться, думать о том, что весь день проведешь на ногах. И только на вокзале, шагая к автобусной остановке, обрел привычное буднично-рабочее настроение. Начал прикидывать, что в первую очередь делать, как людей распределить.

Огромный шестипролетный цех был тих, лишь вентиляторы шумели да ворковали на толстых трубах паропровода голуби. Из-за деревянных ящиков, в которых отправляются части турбин, выскочили котята, за ними, настороженно оглядываясь, шла тощая кошка. «Ишь ты! Тигры бродят», — весело подумал Алексей. В спецовке он чувствовал себя как-то бодрее, собраннее.

По металлической лестнице он поднялся на испытательный стенд, протянувшийся вдоль пролета метров на двести. В первом «гнезде» стояла собранная турбина, на триста тысяч киловатт, «трехсотка». Здоровенная махина. А чуть по-

дальше отойдешь, теряется величина, как бы подавляется огромностью цеха. И эта, и другие машины, прежде чем поступить на сборку, прошли через руки Алексея и его бригады.

Алексей спустился на свою площадку. Со стенда свисают гнутые-перегнутые латунные трубки — по ним вода гонится. На краю составлены один на другой чугунные кубари — на них ставятся нижние части цилиндров. Ровная стальная плита с пазами для стока воды густо тронута свежей ржавчиной — позавчера из «сотки» сливали воду. А посреди пролета лежат новые цилиндры. Нужно собрать их, закачать воду, обнаружить изъяны, заварить их — и можно разбирать машину, отправлять сборщикам. Простое на первый взгляд дело, но сноровки, сообразительности и немалых усилий еще как требует! Нет, гидравлики, еще в давние времена прозванные «водолазами», не последние люди на заводе!

Алексей прошелся по площадке, подобрал брошенные клочки ветоши, отнес в урну. Осмотрел цилиндры и направился к своему верстаку. Теперь до перерыва не присядешь, да и нельзя давать воли слабости, болезнь — она любит, когда с ней нянчишься.

Пять минут восьмого. Скоро потянутся к родному месту «водолазы». Для Сорокина начинался двадцать третий день бригадирства.

II

В перерыв почти вся бригада собралась в бытовке — будке из листового железа. В столовую никто не пошел, поэтому не всем хватило места на скамейках и стульях, некоторые присели на корточки. Четверо стучат в домино, двое ждут своей очереди.

Алексей сидел на скамье, без особого интереса следил за игрой. Как-то неловко он себя чувствовал без дела. Не привык еще к новому положению, казалось: что-то он должен делать или как-то «воспитывать», а не торчать пнем. Вспомнил, что поручили ему собрать деньги с бригады на подарок Клавдии Михайловне, профгруппоргу участка. Восьмое марта скоро.

Обрадовавшись занятию, громко сказал:

— Давай-ка, братцы, раскошелиться.

И объяснил зачем. Однобригадники полезли в карманы, зазвенело серебро в берете, положенном на край стола.

— Подарок надо посерьезней выбрать, — сказал Сорокин. — Все-таки единственная женщина на участке.

Клавдию Михайловну он уважал, как, наверное, и все на участке. Была она спокойной, рассудительной, готовой помочь. Ребята не раз обращались к ней в случае семейных передряг — умела она помирить, сказать нужные и отнюдь не всегда ласковые слова.

Володя Королев, высокий черноволосый парень, отложил в сторону журнал и заявил:

— А я не хочу давать!

— Тебе что, двадцать копеек жалко? — удивился Алексей.

Королев аж лицом потемнел, уставился, прищурив глаза, на бригадира и запальчиво выкрикнул:

— Да! Жалко! Мне нужно было отгул взять, начальник отказал, она не помогла. А это же мое законное право! Сколько я выходных отработал! Зря ее выбрали, гнать надо таких!

Сорокин вскипел:

— Ты эгоист! Думаешь только о себе, на других тебе наплевать! Ты почему из-за пустяка на хорошего человека водишь напраслину?

— Да! Я забочусь о себе, потому что никто больше не позаботится! А ты перед начальством выслуживаешься!

Алексей только руками развел: это Клавдия-то начальство? Да ведь комплектовщица — самая низкооплачиваемая должность в цехе. Какая муха укусила Королева, из-за ерунды завелся! Вроде ведь добродушный, веселый парень. И дома, кажется, у него все в порядке, с женой мирно живут, дети подрастают. Когда Володя поступил на завод, с полгода примерно назад, нескольких человек, в том числе и Сорокина, приглашал к себе в гости. Жена встретила приветливо, чего не бывает, если супруги грызутся.

— Зря ты, Вовка, — укоризненно сказал Толя Катков. — Чем она тебе могла помочь? У нее и власти такой нет. Надо было идти к начальнику цеха с заявлением.

Володя буркнул:

— Захотела б — смогла бы!

Никто, кроме Каткова, и слова не сказал по поводу выходки Королева, и это равнодушие огорчило Алексея. Он неловко выгреб деньги из берета, завернул в газету.

— Пойду отнесу, — сказал, ни к кому не обращаясь.

— Давай, Леша, старайся, — отозвался Борис Никитин.

В этих словах почудился какой-то намек. Неужели Борька

считает, что он выслуживается перед начальством? Борька, с которым они лет семь работают и которого он же и привел в цех! Вряд ли, ерунда в голову лезет. А все-таки ну его к богу в рай, бригадирство. Простым слесарем куда спокойней было, отработал свое — и никаких забот. А теперь надо с каждым членом бригады считаться, о каждом думать, ломать голову, как с тем или другим обращаться. Не хотел он брать на себя обузу, но уговорили: дескать, нет другого человека с таким опытом и авторитетом, если не согласится — хоть распускай бригаду или приглашай человека со стороны. Напрасно. Сорокин ссылаясь на мягкий характер, на болезнь. И свои ребята просили: соглашайся, зачем нам чужой человек? Неделю Алексей упрямился, но Василий Иванович, прежний бригадир, наповал сразил: сказал, что не уйдет на пенсию, пока Сорокин его не заменит. А здоровья, мол, уже нет, и так пять лет отбухал после срока. И на совесть напирал, и на чувство товарищества. С большой неохотой Алексей принял бригаду. «Не получится из меня, наверное, хорошего бригадира, — уныло думал Сорокин, шагая в конторку участка. — Все-таки характер неподходящий... Никогда активистом не был, работал, да и все. Эх, теперь поздно каяться, хочешь не хочешь — тяни».

Он ссыпал деньги в ящик стола и вернулся в бытовку — с бригадой как-то спокойней себя чувствуешь. Снова сидел на скамье — его место не заняли, — изредка поглядывал на Королева, который с силой бил костяшками по столу, посмеивался при удаче, досадливо вскрикивал, когда партнер не понимал тонкого замысла. «Уже и забыл, что здесь наговорил! — подумал Сорокин. — А я все перемалываю дурацкие слова!»

Напротив сидел Борис Никитин, то и дело поглядывая на часы — хватит ли времени, чтобы сыграть партию? Севшая от стирки спецовка мала ему — рукава чуть не до локтей, плечи в обтяжку. Как детская одежка на переростке. А вообще-то он парень представительный — высокий, плечистый. Бакенбарды недавно отпустил — совсем жених. Но отжениховал свое — дома двое маленьких детей. Какой-то смурной в последнее время Борька. Жалко смотреть, как он, словно стремясь что-то забыть, ждет возможности «забить козла». Как будто нет большей радости, чем колотить костяшками.

— Слушай, Боря, — мягко обратился Алексей к Никитину. — В заводском клубе создается эстрадный оркестр. Ты же на кларнете играешь. Записался бы.

— Уже года два дудку в руки не брал. Снова надо учиться.

Ребята навалились с шуточками, предложениями: в артисты, мол, выбивайся, по телевизору будешь выступать, забудешь про гаечный ключ. Борис сумрачно ответил:

— Скоро будет занятие поважней — на огороде пахать.

— Это же для своего брюха! — возмутился Сорокин. — Многие огородом занимаются. Я тоже. Но это же не значит, что нужно зарываться в землю и больше ничего не видеть.

Никитин обиделся.

— А дудка, значит, для души?

— Ну, все-таки и себе интересное занятие, и другим удовольствие.

Вмешался Володя Королев, насмешливо начал толковать, что не в дудке счастье, а в том, чтобы выспаться и поесть.

— Поступай сторожем в столовую!

— Не берут — говорят, слишком здоровый, много съешь. — Володя засмеялся. — А если ты, Сорока, такой умный, объясни, что нужно для счастья?

Алексей смутился.

— Много чего нужно... Чтобы в семье, на работе был порядок... Плохого ничего не делать, людей уважать... Ну что вы ко мне пристали! Не умею говорить. — Он подумал. — Ну, чтобы вообще жить интересно было.

— Жить интересно... — задумчиво протянул Никитин. — Какой уж тут интерес! И в твоей жизни, Леша, ничего особо интересного не вижу. Вот если б в люди вышел... Сколько раз тебе говорили: занимайся пением, раз есть способности. Стоял бы сейчас на эстраде, в костюмчике, рот чемоданом. И каждый бы день монету подхалтуривал.

Сорокин недовольно сказал:

— Зачем это мне? Какой там из меня певец! У меня другая специальность.

— Специальность, — неопределенно протянул Борис. — Что это за специальность — кувалдой махать, грязь счищать да гайки закручивать!

— Не хуже, чем у других, специальность! — горячо сказал Алексей. — Чего тебе не хватает? Зарабатываешь прилично, сыт, одет-обут. Хочешь в театр, в музей — иди. Живи да радуйся!

Неожиданно Никитин развеселился.

— Я и так радуюсь — каждый день с женой война идет!

Оно, конечно, надоело вчетвером на двенадцати метрах ютиться. Грызет и грызет Машка: добивайся квартиры! А как ее добьешься? И вообще, портятся бабы от семейной жизни. Штамп в паспорте поставили, так думают, все права имеют на нас. Моя грозилась кларнет на помойку выбросить, если буду играть.

— Не в кларнете, наверное, дело, — задумчиво сказал Сорокин. — Маша ведь у тебя хорошая женщина. Что-то здесь не так. . . Хочешь, поговорю с ней?

— Да что уж там разговаривать! Свое я давно упустил. Играл же в армии на кларнете, с ансамблем ездил. На гражданке настырности не хватило. Мне бы подучиться немного. А, ладно, сам виноват!

Алексей хотел пройтись насчет стремления к легкой жизни, но взглянул на часы и сказал:

— Все, братцы, пора.

— Дай пять минут партию доиграть! — взмолился Королев.

— Нет, надо работать! — с непривычной строгостью произнес Алексей.

Медленно, вразвалку выходили на площадку. Алексею так и хотелось кого-нибудь подтолкнуть.

III

Обычно «водолазы» минут за пять-десять до конца смены незаметно исчезают, чтобы захватить место в душевой. Не нравилось это Сорокину, но и не возмущало: работа такая, что эти минуты никакого значения не имеют, да и нужно как следует отмыться. А чуть замешкался — пережидай очередь. Сам-то Алексей уходил после всех, когда в раздевалке становилось свободно.

А сегодня бригада удивила Алексея: смена закончилась, а никто не отходит от верстаков, словно чего-то ожидая.

— Что надо? — неловко пошутил Сорокин. — По домам пора.

— А ты не гони, — вроде бы с обидой сказал Королев. — Не бойся, в вечернюю смену не останемся.

Борис Никитин посетовал:

— Недружный у нас все-таки народ! Сборщики вон вместе и за город ездят, и в театр ходят. А мы даже в каком-нибудь «Огоньке» или «Ландыше» не можем собраться. Хоть бы ты, Леша, организовал.

— Что я вам, нянька? — добродушно проворчал Сорокин. — Вот на новоселье приглашаю всю бригаду. Месяца через два.

Володя Королев, кажется, искренне обрадовался.

— Вот это дело! Да я целый месяц есть не буду, чтобы у тебя как следует заправиться!

Неспешной походкой подошел Толя Катков. Пожал всем руки. Вид у него был такой доброжелательный, словно произнесет сейчас: «Добрый вечер, малыши», — и начнет рассказывать сказку.

— Почему в утро не вышел? — спросил Сорокин.

Широко улыбаясь, собрав гармошкой морщины на лбу, Катков виновато ответил:

— Понимаешь, Леша, сынишка приболел, животом маялся. Всю ночь с женой не спали. Под утро я задремал, проснулся — половина седьмого. Не успеть. Ну и решил в вечер выйти.

Мучительно неприятно было Алексею читать мораль, но никуда не денешься. Морщась, сказал:

— Так не годится. Захотел — вышел на работу, захотел — дома остался. Никакой ответственности! Нет, братцы, так дальше нельзя!

Катков слушал потупившись.

— Вон Уланов идет! — воскликнул Никитин. — Посмотрим, как он будет с тебя стружку снимать!

Начальник участка поздоровался. Поблескивая очками, с наигранной веселостью оглядел бригаду.

— Смена давно кончилась, а вы митингуете! Когда начнете «давить» цилиндр?

— Ночная смена должна к утру закончить, — спокойно ответил Сорокин. — Не дергайся, Евгений Петрович. Все будет в ажуре.

— Не подведите, ребята, иначе сборщики останутся без работы. — Тут он заметил Каткова. — Почему ты вышел во вторую смену?

Анатолій объяснил.

— Прогул бы тебе надо поставить... — раздумчиво произнес Уланов. — Да из-за одного человека весь участок пострадает: на первое место за квартал нечего будет и претендовать. Вот что, выходи-ка ты в ночь!

Володя Королев предложил:

— Пусть после вечерней смены останется в ночь. Что же ему — снова переодеваться и домой ехать?

— Да пусть едет домой, вечером есть кому работать.

Катков растерянно посмотрел на Сорокина. Ничего не дождавшись, повернулся и медленно побрел с площадки.

— Хватит, «водолазы», митинговать, пусть вечерняя смена работает, — сказал Уланов и живо поднялся по железной лестнице на стэнд. Он или чересчур замедленной походкой вышагивал, или носился как заведенный.

Проводив его взглядом, Володя напустился на Алексея:

— Что же ты, Сорока, за Тольку не заступился? Ты же хозяин в бригаде! Уланов издевается над парнем, а ты молчишь!

— Никто ни над кем не издевался! — с досадой сказал Сорокин. — Тольку наказали — и правильно! Он сам виноват. Хорошо еще, что Уланов прогул не поставил.

Ким Коваленков повертел головой, будто ворот давил ему шею, и отрывисто захохотал, как закашлял.

— Больно нежные стали, привыкли, чтобы по головкам гладили! Скоро будете благодарность требовать за прогулы!

У Кима не поймешь, когда шутит, когда серьезно говорит. Он почти никогда не спорил, принимал все, как должное. И вроде всем доволен. Много денег получит — хорошо, мало — тоже неплохо: не надо думать, как истратить. Пошлешь грязь вычищать из «карманов» цилиндра — идет как на приятную прогулку. А сидеть в этих «карманах» нужно согнувшись в три погибели. . . То ли всякое занятие ему по сердцу, то ли ко всему глубоко равнодушен. Но работать с ним легко и удобно. А народ действительно избаловался, не знает, в каких условиях раньше работали. Взять хотя бы такой пустяк — никто рукавиц не снимает. А помнится, когда цех только начал выпускать турбины, все голыми руками работали. И не потому, что нечего было надеть, — кожей-то лучше чувствуешь металл. До сих пор Алексей не может в рукавицах гайку отвернуть. . . И шкафчик в раздевалке был один на двоих, и душевой не было — да разве сравнишь нынешнее время с прежним! Вот Уланов по справедливости наказал, а уже недовольство. Попробовал бы Толька лет двадцать назад опоздать. . .

Пока Сорокин писал задание второй смене, ребята исчезли. Застал их в раздевалке уже переодетыми. Володя Королев витийствовал возле шкафа:

— Каждый к себе гребет, каждый хочет повыше забрать-ся! Возьмите того же Уланова. Не спорю, может, он толковый инженер, а к людям его нельзя подпускать!

И пошел, и пошел — и карьерист Уланов, и черствый человек... Не любил Алексей, когда ближнему за углом перемывают косточки, особенно если несправедливо. У всех есть недостатки, и Уланов не исключение. Может быть, он честолюбивый, но не ловчил, никого не подсиживал: прежнего начальника повысили — Уланов, естественно, занял его место, потому что был старшим мастером. А должность-то не сладкая, нервы изрядно попортишь, в конце месяца или квартала вряд ли будешь спать спокойно. Участок основной на заводе, выпускающий, с Уланова спрос и за чужие грехи. Когда еще был старшим мастером, в цехе судачили: долго Женька не продержится, уйдет в НИИ на спокойную работу. Вроде бы предлагали ему что-то. Не ушел, обрек себя добровольно на вечное беспокойство. Суховат и грубоват — от молодости заскоки. В цехе быстро пооботрется...

— Володя, ты как черные очки надел! — попытался Алексей устыдить Королева. — Все у тебя нехорошие... С женой, что ли, поругался, раз на всех злишься?

— Ты меня не сбивай! — горячился Володя. — Я, может, справедливость люблю, за правду стою! — он тряхнул мокрыми длинными волосами и засмеялся, сообразив, что слишком загнул. Обычным голосом сказал: — И у тебя, Леша, руки больше к себе загнуты, чем от себя. Не хочешь с начальством портить отношения. Сегодня Только не поддержал, завтра... Ладно, посмотрим.

Сорокин в сердцах сказал:

— А, тебя не переспоришь! Заладил свое, как глухарь! Пойду-ка лучше мыться.

— Смотри, Сорока, новоселье не зажми! — крикнул вслед Королев.

— Не бойся, соберемся все вместе, потолкуем.

Должно быть, крепко не поладил Королев с кем-то на прежнем заводе, где работал, как говорит, бригадиром термистов. Иначе не перешел бы сюда, да еще начинать со второго разряда. Потому, наверное, и озлобленный такой. И чего вообще злятся люди? Как будто нельзя по-хорошему, по-мирному разобраться...

С Катковым и разбираться, в сущности, нечего. Провинился — получай наказание. И наказание-то пустяковое — выйти

в ночную смену! А разговоров!.. Сам-то Сорокин ни разу ни на минуту не опоздал.

«Может быть, я что-то неправильно делаю, раз недоволен Королев? — подумал Алексей, яростно оттирая руки опилками. — Да вроде я ничего такого не сделал... Выгоды никакой мне не надо...»

IV

— Что-то, Борька, ты какой-то веселый стал! — шутливо сказал Алексей, когда они с Никитиным возвращались из столовой. — Помирился с Машей?

Борис усмехнулся.

— Разошлись, как в море корабли! Я теперь, можно сказать, холостой. Два дня назад ушел из дому, к матери на Петроградскую переселился. Красота! Вольный человек. Когда захотел — ушел, пришел. Я уже с девушкой познакомился. Увидел на улице — очень приглянулась. Шел-шел за ней, а как пристать? Говорю: девушка, вы мне понравились, а знакомиться не умею. Подскажите, мол. Засмеялась, ну и вместе пошли.

— А как же семья? — осторожно осведомился Сорокин. Борис посерьезнел, горячо заговорил:

— Надоела мне такая жизнь, ни покоя, ни отдыха! Пришел усталый, голодный. Обед не готов. Ладно, попил чаю, лег на кровать. Пацаны по мне ползают, мешают. Прошу: «Возьми, Машка, их от меня, дай спокойно полежать». Она завелась: «Куда я их дену, на потолок, что ли, посажу? Развалился, как барин. Нет чтобы помочь! Восемь часов в цехе прошатался и на боковую!» И понесла: по субботам, дескать, на завод убегаешь, а может, еще куда. И денег мало приносишь, и квартиру не можешь выбить... Ну, я тоже высказал, что думал и чего не думал. Ноги моей больше здесь не будет, говорю. И — к матушке с чемоданчиком.

— О детях-то подумал?

— А как же? Думал. Будет Машка получать тридцать процентов, с пацанами буду встречаться. Я ведь, Леша, жить хочу. Надоела ругань. Если бы условия как у людей... В общем, решил пока на воле пожить.

— Все тебе на блюдечке подай... — задумчиво сказал Сорокин. — Чуть что — сразу бежать. Раньше надо было думать.

— Все правильно, Леша, все я и сам знаю. А не получает-ся. Я Машке зла не желаю.

Какое-то время шли молча. Первым не выдержал неловкого молчания Борис.

— Цилиндры-то скоро начнут подавать? Совсем же нам делать нечего.

— По кувалде соскучился? — пошутил Сорокин.

— Отпустили бы по домам, если делать нечего.

— Дело найдется, — сказал Алексей. — Придумаем что-нибудь.

Работа на гидравлике иссякла. Одну турбину после испытаний вычистили, покрасили, погрузили на платформу. Вторую сборщики готовили к испытаниям. А пока в других цехах и на соседних участках готовили детали, гидравликам делать было нечего. Двое ходили по пролету с совками и метлами, собирали клочки бумаги, окурки и прочий мусор. Одного отдали в распоряжение завхоза. Остальным Алексей поручил разбирать, смазывать и вновь собирать домкраты. К вынужденной передышке бригада отнеслась спокойно — дело привычное. То, что надо будет сделать, сделают, работа мимо не пройдет. Немного ворчал Володя Королев, опять обвинял Уланова, который, дескать, не может организовать работу. Сорокин его одернул:

— Что ты, как старый дед! Ругаешься, лишь бы язык почесать. Другие же цеха виноваты, не справляются. В одном месте, в другом, а для нас оборачивается днями.

— Ладно, пусть так, — гнул свое Володя. — Так и у нас в бригаде бестолковщина. На днях два часа искали бородковый ключ. Вообще все разбросано. Скажешь, бригадир здесь не виноват?

Алексею давным-давно осточертел беспорядок на площадке и в бытовке. Сколько там скопилось ненужного железного хлама, протертых рукавиц, заржавленных гаек и прочего! Сорокин и дежурных выделял, и мораль читал — все оставалось по-прежнему. Вот у сборщиков каждая железка знает свое место, в бытовке картинки развешаны, никто не осмелится бумажку на пол бросить. Пора и у себя взяться, ведь стыдно, если заглянет посторонний человек. Если с таким пустяком не справляется, то какой же из тебя бригадир!

— Правильную критику наводишь, — одобрительно сказал он Королеву. — Вот ты сегодня весь день этим и занимай-

ся. Все лишнее выбрось, гвозди вбей для гаек и штуцеров. А что я тебя учу, сам сообразишь, как надо.

— Я тебе не уборщица! — запротестовал было Королев, но Алексей прервал его:

— Если одному скучно, выбирай помощника. И не считай, пожалуйста, что это в наказание или в обиду.

С высоты своего роста Володя преувеличенно внимательно осмотрел приземистого, полноватого Сорокина. Проговорил не то одобрительно, не то насмешливо:

— Зубки стали прорезаться? Ну-ну, учись, пригодится!

— С вами иначе нельзя, — шуточно сказал Алексей, с неприятным чувством ожидая какой-нибудь выходки.

Но Володя спокойно сказал:

— Обойдусь без помощников.

«А вроде у меня начинает получаться», — удивился Сорокин и отправился теревить начальника участка, хоть и понимал, что сейчас от Уланова ничего не зависит.

Как ни странно, застал его в конторке — обычно во время срывов мотается Уланов по всему цеху.

— Что будем делать, Женья? — спросил Сорокин, присаживаясь на стул.

Уланов бодро ответил:

— Как что? Работать!

— Ни одного цилиндра нет...

— Сообщил новость! — Уланов снял очки, протер носовым платком. — Ты же не первый год на участке, зачем тебе-то объяснять! Тридцать третий цех обещает подать цилиндры не раньше, чем через два дня. Им-то что, у них с планом порядок. Хоть в последний день месяца нам бросят — чистенькие, задание выполнили. А нам-то, Леша, как выкручиваться?

Сорокин сочувственно вздохнул. Не хотел бы он очутиться на месте Уланова. Не мешать бы сейчас человеку, но надо же бригадный интерес блюсти.

— Наряды-то как закрывать будем? Пустовато у нас в этом месяце... Получать нечего будет.

— Не бойсь, Леша, нормально закроем. План-то выполним! Поднажмем и выскочим. Не первый раз! Дай-то бог, чтоб последний... Ну ладно, некогда мне. Побегу с коллегами ругаться. А ты бригаду не распускай, нечего по головке гладить.

— А я что, распускаю? — обиделся Сорокин. — Работаем не хуже других!

— Ну, ну, смотри. Это я так, для профилактики. Будешь каждое слово к сердцу принимать — быстро в ящик сыграешь!

Несколько утешенный обещанием нормально закрыть ряды, Сорокин вышел из конторки. У стенда стоял Борька Никитин, опершись на метлу, и со смехом что-то рассказывал напарнику. «Эх, некому тебе хвоста накрутить! — с сожалением подумал Алексей. — Семья мучается без него, а он зубы скалит!»

V

Ближайшая электричка была переполнена, и Сорокин решил подождать следующую — не хотелось полчаса стоять в тесноте. Побрел по вокзалу, увертываясь от спешащих людей. Все бегут не оглядываясь, мощный поток захватывает одиночек с собой. А цель-то — всего-навсего попасть домой. Алексей перебежками пересек вокзальное пространство. Возле ларьков людское течение не ощущалось, спокойно стояла небольшая очередь. Продавали конфеты «Мишка на Севере».

Через несколько минут Сорокин с пакетом в руке шел на платформу. Как раз подогнули пустую электричку, и он устроился возле окна. Пакет мешал, с трудом Алексей запихал его в карман. Полина не очень-то любит сладкое, но все равно ей будет приятно.

Незаметно мысли перескочили на Борькиных детей — занести им конфет? Сказать, что от отца, мол. Не годится, фальшиво как-то. А Борька сам и не догадается что-нибудь передать. Экий шелапут! Маша, наверное, без дров сидит, а он с девицей по театрам расхаживает. «А я тоже хорош! — запоздало упрекнул себя. — Давно бы мог зайти, поинтересоваться, не нужно ли помочь. Вот сегодня как раз время подходящее...» И сразу вспомнил, что самому нужно на тележке ехать за километр по воду да дров натаскать. И нога не отпускает — находился за день. Но все-таки надо проведать Машу, хоть на десять минут заглянуть. «Доеду, там видно будет», — успокоил себя.

С платформы привычно направился по дороге в сторону своего дома, но, вспомнив о благом намерении, в нерешительности остановился. Ну зачем он пойдет к Борькиной жене? Мужа ей за шиворот не притащит, так стоит ли понапрасну беспокоить? «Да тебе просто лень, чего уж искать причины! Пойду, нельзя быть таким бесчувственным!»

Тропинкой минут через пять он добрался до длинного барака, вошел в коридор. Возле двери, обитой тряпками, помедлил и, собравшись с духом, постучал. Никто не ответил. Не ошибся ли дверью? Оглянулся, прикинул — вроде Никитиных. Вот и хорошо, что нет Маши, со спокойной совестью можно отправляться домой заниматься своими неотложными делами. Но все-таки еще раз постучал, посильней.

— Не закрыто же! — раздался сердитый, как ему показалось, голос.

Сорокин вошел, поздоровался, а потом уж заметил Машу, стоявшую у кухонного стола.

Давненько не бывал он у Никитиных и сейчас поразился тесноте. Кухни, собственно, не было. Большая печка как бы разделяла помещение надвое. Две кровати, между ними стол да шкаф в углу — вот и занято почти все пространство. На полу возились ребятишки — одному года три, другому лет шесть. Они с любопытством уставились на Сорокина, а он никак не мог вспомнить их имена.

— Раздевайся, садись, — сказала Маша. — Давненько не заглядывал. . .

— Да все, понимаешь, случая не было, — бормотал Алексей. — Рядом живем, а все как-то не собраться.

Он умолк, испытывая неловкость, будто соврал. Маша испытующе глядела на него — Алексей невольно заерзал на табурете, вроде в чем-то провинившись. Наконец она спросила, криво усмехнувшись:

— Ну, как там мой?

— Работает, — ответил Алексей, мучительно соображая, что еще сказать.

Повисло тягостное молчание. «Сильно Маша сдала, — думал Сорокин, стараясь не смотреть на нее, чтобы не заметила, что он о ней думает. А взгляд упорно останавливался то на застиранном платье, то на растрепанных волосах. — Растопстела Маша, двойной подбородок нажила. А ведь еще недавно была стройной женщиной. В последнее время, должно быть, совсем перестала следить за собой. Дети? Но могла бы устроиться на какую-нибудь нетрудную работу в здешнем совхозе, чтобы иметь возможность водить малышей в детский сад. . . Поставь ее рядом с Полиной, так неизвестно, кто старше выглядит. А разница-то лет в пятнадцать, не меньше. Ну, зачем я сюда пришел? Молчу как пень! А что скажу?»

К счастью, вспомнил о конфетах. Подошел к вешалке, еле выдрал кулек из кармана, сказал ребятишкам:

— Возьмите конфеты, вот вам принес.

Старший робко принял кулек в руку, тихонько отошел и засмеялся.

— Что надо сказать? — строго спросила Маша.

Малыш неохотно сказал:

— Спасибо...

— Совсем от рук отбились, никакого сладу нет, — пожаловалась Маша. — Борьку-то хоть немного боялись.

Алексей смущенно кашлянул.

— Может, тебе дров наколоть или воды привезти, так скажи.

— Думаешь, Борька много по хозяйству занимался? — с горечью спросила Маша. — Все сама, как проклятая. И двое пацанов на шею с утра до вечера. А ему лишь бы пожрать да книжку почитать.

— Да-а... — неопределенно произнес Сорокин.

— Гони-ка ты его в три шеи домой! — внезапно воскликнула Маша. — Хватит ему шататься!

— Так ведь не прикажешь, — виновато сказал Алексей. — Ни у кого таких прав нет. Сам одумается.

Машахватила ладонью по столу. Ребятишки вздрогнули.

— Сама поеду на завод! Всех на ноги подниму! Не обрадуется тогда Борька! Вот приедет сеструха, оставлю на нее пацанов — и к начальству.

«Неужели и Полина стала бы поднимать глупый шум?» — подумал Сорокин и начал уговаривать:

— Ни к чему на заводе бегать по кабинетам! Ничего же не добьешься. Никто его силком не приведет. Обсудят, посрамят... Так он тогда и вовсе на тебя разозлится.

— Ну и черт с ним! — надрывно выкрикнула Маша. — Все равно жизни никакой не было! Сидишь, как насадка, весь день дома. Одна дорога — в магазин да к плите. Забыла, когда в кино ходила. То печку топи, то дрова таскай. И когда это кончится!

— Он парень неплохой, — дипломатично завел Сорокин. — Спокойный, старательный. В бригаде его уважают. Ну, погорячился — опомнится... И о тебе только хорошее говорит... Не может он навсегда бросить семью.

— Да я его и на порог не пушу! — несколько сбавив тон,



сказала Маша. — Скажу — иди, откуда пришел, без тебя обойдемся. Думает, он один на свете!

— В каждой семье бывают разлады, — вел свое Алексей и приврал для убедительности: — У нас с Полиной тоже всякое случалось, а ничего, живем, не жалуемся.

— Нет, никогда ему не прощу, — неуверенно произнесла Маша. — Моду какую взял — от семьи убежать!

Сорокин чувствовал, что Маша непреклонность поколебалась, и решил окончательно склонить ее к примирению.

— Работа тяжелая, а условия у вас не очень-то подходящие, чтобы отдохнуть. Может, поэтому ему шлея под хвост попала?

— Это верно, — вздохнула Маша. — Может, и не так уж он виноват... Если бы могла, я бы тоже из такого дворца сбежала.

«Дело же не только в этом, — мог бы возразить Сорокин. — Конечно, жить в таких условиях тяжело, но можно. Уважать друг друга надо... У нас еще хуже было жилье, когда Витька родился. С потолка на кровать капало... Но ничего, не ссорились». Но стыдно вдаваться в пустые нравоуче-

ния. Сейчас и требования к жизненным условиям другие, и люди мечтают, ищут неизвестно чего. Здоровые, сытые, обычной простой жизни им мало. Вообще, может, и хорошо это, но то, что Борька ударился в бега от семьи, явно плохо...

— Ты бы позвонила ему, — предложил Алексей. — Как знать, не ждет ли он звонка, чтобы покаяться?

Маша с подозрением посмотрела на Сорокина.

— А тебя не Борька подослал?

— Нет, что ты! Я сам. Хотел узнать, не могу ли чем помочь.

— Я кланяться Борьке не буду! — уверенно заявила Маша.

— Да я же совсем о другом! Ничего не вижу плохого, если позвонишь.

Маша примирительно сказала:

— Там видно будет. — И ожесточенно прибавила: — А все-таки он скотина! Хоть бы денег прислал, скоро пацанов нечем будет кормить.

Алексей промолчал. Выждав немного, поднялся. Маша его не удерживала.

— Так ты обращайся, если что понадобится, — напомнил на прощание Сорокин.

Было еще светло. В стороне белели пятна нерастаившего снега, а дорога раскисла, покрылась жидкой снежной кашцей. Сырой воздух отдавал горьковатым запахом. Весна скоро, деревья начнут распускаться. С первой зеленью Сорокин переедет на городскую квартиру — и в поселке будет появляться гостем. «Обязательно к Борьке стану заходить, устроим пир на берегу реки», — мечтал Алексей, уверенный, что Никитин рано или поздно вернется домой. Не такой он подлец, чтобы ради собственного спокойствия бросить двоих детей.

«А все-таки хорошо, что я Машу навестил, — довольный собой, подумал Сорокин. — Ей-то, наверное, и поговорить не с кем. Зря она целиком погрязла в домашнем хозяйстве, вот Борьке с ней и неинтересно...»

Помочь бы им надо с жильем, но как? Положение самое невыгодное — ни в селе, ни в городе живут. Совхоз с какой стати даст чужим людям квартиру? А в общегородскую очередь не берут: прописка областная. Или свой дом покупай, или жди заводской площади. Алексей вот дождался, а когда Борькин черед настанет?

«Нет, лично я насчет квартиры ничем не могу помочь, — с сожалением заключил Сорокин. — В завком сходить? Могу.

Но кто я, чтобы меня послушались? Борис-то наверняка уже там был. . . Ничего от меня не зависит, и в голову брать нечего. А вот Борьку пропесочить надо бы».

VI

В конторке начальника участка места для всей бригады не хватило, несколько человек стояли в дверях.

— Все собрались? — тихим, усталым голосом спросил Уланов.

Сорокин оглядел своих подопечных.

— Вроде все.

Уланов встал, высокий, худощавый, в отглаженном костюме и при галстуке. Правда, рубашка не белая, а цветная. Всегда он одевался аккуратно, хоть и приходилось ему лазать по всяким закоулкам. Но сейчас в его позе и облике чудилась торжественность. Ребята с любопытством уставились на него. А человек-то, может быть, решил сразу после смены в честь пятницы отправиться на чье-нибудь семейное торжество. Обычно-то допоздна торчит на участке.

— Наверное, догадываетесь, зачем всех позвал? — пристукивая карандашом по столу, спросил Уланов.

Вразброд раздались голоса:

— Да вроде незачем, на плите ни одного цилиндра нет!

— Раз собрал, значит, в выходной работать!

— Неужели благодарность объявлять?

— От него дождешься!

Переждав реплики, Уланов объявил:

— Почетное задание вам хочу поручить, братья-«водолазы»! Спецзаказ. Надо срочно сдать трубы. За субботу и воскресенье вы должны их испытать, в понедельник маляры покрасят — и порядок.

— Значит, совсем без выходных вкалывать? — ехидно поинтересовался Никитин. — Культурно отдыхать, значит, не надо?

Уланов, хмуро глядя в пространство, сказал:

— Эти трубы я знаешь где бы видал? Но сделать надо, вне очереди, вне плана они идут. А вообще-то, Боря, чем бы ты занимался в выходной? Пошел бы водку пить? А здесь время проведешь с пользой, лишние деньги в семью принесешь. Обещают неплохо заплатить. . .

Борис обиделся.

— Зачем водку? Я могу и книгу хорошую почитать, и на концерт сходить. Что же получается? Три дня болтались, а на выходные работа подвалила!

— Кто-то плохо соображает, а мы отдувайся! — раздраженно выкрикнул Володя Королев.

«Некстати подвернулись трубы!» — с огорчением подумал Сорокин.

Он уже настроился на двухдневное безделье, собрался в гости с Полиной съездить, в воскресенье на «Князя Игоря» сходить. В театр они, конечно, попадут, но не удастся дровяной сарай починить — крыша протекает, а в будние дни просто руки не доходят. И разные мелочи останутся несделанными. Новость — полная неожиданность для бригады. Понятно, почему завелись. И Уланов, как нарочно, подзуживает. Все ведь знают, что выходить придется. Пытаясь прекратить возникающую перепалку, Сорокин твердо сказал:

— Все ясно! Давайте распределяться, кто в утро, кто в вечер, и по домам! Нечего зря терять время!

— Подожди, Леша! — досадливо отмахнулся Королев и, поднявшись, обратился к Уланову: — А если мы совсем откажемся работать по выходным? Ты ведь не имеешь права заставить. Что будешь делать?

Нехотя, словно в сотый раз объясняя прописную истину, Уланов сказал:

— Вы разве враги себе, не хотите заработать?.. Не выйдете — сорвете важный заказ. Меня, конечно, по головке не погладят, но вы, пожалуй, больше пострадаете: наряды же закрывать надо...

— Значит, бьешь на материальный интерес?

— На него, — согласился Уланов.

«Ну что они базар развели! — страдая и за ребят, и за начальника, сокрушался Алексей. — Не хочешь жертвовать выходным — откажись. Никто неволить не станет. А Женя чересчур уж по-начальнически. Мог бы помягче».

— А ты бы нас уговорил, убедил. Дескать, производству надо, помогите, дорогие товарищи, — ухмыляясь, завел Никитин. — На идейность бы надавил. Мы же сознательные, пойдем.

Уланов поморщился.

— Мы же взрослые люди! Зачем играть в слова?

— Давайте в конце концов распределяться! — подал голос молчавший до этого Ким Коваленков. Он сидел в углу и

с любопытством поглядывал то на одного, то на другого спорщика. — Потренировали языки и хватит. Скоро служащие попрут, в автобус не влезешь!

Больше никто не порывался высказаться. Не Кима, конечно, послушались, просто вышел запал. Но у Сорокина осталось неприятное ощущение, что он оказался бессильным обрвать пустое препирательство.

Начали рядиться, кому в утро, кому в вечер. Разобрались, наконец. И тут Анатолий Катков с виноватой улыбкой заявил:

— А я не могу выйти.

С неподдельным изумлением Уланов уставился на него.

— Что у тебя за дела такие? — резко спросил и, опомнившись, пробормотал: — Не можешь, так не можешь. Вольному, как говорится, воля. Все, братья-«водолазы», идите отдыхать. Не цените вы ни свое время, ни чужое. Очень вас прошу в дальнейшем обходиться без лишних слов. Если каждая бригада станет вдаваться в дискуссии, когда прикажете делом заниматься?

Когда вышли из конторки, Ким, похохатывая, спросил:

— Ну что? Повоевали? Довольны?

— Да надо же глотку подрать, — смущенно оправдывался Королев. — Не поерщ — не успокоишься.

— А что у тебя случилось, Толя? Почему отказался работать? — полюбопытствовал Никитин.

— Да так, дела кое-какие есть, — уклончиво ответил Катков.

Королев хлопнул его по плечу.

— Дела — у прокурора, у нас делишки. Выходи с нами, не отрывайся от здорового коллектива!

Катков промолчал.

«Что это с ним? — недоумевал Сорокин. — Какой-то он не такой, как все. Против авралов потихоньку протестует? Или что другое?»

Вспомнилось недоразумение с катушками, когда Анатолий оставался в ночную смену. На четвертом участке обещали подготовить их к вечеру и забросить на стенд. Поставить на турбину — часов двух хватило бы. Но утром катушек не было на месте. Оказалось, что их не подвезли, а Катков с напарником особо искать не стали — прошлись по участку, не обнаружили и успокоились. Формально-то Катков прав, иногда, возможно, так и надо поступать: руководители четвертого участка получили внушение за небрежность, в другой раз будут

внимательней. Но бригада из-за правоты Анатолия потеряла несколько часов. Алексей отругал тогда Каткова за лень, а дело-то, кажется, вовсе в другом было... И не скрывает Анатолий вроде ничего, но как-то на особицу держится. «Что-то я стал обсуждать каждого бригадника, — усмехнулся про себя Сорокин. — Глядишь, еще папку с бумажками заведу!»

Получилось так, что Алексей с Борисом вместе вышли из раздевалки. Никитин, в коротенькой куртке, с книжкой под мышкой, припустил так, что Алексей через минуту взмолился:

— Погоди, куда гонишь? У меня же ноги короткие.

Борис придержал шаг.

— А я натренировался. С работы все бегом и бегом.

— Книжку-то зачем таскаешь? — поинтересовался Сорокин.

— Да по привычке. Раньше только в электричке и читаешь.

— Как настроение?

— Да что мне! — с лихостью отозвался Борис. — Теперь я вольный казак! Никаких забот не знаю. Тереза — баба хорошая. Одно нехорошо: живет с матушкой. Ну, в случае чего квартиру можно разменять на комнаты.

Сорокин только вздохнул, но воздержался от непрошенных советов. А на автобусной остановке все же намекнул:

— Ну что — со мной на электричку? Книжку в дороге читаешь...

Борис весело ответил:

— Нет, Леша, мне дорога на Петроградскую! — И после молчания задумчиво добавил: — Все устраивается ладненько, а как своих пацанов вспомню, тошно становится. Они у меня вообще-то хулиганистые, все в комнате перевернут вверх ногами. А начнем с Машкой ссориться, забьются в угол и смотрят, и смотрят. Серьезно так, испуганно...

— Тем более надо вернуться.

— Не могу, Леша! Она же сама виновата... и хоть бы раз позвонила! Значит, деньги есть! Значит, из-за денег со мной живет!

— Миллионер какой нашелся! — Сорокин даже руками всплеснул: ну и дурь же пришла Борьке в голову. — Кстати, я был вчера у нее. Детей, говорит, скоро будет нечем кормить.

— Да-а, — обескураженно протянул Никитин. — Ладно, с полочки вышлю. А вообще-то, Леша, как получится, так и получится. Надоело думать. — И круто переменял разговор: —

Смотри, никак в Неве утки плавают? Пойдем посмотрим, а? Успеешь домой.

Они подошли к воде. Возле широкой сточной трубы плескались, прихорашивались утки, резко опрокидываясь, ныряли, мелькнув желтыми лапками. Странно было видеть диких птиц у набережной, рычащей сплошным потоком машин.

— Зимовали где-нибудь здесь, — задумчиво сказал Борис. — Знаешь, в детстве я два года жил возле Саян. Вот там уток было! Спугнешь — солнца не видно. Лес там был такой, что заблудишься... — И без всякой связи продолжил: — А не завербоваться ли мне куда-нибудь, а, Леша? Устроюсь — семью вызову. Или в строители пойти? Может, квартиру быстрее дадут. Как посоветуешь?

— Зачем я зря буду молоть языком? Если бы ты серьезно решил... Все можно сделать, если захочешь.

— Нет, наверное, не хватит у меня пороху... Утки вон тоже никуда не улетают. Отходов им для корма здесь много.

VII

В субботу Сорокин появился на площадке, как обычно, раньше всех. Первым делом отправился на соседний участок. Там еще никого не было, а трубы лежали на полу. «Наверное, задержат немного. Ну, ничего, наверстаем. Это не цилиндры собирать», — без особого огорчения подумал Алексей, вернулся к себе, положил дощечку на кубарь, сел. В выходной можно и расслабиться — беготни мало, делаешь одно дело спокойно, не дергаясь.

Тихо в цехе, пусто, воздух чист. Если отвлечься, можно представить, будто находишься в лесу. А здесь ведь, кажется, было озерко. По берегам березки росли, — вдруг ударило в голову. В перерыв купались, загорали. Лет десять назад построили цех-громадину, и с первых дней Сорокин в нем работал. Кажется, совсем недавно он впервые поднялся на стэнд, а подумаешь — страшно много прошло времени. Сам вроде все такой же, разве что здоровье стало послабее да лысина обширнее. На плешь можно внимания не обращать — от машинного масла, дескать: не всегда убережешься, капнет на голову иной раз, а для волос оно не бальзам. Растительность — пустяк, а вот долго ли еще воздухом дышать? Надолго ли хватит сил работать?

«Эк, от безделья куда меня занесло! — опомнился Соро-

жин. — Рано о старости думать, еще не один десяток турбин отправим! Еще, может быть, внука здесь буду учить слесарить! Поди, не захочет, к легкой жизни потянется. А никуда не пушу, пока не научится держать в руках инструмент! Поймет, что такое работа, — куда хочешь поступай, хоть в артисты. Витька-то молодец, сразу после школы взял гаечный ключ. Теперь и в армии ему нетрудно...»

Вчера получили письмо от сына. Пишет, что после учений ему объявили благодарность, возможно, придет на побывку домой. Год ему еще служить. Интересно, куда собирается после армии? Потянет ли его в бригаду, где потел почти два года? Не в чем Витьку упрекнуть, не бегал он от работы. И если покажется на гидравлике, что масштаб не тот, никуда пути ему не заказаны.

Когда Алексея спрашивали, чем занимается, коротко отвечал: «Наливаем воду в цилиндры, потом выливаем». Не станешь ведь объяснять технические подробности. Работа, конечно, однообразная, тяжелая, но совершенно необходимая, и Сорокин ею не тяготился. За все годы ни разу не возникало серьезного желания переменить занятие. Ограниченный, неприхотливый такой, что ли? Но куда ему было стремиться, если в детстве не было для него лучшей одежды, чем форма ремесленника. Фуражка, гимнастерка, ремень... После войны удалось поносить; первое время гордо выступал, потом привык. На водопроводчика учился. Потому что в другие группы не было набора. Полгода повозился с трубами — не понравилось, перешел на завод. Отсюда уж никуда. Как и отец, лучшего занятия, чем работа с металлом, не знает. Что тут особо задумываться — без турбин люди просто не могли бы существовать. Значит, кому-то их делать надо.

— Сидит, мечтает! — возле самого уха раздался голос Бориса Никитина. — А мы думали, ты уже всю работу сделал!

Сорокин поднялся, смущенный, что его застали врасплох. Одновременно явилась троица — Коваленков, Никитин и Королев, будто прибыли одним транспортом.

— Что, Леша, нога? — участливо спросил Коваленков.

— Да нет, так просто. Не выспался, — на ходу придумал Алексей. — Вы посидите, я на первый участок смогаюсь узнать насчет труб.

Нашел мастера, тот пообещал через полчаса доставить.

Ребята устроились на кубарях. Володя докладывал о прочитанной в каком-то журнале статейке. Нашли, дескать, в

джунглях туземцев. Живут в пещерах, друг с другом не ссорятся, корни собирают, ящериц ловят, червей ищут. Часа три в день надо, чтобы обеспечить себя пищей. Остальное время детей воспитывают, отдыхают.

— Не жизнь, а лафа! — восхитился Борис. — На годик бы к ним отдохнуть. Главное — не ссорятся...

Коваленков заверил:

— Через неделю сбежал бы, соскучился. Мы к спокойной жизни не привыкли. Не понравилось бы тебе в пещере. Сам же стонешь: квартира, квартира...

— Опять же футбол, хоккей, телевизор, — поддержал Королев. — Пусть кореньями питаются, а мы лучше поработаем. Подавай, Сорока, трубы — руки горят!

— Ты вот смеешься, а работа — первое дело в жизни, — с неожиданной серьезностью сказал Коваленков. — Пока шишек не набьешь, не помыкаешься по свету, такого пустяка не поймешь. Я много на своем веку вкалывал, дошло наконец. Траншеи рыл, баранку крутил, золото добывал — да мало ли чего перепробовал! Повидал больше, чем вы до старости успеете.

— И золото в руках держал? — с почтением спросил Королев.

Ким равнодушно ответил:

— Таскал килограммов по двадцать.

— Ну и как? Наверное, руки дрожали? — от любопытства Никитин весь вперед подался.

— Да никак! Вроде вон гайку колпачковую несешь, так и золото. Удобно, правда, с ним обращаться. Тяжелое, а места занимает мало. Когда с ним работаешь, никакой красоты не замечаешь... В общем, помотался я и успокоился. Мне уже скоро сорок стукнет, я уже знаю: работай, дыши, живи и не дергайся. Мне хорошо. Но своего пацана не научишь. Он, может, и до смерти не сообразит. — Ким помолчал и заговорил насмешливо: — Мы росли, верхом на палочке катались. Сейчас велосипед не купишь — пацан и в школу не станет ходить. Кто постарше, тому мопед подавай. В первом классе алгебру учат. Мы что знали? Пристенок да лапту. Умные дети пошли, ничего не скажешь! А ни математика, ни всякая там логика жить не научат.

«Чего это нас с утра на лирику потянуло? — шутливо удивлялся Сорокин. — Ким, наверное, самую длинную в жизни речь закатил! Весна, что ли, так действует?»

— Неплохо устроились! — сердито воскликнул подошед-

ший Уланов. — Может, вам на плите мягкие кресла поставить?

— Трубы еще не готовы, — спокойно пояснил Алексей и шуточно сказал: — Здравствуй, Евгений Петрович! Кажется, сегодня еще не виделись?

Уланов натянуто рассмеялся.

— Фу ты, поздороваться забыл! Совсем замотался. Так что с трубами? Ты бы, Леша, не расслаивал здесь, а у них стоял над душой. Наше дело такое: не подгонишь — не поедешь.

— Сорока у нас человек мягкий, не может размахивать дубинкой, — ехидно заметил Ким.

Королев подхватил:

— Со смирным человеком приятнее дело иметь. Много их сейчас развелось, с крепкими зубами и широкой глоткой.

— Уж не меня ли имеете в виду? — весело осведомился Уланов. — Рад был бы иметь такие качества. — И враз по-серьезнел: — Привыкли все-таки сачковать! Могли бы найти какое-нибудь занятие!

— Совсем напрасно упрекаешь нас в лени! — с достоинством возразил Сорокин.

— Ну, ну, и слова не скажи — сразу в обиду! Пойду-ка вам трубы выбивать.

Уланов смотрел на Сорокина, будто приглашая с собой, но Алексей не тронулся с места.

Когда Уланов ушел, Ким, прищурившись, оглядел Алексея, как бы оценивая его, и пророчески изрек:

— Ты еще, Сорока, когда-нибудь схлестнешься с Улановым! Иногда полезно и себе и другим кровь попортить, чтобы потом спокойно жить.

— Ни с кем я не собираюсь схлестываться! Что ты ко мне прицепился!

— Ну и лопух будешь! Хотя ты уже начал Уланова потихоньку покусывать. Продолжай в том же духе.

Зазвенела электрическая платформа, медленно поползла к площадке.

— Наконец-то едет первая труба! — воскликнул Ким. — Надоело сложа руки сидеть!

Сорокин позвал крановщицу, и засидевшиеся слесари набросились на работу.

Дело простое. Казалось бы, и времени много не надо. Но пока заглушки подгонишь, чтобы совпадали отверстия, пока трубы закрепíš на козлах, болты обожмешь, латунные трубки подсоединишь — около часа проходит. И, как обычно, если

нужно побыстрее сделать, попадаетея то слишком длинный болт, то слишком короткий.

Сорокин вошел в азарт, действовал четко и сноровисто. Ким, напарник, понимал его без слов, задержки за ним не было. Да и Володя с Борисом на других козлах не отстают. Не до разговоров. Обожмут болты — один несется мотор включать, другой с переносной лампой смотрит, не просочилась ли капля воды. Окажется трещина — заваривать надо. Обходилось, крепкие стенки выдерживали давление. И снова четкое разделение труда: пока один бегаея за контролером и представителем заказчика, другой ветошью досуха вытирает трубу, чтобы удобнее проверяющим было смотреть. Представитель неизвестной организации — высокий, задумчивый парень — впивался взглядом в поверхность, будто надеялся обнаружить там крупицу золота. Не найдя изъяна, молча уходил — принимал, значит, работу.

Весело было Сорокину: хорошо, когда ладится дело. Хорошо, когда ничто не отвлекает, когда не надо ждать, искать, выбивать. Незаметно час за часом идет.

— Алексей! — крикнул Никитин. — До вечера собираешься вкальвать? Пора уши мыть!

Сорокин ничего не ответил. Отозвался Ким:

— Мы такие, мы можем хоть до утра!

Крановщица сверху кричит:

— Сорока! Долго собираешься здесь торчать? Отпускай кран, мне домой надо!

Алексей, будто не слышит, возится с болтами. Огорчительно стало: скоро надо закругляться. Будь его воля, до вечера бы трудился — так легко себя чувствовал.

Крановщица не поленилась сверху спуститься, кроет почему зря — кажется, за грудки схватит: отпускаяй, дескать, домой, хватит выпендриваться!

Ким захохотал:

— Так его, так его! Совсем нас измордовал!

— Он благодарности хочет от начальника участка получить, — лукаво пояснил Королев.

— Ему благодарности захотелось, а я должна страдать! — возмутилась крановщица, всерьез восприняв слова Королева. — Вам, мужикам, что — домой пришел, жрать подавай! А мне еще и еду готовить, и постирать надо, и квартиру прибрать!

Сорокин приложил руку к сердцу.

— Да не слушай ты этого пустобреха, Валюша! Нам только одну трубу испытать. Без тебя, Валюша, мы хуже, чем без рук, — продолжал он умасливать. — От всей бригады прошу — потерпи еще минут двадцать. Мы тебе очень сочувствуем, но другого выхода нет.

— Не соглашайся, не соглашайся! — смеясь подзуживали ее Борис и Володя.

— Да как тут не согласишься! — Валюша улыбнулась. — Ладно, что с вами, ударниками, сделаешь? Только смотрите, через полчаса брошу кран.

— Спасибо, Валюша! — крикнул вслед Алексей. — Шоколадка за мной!

— Лысый-лысый, а любую уговорит, — пошутил Володя. — Любили, наверное, тебя девки, Леша?

— Почему это «любили»? — вроде обиделся Сорокин. — Сейчас разве не могут?

— Ты и сейчас еще хват, — согласился Володя. — Придется жене рассказать, как ты здесь шустришь.

Сорокин, довольный, радостный, весело крикнул:

— Ну-ка, братцы, навалимся!

«Можно ведь по-доброму договориться! — доказывал кому-то Алексей. — Грубость только мешает. Вот ты бы, Евгений Петрович, нагрубил, испортил человеку настроение. У доброго-то слова путь короче!» Прекрасно, когда нет столкновений, недоразумений, когда никто ни на кого не злится. Тогда и жить, и работать — одно удовольствие.

Последнюю трубу «даванули» и сдали, казалось, в считанные минуты.

— Если и вечерняя смена так нажмет, на завтра ничего не останется! — вытирая пот с лица, сказал Володя.

Никитин усомнился.

— Ну, где им!

Сорокин только улыбался.

— Всегда бы так в охотку вкалывать! А не получается! — посетовал Ким. — Все «давай, давай!»

Мыли руки в бидоне с керосином. Борис вдруг вспомнил:

— Я до армии работал в одной конторе, так домой идешь и думаешь, как завтра деталь получше сделать. И на работу с желанием идешь, даже торопишься.

— Так иди снова туда.

— Может, ее давно уже нет. И вообще, если новое место искать, в зарплате потеряешь, а мне надо семью кормить.

— Ты же вроде теперь холостой?

Никитин смутился и замолчал.

Помыслив в душевой, переоделись и медлили расходиться в разные стороны. Королев мечтательно произнес:

— Вот сейчас бы куда-нибудь всем вместе пойти...

— А куда?

— Давайте ко мне? — предложил Ким. — Всего пять остановок на трамвае. Нет возражений?

— Нет!

Самые близкие люди сейчас однобригадники, — растрогался Сорокин. Высказать бы, да не приняты чувствительные слова, самому неловко бы стало, если б их произнес. Сказал только:

— Нам бы, братцы, вместе надо держаться!

VIII

У Алексея был неплохой голос. Знающие люди говорили, что если бы начал вовремя заниматься, мог бы выйти толк. Это уже когда поступил в заводской хор, а до этого на вечеринках тешил компании. В свои вокальные способности Сорокин не очень-то верил и не расстраивался, что не использовал скромные возможности. Разве что иногда мелькнет несерьезная мысль: наверно, если бы с детства натаскивали, смог бы выступать на эстраде с романсами и оперными ариями. Хороший певец вряд ли из него получился бы. А в хоре он чувствовал себя на месте. Коллектив серьезный — большинство знает нотную грамоту, вещи поют сложные, даже на гастроли выезжают, в заводские клубы других городов. Руководитель консерваторию окончил, работает хормейстером в Кировском театре.

После репетиции Алексей был в радостно-возбужденном настроении. И сама по себе спевка — небольшой праздник, а тут еще поручили коротенький сольный эпизод. Ноты он читать не умел — слухом брал, но, кажется, нормально получалось, во всяком случае не слышал нареканий от руководителя.

Домой ехать не хотелось, да и грешно, находясь рядом, не заглянуть в цех — всегда кажется, что без него что-нибудь не так сделают. Как только открыл входную дверь цеха — в уши ударило плотное шипение. На стенде стояла турбина, окутанная паром. Еще с утра стендовики готовили ее к запуску. Сегодня у них самый хлопотливый день — бегают перепачкан-

ные, озабоченные. А вокруг турбины на почтительном расстоянии стоят конструкторы, начальники разных там служб, представители электростанции. Сорокин узнал директора завода, которого и видел-то издали два раза. Испытание турбины — событие для всех.

Сорокин подошел к машине, кивнул знакомым — говорить бесполезно: голоса никто не услышит. Тепло турбины ощущалось и в нескольких метрах, с яростным свистом из трубок вырывался перегретый пар.

Алексей направился на свою площадку.

— Ишь, вырядился! Как жених! Наверное, у молодки вечерами пропадает! — встретили его шуточками.

Алексей нахмурился: сдерживая улыбку, строго спросил:

— Как у вас тут? Языками-то чесать умеете. . .

— Порядок. До конца смены успеем поставить крышку, — ответил Катков.

Еще о кое-каких мелочах спросил Алексей — все было как следует, можно не беспокоиться, спать спокойно.

— Что, Борька, такой невеселый? — с наигранной бодростью спросил Никитина.

— А с чего радоваться? — безразлично отозвался Борис.

Алексей смутился — дернуло же задать глупый вопрос! Неудобно стало за свою чистую одежду, прочное благополучие. Ни в чем не виноват, а неловко. Словесно-то сочувствовать все мастера, а на деле помочь! . . . Да что от него, Сорокина, зависит? Если бы с человеком так просто было, как с машиной — гайку довернул, подрегулировал кое-что, и снова действует нормально. Личная жизнь — штука тонкая. Любил же Борька когда-то свою будущую жену, слова ей какле-то говорил, всю жизнь собирался вместе прожить. А теперь и ему маета, и семье горе. Эх, если бы у него, Алексея, была возможность — всех бы сделал счастливыми! Да где там! Слава богу еще, что хоть сам-то зла никому не причинил.

Постояли, поболтали несколько минут.

— Пойду, не буду вам мешать, — сказал Сорокин и протянул руку.

Никитин усмехнулся.

— Да ладно тебе разводить церемонии. Мы как приложимся, пять минут будешь отмывать.

Этот пустяк почему-то задел Сорокина. Будто отчуждение возникло между ним и Никитиным. . . «Ерунда это, — успокаивает

вал он себя, поднимаясь на стенд. — Что-то я начал дергаться по любому поводу. Ничем же я не провинился ни перед Борькой, ни перед кем... С чего я должен обо всех заботиться? Подумаешь, велика птица — бригадир! — И вдруг его осенило: — А в завком-то я мог сходить! Дескать, так и так: ценный кадр собирается увольняться, потому что видов никаких нет на квартиру, семья распадается. Сами знаете, на гидравлику слесари не рвутся... Ясное дело, никто жилплощадь не выложит тут же. Но знать будут, что безвыходное положение у человека, а это вредно сказывается на производстве. Надоедать надо, потом ходатайство, что ли, от начальника цеха написать. Не течет вода под лежащий камень...»

Удивлялся Алексей: как это он раньше не сообразил. А все оттого, что привык только о себе заботиться. Чужая беда, может, и трогает, но пальцем шевельнуть и в голову не приходит! И ведь ущерб для себя никакого нет! «А себе чуть ли не ангелом казался! — с горечью подумал Сорокин. — Плохого никому не сделал... Хорошего от меня тоже никто не видел!»

Рифленый настил стенда слегка вибрировал — рабочее колесо турбины набирало скорость. Через час-другой начнет вращаться со скоростью три тысячи оборотов в минуту — ни больше, ни меньше.

* * *

Алексей заглянул в кабинет заместителя председателя завкома — Жоголев был не один. Надо ждать: при постороннем человеке разговора не получится. Сорокин расхаживал по коридору, поглядывая на дверь кабинета. Вчерашняя решимость испарилась, благое намерение казалось нелепым, — ну кто его просил? Кто он такой, чтобы выступать ходатаем? Борька же бывал здесь, и ясно, что Сорокин ничего не добьется. Блажь нашла, от хорошего настроения. «Подожду десять минут, не освободится Жоголев — уйду! — решил Алексей. — Меня работа ждет!» И скверно было на душе: если отступишь — уронишь себя в собственных глазах. «Трусливый я такой, что ли? — обозлился на себя Сорокин. — Что, меня здесь съедят или изругают?»

Десять минут истекло, а он все мерял ногами коридор. В конце концов, Жоголев вроде знакомый. Лет пять назад был мастером на соседнем участке. Иногда встречались, здоровались. Но помнит ли он сейчас Сорокина — неизвестно. Наверное, не забыл...

Наконец посетитель вышел, и Алексей сразу ринулся в кабинет. Жоголев сидел за пустым столом и разговаривал по телефону. Махнул рукой — присаживайся, мол. Стесняясь грязной спецовки, Сорокин примостился на краешке стула. Разглядывал исподтишка профсоюзного деятеля. Краснощекий, непоседливый, то и дело подпрыгивает, переносит трубку от одного уха к другому и зачем-то подмигивает Сорокину. «Не стал он похожим на кабинетного служаку», — заключил Алексей и приободрился.

— Слушаю вас, — сказал Жоголев, положив трубку.

«Не узнал», — разочарованно подумал Алексей.

— Тут вот какое дело, — начал он, не зная, с какого конца подступиться. — У меня есть в бригаде парень... Я бригадир из двадцать первого цеха...

— Как же, помню, — сказал Жоголев. — Соседями были. Если не ошибаюсь, Сорокин Алексей?

Раз не забыл, Сорокин почувствовал себя свободнее. Изложил Борькину незадачу, преувеличил даже немного.

— К сожалению, никак нельзя помочь, — сразу отменил всякую надежду Жоголев. — Мы ничем не располагаем. Правда, один дом скоро будет готов, но квартиры давно распределены.

— Я знаю, — уныло сказал Сорокин. Чуда не случилось, но хоть бы на будущее получить твердое обещание. — А если комиссию собрать, обследовать условия? Чтобы потом в первую очередь...

— Зачем напрасно людей тревожить? Начнем строить второй дом — тогда другое дело. Плохо, что он в пригороде живет...

Надо было ухаживать, но Сорокин медлил. Хоть бы за какую-нибудь зацепку ухватиться! Ни с того ни с сего спросил:

— Если бы ему кто-нибудь очередь уступил или прямо ордер отдал, тогда что?

Жоголев засмеялся.

— Где ты найдешь такого чудака? Если б кто и предложил, подумали бы, что большие деньги за это взял.

— Ну, а вообще-то возможно такое?

— В теории — конечно. Посмотрели бы, что за человек, и, наверное, не стали бы возражать. — Жоголев помолчал и со смехом спросил: — Уж не знаешь ли такого святого?

Алексей смутился.

— Нет, я так просто спросил. Жалко, что ничего нельзя сделать. Я пошел. До свидания.

— Значит, бригадиром стал? — спросил вдогонку Жоголев.

— Да вот пришлось. . .

Направляясь в цех, Сорокин недоумевал: чего ради вывалились у него слова об ордере, об очереди? Не собирается же он отказываться от своей квартиры? Если бы один был. А ведь жена, сын. Придется Борьке подождать. Зато уж потом Алексей шум поднимет, будет ко всем приставать, пока Никитина не поставят первоочередником. Немножко к тому времени пооботрется среди начальства, станет смелее. А семья разрушится. «Да не в квартире дело — в отношениях! — в который раз говорил себе Сорокин. — Если из-за ерундовой ссоры убегать из дому, какая это жизнь? И дворец не поможет. Да и вообще, с чего ради мне ввязываться? Сами разберутся».

Но почему в трудных условиях люди себя иначе ведут, многим жертвуют ради других? В блокаду люди кусочком хлеба делились, когда дело о жизни и смерти шло. Спасли же вот его, незнакомого парнишку. И другое тогда случалось, но была же и такая самоотверженность. А сейчас попробуй откажись от городских четырех стен, от не столь уж жизненно важных удобств. «Да зачем мне над этим ломать голову! Ученые люди и те, наверное, не смогут ответить. . . Работать надо, а не попусту рассуждать!»

IX

Володя Королев сердито заявил:

— Сегодня, Сорока, ты с меня работу не спрашивай!

— Это почему же? — удивился Алексей.

— А потому, — закричал Володя, — что мне премию не дали! Всем выписали, а мне одному нет. Я разве хуже других работал?

— Постой, постой! — растерянно забормотал Алексей. — Ничего не понимаю. Какая премия?

— Такая! За экспорт или еще там за что.

— Ну чего ты разоряешься? Ошиблась, наверное, бухгалтерия. У начальника интересовался?

Володя чуть сбавил голос:

— В расчетном отделе спрашивал — говорят, все правильно. А с Улановым не буду разговаривать! Ты бригадир, должен знать. Раз тебе начальник не сообщает — иди выясняй!

— Ты же не ребенок! — возмутился Алексей. — Здоровый лоб, а требуешь няньку!

— Ты должен наши интересы отстаивать! Тобой вертят как хотят!

Алексей рассердился.

— Опять за свои дурацкие выдумки! Никто мною не вертит! Психованный ты, вроде балованной барышни! Пристал как банный лист! Ладно, схожу к Уланову, раз боишься его!

— Никого я не боюсь... — начал Королев, но Алексей отошел от него.

«Угораздило же меня связаться с бригадирством! — сокрушенно думал. — Если и дальше так пойдет, никакого здоровья не хватит!» Раньше со стороны казалось, что бригадирствовать просто — распределил задания между слесарями, проследил, как выполнили, посоветовал, и все дела. Не думал не гадал, что во все дразги придется встречать.

Уланова он нашел на стенде. Распекал сборщиков, и по выражению лица было ясно, что начальник участка сильно не в духе. Казалось бы, после благополучного испытания турбины можно передохнуть, да где там! Снова наваливаются со всех сторон дела.

Алексей подождал, пока Уланов кончит разговаривать со сборщиками.

— Женья, у меня к тебе вопрос! — сказал Алексей, когда Уланов направился к лестнице.

— Все вопросы и вопросы... Думаешь, на все могу ответить?

— На мой ответишь. Правда, что ты лишил Королева премии?

— Правда, ну и что?

— А почему? Обидел ты парня, Евгений Петрович!

— Ничего, урок ему будет. Не выписал потому, что опоздал на полтора часа и дважды не выполнил мои распоряжения. Ты не думай, что я из мести или самолюбия. Нет, надо приучать к порядку.

— Так он же ничего не знает!

— Ерунда, я его сразу предупредил, что будет наказан. А потом не сказал, просто забыл. Вот ты ему и напомни.

— Круто уж очень, — с сожалением сказал Сорокин. — Испортил парню настроение.

Уланов с сочувствием посмотрел на него.

— Леша, ты еще зеленый бригадир. У меня «руководяще-

го» опыта побольше, так я тебе скажу: не обращай внимания на эмоции. Здесь завод, а не институт психологии. А на заводе нужно работать, хорошее у тебя настроение или плохое. С меня требуют план, а не настроение. Вот и нужна система. Провинился — получай наказание. Добреньким будешь — на шею сядут, такая начнется свистопляска, что не выпутаешься. Да ты скоро и сам это поймешь.

— А я не хочу такое понимать, — пробормотал Алексей. — С железом-то научились мало-мальски управляться. . . Что ты на нас, как на противников, смотришь?

— Леша! — воскликнул Уланов. — Не приписывай мне, чего нет! А вообще-то, хватит спорить, работать надо!

«Действительно, развели прения! — мысленно согласился Сорокин, возвращаясь к себе. — Его можно понять: ответственность большая, иногда не до церемоний. А все-таки можно по-другому. Вроде и не грубит он, но все равно не так. Вроде он подчиненных воспринимает как рабочую единицу, и только».

В конце смены Королев с нарочитым безразличием поинтересовался:

— Спрашивал?

Алексей рассказал, в чем Володя провинился.

— Так я и знал, что он в отместку! Насчет опоздания я объяснительную писал, причина была уважительная. А что однажды его подальше послал — так довел! Разъем надо было срочно чистить, малярши ждали, а он: иди на третий участок, какой-то болт исправь. . . И работа не наша. Объясняю, что некогда, он сквозь зубы: сказано — делай. Да если бы по-человечески объяснил. . . Ты мне, Леша, по совести скажи, прав я или нет?

— Не особенно ты прав. Сказано — надо делать.

— Эх! — сокрушенно воскликнул Королев. — Не добьешься от тебя толку! Так и проживешь — ни вашим ни нашим!

— Тоже мне ангел нашелся! — повысил голос Алексей. — Болтаешь, сам не знаешь что! Хочешь, чтобы тебя все время по головке гладили?

Как-то сразу Володя успокоился.

— Извини, Леша, погорячился. Разозлился на Уланова, а тебе досталось! Ты же наш мужик!

— Спасибо, что хоть к буржуям не причислил, — обиженно пробурчал Сорокин.

Влип с этим бригадирством! Столько лет жил спокойно, худого слова не слышал, а теперь только поворачивайся — с двух сторон задевают. И каждый в чем-то прав. Вот и рассуди тут!

Х

Сильно прихрамывая, Сорокин шел по вымощенной булыжником улице к своему дому. Чертов булыжник, того и гляди подвернешь ногу! Смена выдалась трудная, и все раздражало: неудобная дорога, резкий ветер, собаки, выскакивающие из каждого переулка.

Чтобы не появляться перед женой в кислом настроении, Алексей задержался у ограды. «Дыши спокойно, — внушал себе. — Чего злишься — скоро настоящая весна будет». Предвесенние сырость и слякоть были для него тягостным временем: проклятая нога ныла день и ночь, а как понервничаешь, ну прямо спасу нет.

Низко неслись изодранные облака, подкрашенные желтым закатным светом. Небо отсвечивало нежной голубизной.

Удивительно быстро успокаиваешься, глядя на зеленую траву, под снегом сохранившуюся с осени, на березы, мотающие гибкими ветками. И тишина действует благотворно — никаких городских звуков, только деревья ровно шумят да взлаивают собаки. «А хорошо здесь! — сказал себе Сорокин. — И в дом бы не заходил». Но раздражение улеглось, пора идти к Полине. Ждет уже его, небось знает, какой электричкой обычно прибывает.

— Вот и я! — весело возвестил с порога. — Явился не запыхавшись!

— А я уж думала, загулял где-нибудь, — шутливо отозвалась Полина. — Ты теперь квартиросъемщик — глядишь, с молодой захочется пожить.

— Где уж нам! Лишь бы с работы до койки добраться да старым костюм дать покой, — подхватил Алексей словесную игру, а самому неприятно было напоминание о квартире.

Умылся, переоделся. Сели ужинать — вечерами и Полина вместе с ним садилась за стол. После еды Алексей, как обычно, прилег немного отдохнуть. А Полина мыла посуду. Поглядывая на экран телевизора, Алексей прикидывал, что необходимо сделать: дров натаскать, воды два бачка привезти из болотца. На сегодня, пожалуй, достаточно.

Покончив с кухонными делами, Полина присела на стул. Поговорила о хозяйственных мелочах и озабоченно сказала:

— Замордованный ты стал. Случилось что-нибудь?

— С чего ты взяла? Такой же, как всегда.

— Нет, от меня не скроешь. Признавайся!

Сорокин отшутился:

— Весна так действует. Глядишь, к девкам на улице начну пристаывать!

— Бросай ты свое бригадирство, — серьезно сказала Полина. — Не по твоему характеру это дело. Во сне уже начал разговаривать.

— Ну, это тебе приснилось...

— Смотри, Лешка, скрутит — не рад будешь. Уходи, пока не поздно. Что, уж ты там такой незаменимый?

— Да что об этом говорить! — Сейчас пронизательность жены не радовала. — Меня же не под ружьем гнали. Да ничего такого плохого нет. Привыкну.

Полина вздохнула.

— Ты уж, куда не спрашивают, не лезь. Будь как все.

— Да я разве когда-нибудь лез? — удивился Алексей. — Первый раз слышу... Ну, ладно, хватит жир наращивать, пойду за водой.

Жена мечтательно сказала:

— Надоело экономить воду. Скоро без забот заживем... В своей квартире.

Алексей промолчал, нахмурился: по ушам бьет уже это слово!

— Ты чего скуксился? Или нашу конуру жалко бросать?

— Да я ничего, — пробормотал Алексей и поскорее схватил ведро.

Пока управился с хозяйственными делами, стемнело. Осталось час-полтора у телевизора посидеть — и на покой пора. Передача была неинтересной, и Алексей с женой больше друг друга слушали, чем то, о чем говорили на экране. Полина таки выспросила об отношениях Алексея с однобригадниками, да и не привык он таиться от нее. Только скрыл, что заходил в завком.

В дверь неуверенно постучали...

— Что за поздние гости! — всполошилась Полина. — Не тебя ли на работу вызывать?

— Этого не может быть, — сказал Алексей и пошел открывать.

От неожиданности даже отступил — в коридоре стояла Маша Никитина. Один ребенок на руках, второй рядом.

— Проходите, проходите, — силясь скрыть растерянность, приглашал Сорокин. — Давай-ка свое пальто.

Полина помогла раздеться ребятишкам.

— У вас тоже не хоромы, — проговорила Маша, смущенно оглядываясь. — Мы зашли — и сразу тесно. . .

— Да уж недолго осталось терпеть, — Полина подхватила разговор, и вот они с Машей беседуют, как будто договорились для этого встретиться.

«Наверное, ко мне пришла. Но зачем? Что такое стряслось?» — гадал Алексей, томясь ожиданием.

Маша рассказывала о детях — как они играют да какие стали непослушные, — и ни с того ни с сего начала всхлипать.

— Что с тобой? Успокойся, все наладится, — тщетно пыталась успокоить ее Полина.

А Маша от ласковых слов заплакала в голос.

— Ну-ка, орлы, — обратился Сорокин к испуганным детям. — Айда смотреть телевизор.

Посадил их на стулья, а они на экран не смотрят, понурились.

«Вот незадача, — сокрушался Алексей. — Что теперь будет? И у нас вечер испорчен. . . Ну, Борька-стервец, сколько от тебя людям неприятностей!»

— Одна надежда на тебя, Алексей! — сквозь слезы выкрикнула Маша и зло заговорила: — Пристыди этого кобеля! Он себе там и в ус не дует, нашел какую-нибудь. . . А мне-то с двумя довесками на шее куда деваться! В колодец только! Да у нас и колодца-то нет!

— Я говорил с Борькой, — залепетал Сорокин. — Он ничего, переживает. . . Да я с ним еще поговорю. . .

Маша вытирала платком крупные слезы, сморкалась и жалостливо причитала:

— Да срам-то какой — мужик от двоих детей убежал! Да как он теперь своими бесстыжими шарами на людей смотрит! Уж я угождала ему — что тебе, Боренька, сготовить да какую тебе рубашку погладить. . .

Алексей к печке прислонился, потупившись, вздыхая потихоньку: что ей пообещать, чем утешить? Полина и то слов не нашла, повторяет: все уладится да утрясется.

Маша выплакалась, заговорила спокойней:

— Когда предложение делал — на руках, говорил, буду носить. Доносился... Дома, видишь, ему покою нет... А ты вот скажи, скажи! — допытывалась она у Полины. — Разве я виновата, что у меня матка всю жизнь в колхозе работала, пенсию получает — только прокормиться? Другие, как женятся, родители им кооперативную квартиру подносят, свадьбу закатывают. А нам никто не помогал. Борькина матка тоже тысяч не накопила.

Полина воспользовалась заминкой в Машиных жалобах, принялась доказывать, что не все имеют квартиры, далеко не у всех состоятельные родители. И постепенно вновь начался спокойный женский разговор.

«Ну, теперь я не нужен», — с облегчением вздохнул Алексей, будто сбросил тяжелый груз, и начал, как мог, развлекать детишек. Полина чаю налила, и Маша уже корила себя: «Зачем, дура, нюни распустила! Чуть что, у нас, баб, глаза на мокром месте». И нахваливала Алексея с Полиной: как ладно они и дружно живут. Наконец виновато сказала:

— Засиделась. Вам уже давно спать надо. Извините, совсем рехнулась. Сидишь все время одна — хоть волком вой. И она поспешно стала собираться.

— Ты, Алексей, передай Борьке, что до самого директора дойду, если он и дальше будет над семьей издеваться, — говорила Маша, укутывая ребятишек. — Я терплю-терплю, да и кончится терпение. Скажи ему, пусть в совхоз переходит — хоть слесарем, хоть навоз грузить. Здесь людей не хватает, быстро дадут жилплощадь.

— Все ему передам, — вяло пообещал Сорокин. — Я ему устрою головомойку!

Как Маша ни отказывалась, Алексей пошел ее провожать. На улице темень, фонари не горят. Ветер стих, звезды густо высыпали на очистившемся небе. Дразняще пахло оттаявшей землей. Такая благодать и тишина окутали поселок, что не хотелось ни говорить, ни думать о житейских неприятностях.

Слабо похрустывали под ногами сухие березовые веточки, сломанные ветром.

XI

По накидной металлической лесенке Алексей с Катковым спустились в цилиндр, скудно освещенный переносной лампочкой. Пахнуло холодом и сыростью. Со стенок капало — каких-

нибудь полчаса назад из цилиндра выпустили воду. Лужицы и сейчас поблескивали на дне, когда туда падал свет. Нехорошо себя чувствовал Сорокин после нескольких часов, проведенных в железной пещере, но именно поэтому не давал себе поблажки, чаще других работал: что ему вредно, то и всем не на пользу.

Посреди цилиндра неширокий дощатый настил — рабочая площадка. Внизу торчат острые выступы. Сорвется ключ, не удержишься на ногах — считай, можно оформлять пенсию, а то и похоронную музыку заказывать. Потому и находились здесь всегда парами: один светит и подстраховывает, другой — навалившись телом на удлиненный трубой ключ, ослабляет туго затянутые гайки.

За себя и за большинство ребят Сорокин не опасался. А за Анатолия побаивался и держался наготове: не очень он сноровистый, ключ неловко держит, рывками дергает. Не зря Алексей за ним внимательно следил — качнулся было Катков над пропастью, но был вовремя схвачен за куртку.

— Нет, братец, так дело не пойдет! — укоризненно сказал Сорокин. — Сам угробишься и меня под монастырь подведешь. Осторожней надо.

Анатолий виновато и растерянно улыбался.

— Да я и так осторожно.

— Отдохни, остынь. Я пока поработаю.

Нерасторопный парень Анатолий. Год уже на гидравлике и вообще всю жизнь слесарит — давно надо бы все как следует освоить, но до сих пор не поставишь одного на более или менее ответственную работу: что-нибудь да не так сделает. Не скажешь, что отлынивал от дела, но и особого рвения не проявлял. Так, добросовестно отбывал повинность. Скажешь — выполнит, промолчишь — сам не догадается. Сочувствовал Алексей таким людям — нудно, должно быть, время для них тянется.

Стало жарко. Уже дыхание перехватывает, а Катков не топчется сменить. Алексей начал мысленно поругиваться: «Что же ты стоишь, смотришь? Не можешь сам догадаться, что пора за ключ!» Не скоро Анатолий передал ему лампу.

С первого разъема сняли все гайки. Перешли на второй. Еще часок — и можно разбирать цилиндр, отсылать сборщикам. А там следующие на очереди, да еще к отправке надо готовить турбину. После затишья как плотину прорвало, только успевай поворачиваться.

Грохот цеха доносится через стенки слабыми, преобразенными звуками. На время можно забыть, где находишься. Вспомнил Алексей Машины слова насчет совхоза. Верно, там и нагрузка не та, и почти всегда на свежем воздухе, и материально не хуже, чем на заводе. Да и занятие первейшее — людей обеспечивать едой. А не пойдет ведь он, Сорокин. Вот и Борис только усмехнулся, когда посоветовал ему насчет сельского хозяйства. А уж ему-то прямая бы выгода была. . . Беда с Борькой. Заладил одно: хочу отдохнуть, устал от домашних неурядиц, от скученности. Хочу пожить как положено человеку. Будто так положено, чтоб другим причинять страдания! Борька — черт с ним! Машку и детей жалко!

«А вот возьми да уступи свою квартиру, — прорезалась ехидная мыслишка. — Никитиным она куда нужней, чем нам. Если по-человечески, так и думать здесь нечего! Слабó? Нет таких героев?» Втемяшилась в башку нелепость и не дает покоя. Ну как можно отказаться от блага, которое ждал столько лет? Надо выбросить дурь из головы. . . А Машка-то как убивалась! Словно покойника оплакивала. . . «Да не могу я! У меня тоже семья! И нечего думать!» — в сердцах мысленно прикрикнул на себя Алексей.

Квартиру обставят финской мебелью. . . Сидеть-лежать мягко, и приятно для глаз, и не хуже, чем у людей. Есть чем гордиться — финская обстановка, не каждый может достать, как ни старайся, ни бегай. Что за страсть такая появилась — достать! В поселке открыли универмаг — чуть ли не из центра едут, авось «выбросят» что-нибудь редкое, «дефицитное». Ночами за коврами стоят, списки составляют, ссорятся. За хлебом не давились с таким остервенением. . . Молодежь не такая. . . А кто виноват? Все к себе и к себе руки загнуты. Как я сына буду поучать: ты, Витя, поступай по-доброму, по справедливости! Финская мебель. . .

— Леша, ты, пожалуйста, свети прямо — ничего не видно, — извиняющимся голосом попросил Катков.

Алексей вздрогнул — тьфу! Совсем ум за разум зашел!

— Дай-ка я разомнусь, а то в сон клонит.

— Да я не устал.

— Ничего-ничего. Я-то уже отдохнул.

С яростью давил на ключ, будто таким способом можно избавиться от непрошенных мыслей. Только ослабил с десяток гаек — сверху ударил гулкий голос:

— Здесь Сорокин? Вылезай!

— Чего надо? — криком отозвался Алексей. Показалось, будто от голосов, огрубленных, умноженных стенками, стало тесно. Никак Уланов не поленился забраться на цилиндр? Эх, нигде нет от начальства покоя!

И лестно было, что он срочно понадобился, что без него не могут обойтись.

— Долго я тебя буду ждать? — недовольно спросил Уланов. — Пойдем со мной.

«Чем это бригада провинилась?» — ломал голову Алексей, пока спускались на площадку.

Над серединой пролета висела на тросах половина цилиндра.

— Давай-ка думай, куда поставить.

Алексей развел руками.

— Куда его приткнешь? Сам видишь, на плите места нет.

— Какое мое дело! — взорвался Уланов. — Хоть на голову себе ставь! Ты бригадир, ты мне место показывай!

Сорокин тоже повысил голос:

— Я не волшебник! Не могу же в воздухе повесить!

Возле верстака Борис Никитин перебирал инструмент и с любопытством следил за перепалкой.

— Совсем разболтались! — вскричал Уланов и спокойным голосом сказал: — Ладно, придется искать место на другом участке. А вы быстрее разбирайте цилиндр. Нечего kota за хвост тянуть!

Уланов подал знак крановщице и пошел по пролету. Мостовой кран двинулся за ним. Алексей недоуменно пожал плечами: с чего накинулся, зачем от дела оторвал? Хотя понятно: кто-то дал нагоняй начальнику цеха, тот — начальникам участка, а Уланову тоже надо на кого-то сбросить груз раздражения. Система ясная, но лучше без нее обходиться.

— Обменялись любезностями? — спросил Борис.

— Обменялись. . .

Никитин, довольно улыбаясь, рассказал:

— Он говорит мне: лезь на цилиндр, зови Сороку. Для кого другого ничего не жалко, а для него не хочется и пальцем пошевелить. Некогда, говорю. Если нужно, сам иди.

— Детские у тебя выходки, — недовольно заметил Алексей.

Борис важно пояснил:

— Воспитывать его нужно.

— Воспитатель нашелся! — Сорокин не мог скрыть воз-

никшей неприязни. — Тебя самого нужно так воспитывать, чтоб перья полетели!

— А что, что? — заюлил Никитин. — Я здесь при чем?

— А то! Знает кошка, чье мясо съела!

* * *

— Познакомься, Леша, что твои подопечные пишут, — сказал Уланов и пододвинул ему листок бумаги.

Это было заявление Каткова об увольнении. Новость тягостно подействовала на Алексея.

— Что думаешь делать? — спросил Уланов.

— Что тут поделаешь? Насильно не удержишь. . .

— Вот к чему мягкость приводит, — наставительно сказал Уланов. — Если и дальше так пойдет, останешься один. Подводит Катков бригаду. Ты с ним хорошенько потолкуй. Может быть, просто блажь нашла. Я с ним говорил — уперся и ни в какую.

— Конечно, я попробую уговорить. — Сорокин замылся, дернулся было уходить, но сказал все-таки: — Знаешь, Евгений Петрович, не нравится мне обстановка на участке. . . Ребята обижаются. Я понимаю, что от тебя мало зависит насчет, как говорится, ритмичной работы. Другие цеха подводят, и все такое. . . А вот с народом ты обращаешься. . . Нас ниже себя считаешь, что ли?

— Ты это брось! — сердито сказал Уланов. — Нашел кого обвинять в аристократизме! Я же из трудовой семьи, сам два года на заводе работал. А насчет другого. . . Я уже говорил, что мне нет дела до эмоций. Иначе никакой работы не будет. Другой на моем месте, может быть, с кулаками бы кидался. На меня больше давят, чем я на вас.

И он напомнил о разных поблажках, которыми пользуются слесари. Все было правильно, возразить нечего. Но ведь всем о другом Сорокин говорил. . . Не хочет Уланов понимать или не может? Да не злой же он! Задержанный, может быть, и чересчур деловой. . . Словами человека не справишь, так стоит ли надоедать? И что он, Сорокин, возмнил о себе, что начал других поучать? Сам-то он безупречный, что ли?

* * *

Сорокин уставился в затертый костяшками стол, тербит рукавицы, не свои — катковские. Тягостен ему предстоящий разговор, но куда не денешься. Неуклюже начал:

— Слышал, что ты уходить собираешься. Правда это?

— Да, вчера отнес заявление, — ответил Анатолий, не глядя на бригадира.

— А причина какая? Может, обиделся тогда? Ну, когда я не заступился, а Уланов послал тебя в ночную смену. . .

— Обиделся, конечно. Да уже давно забыл. Не бери в голову, что из-за этого уйду. Не нравится мне здесь. Как подумаешь, что надо лезть в грязный цилиндр или махать кувалдой, на работу идти не хочется. Раньше я в лаборатории слесарил. Тихо, спокойно. И интересно было. Платили только негусто, а тут как раз в новую квартиру переселились. Мебель нужна, телевизор хороший, то, другое. Пошел в отдел кадров — послали в тридцать третий цех. Там гарь, духота, брызги от электросварки летят. Нет, думаю, это не для меня. Посмотрел — и назад. Тогда к вам направили. А здесь немногим лучше, да и деньги нам уже не так нужны.

— Не знаю, Толя, почему у нас тебе не понравилось, — с обидой сказал Сорокин. — Работа, сам знаешь, необходимая, ответственная. Правда, немножко однообразная. Так мы не развлекаться сюда ходим. — Алексей помолчал, чувствуя, что нисколько не убедил Каткова. — И куда собираешься поехать?

— Думаю, из цеха меня не захотят отпустить, пошлют искать другое место. Я уже договорился на участке приспособлений. Платят там, конечно, меньше, зато работа спокойная. И выходных, как положено, два.

— Ну что у них за работа! — воскликнул Сорокин. — Выпускают разную мелочь. А мы ведь турбины сдаем!

— Мне это все равно. Я за всю зиму всего три раза выбрался на рыбалку.

— Ты рыбалкой увлекаешься? — удивился Алексей скрытности Каткова: рыбаки ведь любят прихвастнуть.

Анатолий улынулся.

— Как же! Хочешь, возьму с собой? Красота!

— Да нет, спасибо, я домосед, — отказался Сорокин и вернулся к прежней теме: — Значит, не хочешь у нас оставаться?

— Никак не могу, — виновато сказал Анатолий. — Ребята в бригаде хорошие, но не могу. Каким-то пришибленным себя чувствуешь. В лаборатории обращались: Анатолий Васильевич, сделайте, пожалуйста, то-то и то-то. А здесь вроде работа.

— Ты об Уланове?

— И о нем.



— Слушай, Толя... Если тебе его поведение не нравится, почему же ты молчал? Боялся, что на зарплате скажется?

— А что я скажу? Все как будто правильно, он же не с кулаками бросается. Да и как скажешь? Подойдешь и выложишь, что о нем думаешь? Не хочу трепаться, как Вовка Королев. Тебе, что ли, жаловаться, а зачем?

— Все мы виноваты, — задумчиво сказал Алексей. — Когда надо говорить, молчим. Неудобно, видишь ли, нам... На чужого дядю надеемся. А ведь все от нас самих зависит...

— Правильно, — равнодушно согласился Катков и, помолчав, предложил: — Пойдем-ка мыться, поздно уже.

— Ты бы, Толя, все-таки не торопился менять место, — сделал последнюю попытку Сорокин. — Подумай хорошенько.

— Ладно, я подумаю.

По тому, как легко согласился Катков, ясно было, что решение его окончательное.

Действительно, зачем Каткову ради бригады отказываться от своей пользы? Нашел место получше — пусть устраивается. И осуждать его за это нельзя. Удрученно чувствовал себя

Алексей. Ну, увольняется человек — подумаешь, событие! Его, Сорокина, вины в этом нет, да и не ему людей судить — своими-то интересами ради другого он не поступился. . . И однобригадников своих не знает. Год рядом с Катковым проработал и не догадывался, почему тот неохотно соглашался выходить по субботам. . .

XII

Электричка вот-вот тронется. Через вагон шли вереницей люди: многим ведь кажется, что впереди лучше, свободнее. Алексей, как обычно, пристроился у окна, задумался. Не рад был, что пришла ему ненароком нелепая мысль о злосчастной квартире, виноватым чувствовал себя перед Машкой, перед ее детьми. Вряд ли нашелся бы человек, который бы его упрекнул, а Сорокин все терзал себя без толку. Стал завидовать людям, не имеющим проблем, самим собой же сочиненных.

— Можно присесть рядом с вами?

Алексей вздрогнул — над ним стоял мужчина средних лет, в мохнатой шапке, белом полушубке.

— Не занято, — сухо ответил Алексей.

Он сразу определил, что мужчина, а для него скорее парень, немного выпил, ищет собеседника. На улице не так уж холодно, а щеголяет в овчине. Мода такая. Раньше Сорокин в такой одежде дрова рубил и воду таскал, а сейчас, гляди-ка, считается высшим шиком. Алексей усмехнулся про себя: дождешься, лаптями станут друг перед другом похваляться.

— С работы едете?

— Точно, — буркнул Сорокин.

Привязался парень, теперь до самой станции будет надоедать. Терпеливо слушал, как тот болтал о своих личных пустяках, поминая какую-то Вальку, и все приговаривал: «Я тянул слегка. Деньги есть, почему не выпить, правда?» Потом Алексея начал выпытывать: где работает, сколько получает. Услышав цифру, восхитился: «Ого, порядочно!»

Сорокин предложил:

— Поступай к нам, люди всегда нужны.

— Ну, что ты, мне на хлеб с маслом хватает. — Многозначительно помолчал и, видимо, ожидая изумления, сообщил: — Я больше пятисот имею!

— Ты что же, министром служишь? — равнодушно поинтересовался Алексей.

— Ха, министром! Администратором в кафе. Борщи там, гуляш, портвейн. Голову имеешь — не надо быть министром. Со всего навар снимешь. Ты, конечно, не обижайся, но если котелок не варит, вкалывай руками, живи на зарплату. В наше время деньги валяются на дороге — только нагибайся!

— Спишь спокойно? — презрительно спросил Сорокин.

— А что? А, ты про это! Не беспокойся, все в рамках закона.

— Напрасно ты, парень, сообщил мне, где работаешь, — с угрозой сказал Алексей. — Ты же за наш счет живешь! Вот сообщу твоему начальству, пошлют к нам в бригаду на перевоспитание! Уж там мы тобой займемся!

— Ха, напугал! Нас на пушку не возьмешь! Ну ладно, ты выполняй и перевыполняй, а я пойду приятеля искать.

«А все-таки испугался, — удовлетворенно подумал Алексей. — Гонять таких надо! В свою норку гребут, паразиты! Да если бы у Витьки такие замашки появились, из дому бы выгнал, сказал бы: ты мне не сын...»

«А вот откажись, откажись от своего блага! — ехидно сверлила мысль. — Так я же честно заработал, — в который уж раз убеждал себя Алексей. — Тоже, сравнил себя с проходимцем! . . А надо с Полиной потолковать! — пришло в голову. — Как она скажет, так и будет».

После ужина небрежно, как о пустяке, заявил:

— Решил я, Полина, уступить квартиру Никитиным. А мы немножко подождем.

А у самого такое чувство было, словно бросился в холодную воду.

— Ты . . . шутишь? — изумленно спросила жена.

— Какие шутки, — устало отозвался Сорокин. — Так надо, не могу иначе, стыдно. Ты же знаешь, в каких они условиях живут.

— Тебе, значит, чужая семья дороже своей! — зло выкрикнула Полина. — Все забирай, все раздавай! Пусть пользуются! Нам ничего не надо!

Алексей растерялся. Он ждал спокойных, обоснованных возражений, а получилась настоящая истерика.

— Успокойся, Полина. Давай по-хорошему обсудим.

Но она плакала, закрыв лицо руками. Сорокин, подавленный, огорченный, грузно ходил по гнущимся половицам. Шибко не разгонишься — три шага туда, три назад. Гремела ве-

селя песенка. На экране вихлялась красивая девица в тельняшке и черных брюках. И телодвижения, и улыбка словно говорили: все ерунда, надо развлекаться и веселиться. «Ишь, зебра полосатая, распелась!» — раздраженно подумал Алексей и выключил звук. Певица нелепо разевала безмолвный рот. «А, черт, надо Полину успокоить. И зачем затеял этот разговор? И себе и ей испортил вечер. Да только ли вечер?»

Сел рядом с женой, погладил по голове.

— Ну нельзя же так, Полина. Хватит.

— Ты о Витьке подумал? — вскинулась жена. — Куда он денется, если решит жениться?

Сорокин ухватился за слова, чтобы отвлечь Полину.

— Рано ему жениться! Пусть после армии хоть года три поработает. А то не оперились еще, а семью заводят. Родители еще не успеют с долгами за свадьбу рассчитаться, а они уже в разные стороны.

— Я уже за мебель деньги внесла, — жалобно сказала Полина. — Думаешь, просто было договориться? Сколько по знакомым побегала, пока нашли нужных людей.

— Мебель продать можно. Ну их к богу в рай, этих «нужных» людей. Встретил сегодня подобного — с души воротит.

— Ты уже, наверное, всем там растрезвонил? Со мной даже не посоветовался, как будто один живешь. . .

— Никому еще не говорил, — признался Сорокин. — Как же я мог без тебя?

Полина облегченно вздохнула.

— Вот и хорошо! Правильно, что помалкивал, а то прослыл бы трепачом.

Казалось бы, все выяснилось, надо быть довольным: не согласна жена — ничего не попишешь. Теперь и голову больше не надо ломать, и совесть чиста. Однако Алексей не мог успокоиться.

— Я же тебе рассказывал, как меня в блокаду спасли незнакомые люди. Может быть, они из-за меня погибли. . . А от меня какая польза? Кому я помог?

— То в войну было. . . Сейчас другое время, — убежденно сказала Полина. — Если бы кто умирал, я бы ничего не пожалела.

— Да пойми ты! — в отчаянии крикнул Сорокин. — Они последний кусочек хлеба отдали! А мы насчет чего жмемся? Крыша ведь есть над головой!

— Нет моего согласия! — твердо заявила Полина. — Выкинешь фортель — развод! Я тоже хочу жить по-человечески!

— Нет так нет, — угрюмо отозвался Сорокин. — Хватит спорить. . . Пойду дрова колоть.

— Так там еще готовых на полгода хватит.

— Запас не помешает.

Падал мокрый снег. Вот тебе и весна: начали уже листья проклевываться — и снова слякоть. А на душе и без того мурно. «Нет в Полине сочувствия к чужой беде, — думал Алексей с ожесточением. — Разве обязательно надо дожидаться страшного времени, чтобы помочь ближнему!»

Сорокин расколол несколько чурок, поленья вывозил в грязь. Вернулся домой. Весь вечер они с Полиной избегали глядеть друг на друга, перебрасывались ничего не значащими словами. Обоим было неловко, не привыкли к отчуждению.

Утром Алексей не слышал, как поднялась жена. Очнулся, когда она потрясла за плечо. Живо спрыгнул на пол, быстро начал одеваться. Вспомнил вчерашний разговор, и настроение испортилось. И нога вроде ощутилась заныла, и усталость почувствовал, и сегодняшняя смена представлялась суматошной и тяжелой.

— Что бирюком смотришь? — спросила Полина. — Не выспался? Или нога болит?

— Нет, ничего, — через силу ответил Сорокин.

— Знаю почему! — невесело сказала жена. — На меня обиделся. . . Я думала-думала. . . Все ты на особицу, все у тебя не по-людски. Ну что с тобой поделаешь? Ладно, уступим квартиру Никитиным. Может, нормально станут жить. Ты хоть, когда Витька вернется из армии, добейся площади.

— Да ты у меня молодец! — Алексей вскочил со стула. — Да теперь я. . . — И от избытка чувств начал уверять: — Здесь совсем неплохо жить. Зелень, тишина. Когда-то, говорят, здесь Тургенев с Некрасовым охотились.

— Не агитируй, — смущенно засмеялась Полина. — Ты ешь быстрее, на электричку опоздаешь. Заспался сегодня маленько.

ХIII

Вода полилась через край отверстия в цилиндре. Сорокин перекрыл систему, взобрался наверх, вынул шланг. В отверстие забил деревянную пробку. Махнул рукой Никитину, сто-

явшему у насоса: можно «давить». Тонкие латунные трубки задергались, погнали воду с силой в пятьдесят атмосфер. Алексей почти наглядно представлял, как изнутри цилиндра вода вдавливается в мельчайшие раковины, трещинки, пробивает слабые места и кое-где просачивается наружу. Для того и испытывают цилиндры, чтобы обнаружить изъяны.

Вышибло деревянную пробку. Струя воды ударила под потолок. Пока она падала вниз, разбиваясь на брызги, Алексей успел неторопливо отойти в сторону. Красивый фонтанчик получился. Борис заулыбался, глядя на него, помахал рукой.

Испытание — венец работы гидравликов. Прежде чем начать его, многое нужно сделать: поставить вал с внутренними и внешними заглушками, вырубить прокладки, зачистить разъемы, подсоединить верхнюю половину и, наконец, кувалдой «обжать» двухпудовые колпачковые гайки. Года четыре назад их заколачивали увесистой чушкой, подвешенной на тросах. Потом придумали разогреть электричеством и добивать кувалдой. Тяжело, но значительно быстрее. Сорокин мечтал изобрести приспособление, чтобы вовсе не пользоваться кувалдой. Кое-какие идеи появились, но до решения далековато. Удастся — большое будет облегчение. «Надо всю бригаду подключить! — вдруг осенило. — Пусть тоже кумекают. Не будут жаловаться, что скучно».

Алексей свернул металлические пробки. Снова включили мотор. Теперь нужно было внимательно осмотреть лоснящийся литой цилиндр. Подошел Борис.

— Полезли под стенд блох ловить?

Сорокин пристально посмотрел на него — любопытно, что у парня на уме. По внешнему виду кажется, будто не очень-то он страдает. «Скоро перестанешь взбрыкивать, забудешь о Терезе!» — насмешливо подумал Алексей.

С лампами-переносками тщательно исследовали влажную поверхность металла, досуха вытирали подозрительные места, выжидали, не мелькнет ли капелька воды, и мелом обводили течи. Никакого умения для этого не требуется. Но обязанность не из самых приятных — лесенка скользкая, сверху каплет холодная вода. Бывает, что и нервы не выдержат, раздражаешься, злишься. А сегодня Алексей только посмеивался, если за шиворот попадала щекочущая капля. На душе было легко.

После осмотра цилиндра оставалось самое легкое — выпустить воду и позвать сварщиков. Ослабили заглушки — с двух сторон хлынули прозрачные водопады, и показалось, будто за-

пахло лесом, рекой. Сорокин по-детски обрадовался, отвернул сразу два болта, чтобы мощнее стал поток.

Подошел Борис.

— Ого, какое устроил наводнение. А на моей стороне, как положено, чуть льется. Смотри, станки затопишь.

— Не первый раз. Знаю, как надо.

— А мне вчера Машка звонила, — задумчиво сказал Борис. — Плачет. Ты, говорит, конечно, найдешь другую женщину, а дети останутся без отца. В клуб, говорит, ходи, дуди в кларнет. Не в дудке дело, конечно, — виноватой себя чувствует. . . Теперь вот думаю: видать, надо подаваться к семье. . . Опять этот барак. . .

— Все, Боря, будет по-другому, — уверенно заявил Сорокин. — Хорошо заживешь, если сам, конечно, скотиной не будешь.

Люди казались ему сейчас добрыми, отзывчивыми. Если он смог переступить через собственный интерес, стало быть, на это способны и десятки, и сотни, и тысячи. Не думал он раньше, что отказаться ради кого-то от своего блага — значит, доставить радость прежде всего себе. И все же щемило сердце, когда вспоминал, что неизвестно еще сколько времени ютиться в старой комнатке. Пока еще ничего, а через год Витька вернется из армии. . .

XIV

Руки привычно держали шабер. Пластинка из прочной стали легко снимала почти неприметные для глаза стружки, которые прочерчивали в воздухе дымные мгновенные следы. Со стороны кажется, будто металл сдирается сам собой. Но дай новичку инструмент — будет лишь царапать поверхность, а через несколько минут взмокнет, опустит занемевшие руки. Алексею нравилось наводить блеск, приятно было сознавать, что после его работы разъемы двух огромных половинок цилиндра будут пригнаны один к другому с точностью до десятых долей миллиметра.

На другой стороне гигантской стальной раковины Ким Коваленков шабрит. Увлекся, головы не поднимет. Захотелось сказать ему что-нибудь приятное — показалось, будто расстроен он чем-то.

— Не устал? А то бы покурил малость?

Ким посмотрел несколько растерянно, махнул рукой и снова скоблит металл. . .

Выскакивают из-под шабера тонкие стружки, все длиннее, полоска свежего, матово блестящего металла.

— Обогнать меня хочешь? — крикнул Коваленков. — Ну-ка, давай, кто кого!

Разошелся Сорокин, ни одного лишнего движения не делает — неудобно перед Кимом лицом в грязь ударить. Праздничное настроение, легко работается.

— Леша, тебя Уланов срочно требует! — раздался голос Королева.

— Что такое? — спросил, мельком взглянув на него.

— Трубу на цилиндре надо выпрямить.

— Эх, черт! Не дают как следует развлечься! — с досадой воскликнул Алексей.

Уланов встретил неласково.

— Почему погнута труба? Куда вы смотрели! Если я случайно не заметил, так бы и погрузили?

— Мы здесь совершенно ни при чем, — спокойно возразил Сорокин. — Стропали напортили, с них и спрашивай. И вообще мы слишком много выполняем чужой работы.

— Меня не интересует, кто прав, кто виноват, — сухо сказал Уланов и напустился на Володю: — Ну, что стоишь, рот разинул? Беги за сварщиком!

Королев не тронулся с места, вопросительно посмотрел на бригадира.

Алексей как бы подтвердил приказание Уланова:

— Сходи, Володя, позови.

«Ну что поделаешь с Улановым! — сокрушенно подумал Алексей. — Характер у него такой, что ли?»

Помялся и выпалил:

— Все-таки ты смотришь на нас, как на бездушные механизмы!

Уланов изумленно посмотрел на него, снял очки, протер и снова надел.

— Леша! Что с тобой? С левой ноги встал? Утомил ты меня своими разговорами!

— Надо мягче быть, человечнее, — твердил свое Сорокин.

— Смотри-ка, у меня на участке христосик объявился! — преувеличенно удивился Уланов и оборвал себя: — Ты лучше вот что сделай: завтра обеспечь явку бригады на цеховое со-

брание. Хоть человек пять вытаци, вечно они разбегаются. Кстати, вам присудили за квартал второе место. Готовьте мешки для денег.

— Постараюсь собрать народ, — пообещал Алексей и полусерьезно добавил: — Смотри, Евгений Петрович, выступлю на собрании против тебя!

Уланов иронически протянул:

— Ты еще и оратором хочешь заделаться? Да выступай, ради бога, сколько хочешь! А сейчас проследи, чтобы трубу выпрямили и покрасили.

Наверное, обиделся. Не понимает, что ради его же блага прицепился к нему Алексей. Парень он молодой, способный, а с таким нравом ему большого хода не будет. Да и другим людям от него вред. Уланов вроде больного, который упрямо считает себя здоровым. Начнешь ему потакать — ничего хорошего не получится. Любой человек, если захочет, может переломить себя. . . «Вот насчет собрания зря заикнулся, — пожалел Сорокин. — Получилось, как будто ему угрожаю. . .»

— Что это Уланов пошел от тебя с кислой физиономией? — усмехаясь, спросил вернувшийся Володя.

— Откуда я знаю! — сказал Алексей. — А ты напрасно злорадуешься. Может, у человека неприятность.

— Ничего ему не сделается! — Володя махнул рукой. — А ты сегодня какой-то не такой. Будто тысячу рублей в лотерею выиграл.

Сорокин улыбнулся.

— Какая там лотееря. Больше рубля никогда не удавалось получить. . . Знаешь, бригаде второе место дали. Оценили все-таки нас. . .

— Мне-то что от этого! Уланов снова лишит премии.

— Не лишит! — твердо сказал Алексей. — А все-таки ты слишком на него взъелся.

Володя только пожал плечами.

Тем временем газосварщик докрасна раскалил трубу. Алексей взялся за кувалду.

— Подержи лесенку.

— У меня у самого еще руки не отвалились, — сердито сказал Королев. — Ты руководи, нечего тебе наверху торчать! Силы у меня, наверное, побольше. . .

И вырвал из рук кувалду. Сорокин покорился — не драться же! Он видел, что Королеву трудно — как следует не размахнешься, удушливо горит краска, ненадежная лесенка качается.

— Слезай, Володя, — виновато сказал Алексей. — Дай-ка я попробую.

Королев буркнул:

— Отстань! Сам справлюсь.

Труба остыла. Володя спустился, сказал сварщику:

— Ну-ка разогрей как следует.

— Хватит тебе, Володька, — смущенно сказал Сорокин. — Не могу в стороне стоять. Что я тебе — погоняла?

— Обойдемся. А вдруг ты с лесенки грохнешься? Что мы тогда будем делать без бригадира?

Сварщик постарался — от трубы заструилось зеленое сияние. Даже на расстоянии острый запах краски резал ноздри. Володя бил кувалдой, стиснув зубы. На лице играли красные и зеленые блики. Сорокин чувствовал себя неловко — получалось, что за него кто-то работает. «С чего это Володя стал таким чутким? Кувалду из рук вырывает. А мне бы с больной ногой там не очень-то весело было». Каждый удар болезненно отдавался в нем, напоминал, что он ничего не делает.

Наконец Володя отбросил кувалду в сторону, спустился вниз.

— Готово, можно звать контролера.

— Силен, Володька! Быстро управился.

Королев усмехнулся.

— Захочешь — так трубу узлом завяжешь.

«Хороший парень, — растроганно подумал Алексей. — А что же на него временами накатывает?»

Он сходил за контролером, сдал работу и вернулся на другой конец пролета к цилиндру. Кима, конечно, теперь не догнать, не получилось соревнования.

«Зря я, наверное, ввязался не в свое дело, — вспомнил Алексей разговор с Улановым. — Да почему же не мое! И от меня ведь хоть кое-что зависит. Одним выступлением, конечно, человека не исправишь, а все-таки будет чувствовать, что не одобряют его. Ну, с чего я тушуюсь? Подумаешь, большое событие — перед народом сказать несколько слов!»

XV

Во время перерыва в бытовку зашел Катков.

— Беглец явился, — добродушно приветствовал его Володя. — Как живется на легких хлебах? Соскучился, значит, по «водолазам»?

Катков присел на краешек скамейки. Скванно держится, чужим себя чувствует. «А может быть, еще вернется к нам?» — подумал Алексей.

— Неплохо живется, — без особой радости похвастал Катков. — Пятый разряд присвоили, работа спокойная. Тихо на участке.

— Правильно, Толька, сделал. Это мы боимся тронуться с места, — нравоучительно сказал Борис Никитин. — Прохожу по их пролету, а Толька сидит на стульчике, гайки закручивает. Самый большой ключ у них девять на двенадцать, двумя пальцами можно держать. Тебе бы так, Леша, — обратился он к Сорокину. — Не отказался бы?

— Не хочу на стульчике сидеть! В движении, как говорится, жизнь. Да я бы там уснул! Это для пенсионеров работа...

Влетел Уланов.

— Никитин здесь? Давай, Борис, жми в завком. Звонили, чтобы срочно зашел. Какой важной птицей стал! Бегай, ищи его!

— Откуда они меня знают? — удивился Никитин. — Не ворили, зачем понадобился?

— Откуда мне знать. Мне из таких высоких сфер не докладывают.

— Вот дела... — растерянно пробормотал Борис. — Надо идти.

Они ушли с Улановым, а ребята начали строить предположения, что такое натворил Борька, чем провинился или отличился?

«Все в порядке», — удовлетворенно заключил Сорокин. Ему пришлось побегать, прежде чем удалось переоформить документы на Никитина. В завкоме он просил не говорить, откуда вдруг появилась квартира. Со временем все, конечно, узнают, но лучше позднее, чем сейчас. Интересно, как однобригадники отнеслись бы к новости? Сперва, наверное, смотрели бы как на ненормального, а разобравшись, поняли бы, что ничего необыкновенного Сорокин не совершил.

Борис вернулся радостно-ошеломленный. С порога закричал:

— Ребята! Мне квартиру дают! Совсем не ожидал. Говорят, месяца через полтора можно вселяться!

Бригада зашумела.

— С тебя причитается!

— Зови всех на новоселье! Сплошной праздник у нас! У Сороки погуляем, потом у тебя!

— А говорил, когти надо отсюда рвать!

— Вот не ожидал! Чудеса какие-то! — бормотал Никитин, не находя себе места. То присядет, то вскочит. — Справим, ребята, новоселье, обязательно справим!

— А ты, Леша, не забыл, что обещал? — спросил Королев. Алексей отшутился:

— Если и забуду, ты десять раз напомнишь!

— А Борька у нас теперь завидный жених! — усмехаясь, вернул Ким. — Одинокий, с квартирой. . .

— Нет, ребята, кончилась командировка! — воскликнул Никитин. — Теперь хочешь не хочешь, надо ярмо надевать на шею. Теперь, может быть, ладом все получится. Чуть что — есть место в квартире спрятаться.

Бориса поздравляли, хлопали по плечу. Алексей радовался, что бригада так близко к сердцу приняла Борькину удачу. А ему самому предстоит сегодня неприятное дело. Он подождал, пока все затихли, и объявил:

— Братцы, сегодня никуда не разбегайтесь. Без пятнадцати четыре собирайтесь на площадке.

— Это зачем? Банкет устраиваешь из бригадирского фонда?

— Знаете же, что присудили нам второе место. . . Все должны быть на собрании!

— Подумаешь, собрание! — пренебрежительно сказал Королев. — Время зря терять!

Остальные промолчали. Сорокина задело всеобщее равнодушие, как будто не они хозяева в цехе, на заводе. Привыкли стоять в сторонке. «Ишь ты, себя уже записал в общественники!» — тут же устыдился Сорокин, но все же сказал:

— По углам все горазды обличать! Порядками недовольны, на Уланова обижаются. А кто мешает критику навести? Вот ты, Володя, трусишь в глаза, перед всем народом обличать?

— Я трушу? — вскричал Королев и тихо спросил: — Чего мне бояться?

— Не знаю.

— Боишься! — Ким неожиданно поддержал Сорокина. — И ты, Борька, трусишь, и ты, Леша, мандражишь!

— Есть маленько, — согласился Алексей. — Ну, если никто

не рвется, я скажу от бригады несколько слов. Не возражаете?

Королев рассмеялся. Чуть погода воскликнул:

— Ничего себе! Леша решил в ораторы податься! Говорил же я, что он какой-то не такой стал! Надо, ребята, двигаться на собрание, нельзя упускать редкий момент. Вот это номер — Сорока на трибуне!

— Вовка, цирк ждет, — сказал Ким и похлопал Алексея по плечу. — Не бойсь, Леша! Если что, мы тебя поддержим. . . с места.

Сорокин просительно выговорил:

— Хоть четверо останьтесь. Не подведите меня, братцы. Я Уланову обещал.

* * *

Председатель цехкома приводил цифры, называл имена передовиков, в том числе и Сорокина. Услышав свою фамилию, Алексей вздрогнул и от неожиданности, и от того, что сидевший рядом Ким сильно ткнул его в бок. «Зря мне приписывают чужие заслуги, — подумал Алексей. — Бригадиром-то я чуть больше месяца. Да и какая доблесть — хорошо работать. За это нам деньги платят. Работаем, чтобы лучше жилось, а сами портим жизнь. . .» Разве цифра важна! Почему никто даже не упомянет, как мы друг к другу относимся? Иной ведь на своего товарища, как на врага, кричит, пользуясь в основном «черными» словами.

— Кто еще хочет сказать? — спросил председательствующий.

«Надо мне, иначе не решиться!» — приказал себе Алексей и будто прилип к скамейке. Как удобно было бы сидеть за спинами, слушать вполуха, что другие говорят. . . Он резко выбросил вверх руку.

— Слово имеет Сорокин, бригадир гидравликов.

Алексея пот прошиб. Неуклюже, словно преодолевая встречный поток воды, он прошел вперед, остановился возле обтянутой красным ситцем трибуны, похожей на избирательный ящик. О многом ему хотелось сказать, но сумеет ли, поймут ли?

Несколько секунд он растерянно смотрел в зал. С чего начать? Приготовленные слова выскочили из головы. А, не тушуйся! Все здесь свои, чего стесняться? Вон «водолазы» зани-

мают чуть ли не полряда. Даже Борька Никитин остался. Глядят на него с выжидательным любопытством.

— Товарищи! — сказал Алексей чужим хриплым голосом и запнулся.

— Давай, Сорока, начинай, не тяни резину! — раздался подбадривающий голос.

По рядам прокатился смешок.

Алексей шумно вздохнул, вытер платком лысину.

— Вот мы делаем такое большое дело... Для людей же делаем, а не просто так. И, значит, мы должны друг к другу относиться по-людски, с уважением. А не все это понимают, особенно те, кому по должности положено...

В помещении Красного уголка, где проходило собрание, стало тихо.

Сергей Сорокин

КОРАБЕЛ

Там, где кончается берег,
море качает суда.
Как мне хотелось поверить
в ритм заводского труда,
в чудо рождения судна,
что у причала стоит. . .
Шел я дорогою трудной,
чтобы себя утвердить.
Грезилась ночью деревня
с синею магией звезд,
снились луга и деревья —
так, что по коже мороз.
Блеск электрической сварки,
грохот кувалд и станков
клали меня на лопатки
после горячих часов.
Но открывались границы
всех континентов Земли.
Словно весенние птицы,
плыли мои корабли.

* * *

Я на завод пошел рабочим,
ничуть не пожалев о том,
что жизнь свою сосредоточил
не за столом,
а за станком.
Когда не пишется ночами —
в чреде сменяющихся дней,
меня зовут мои причалы
и вспышки сварочных огней,
где пахнут краской и металлом
новорожденные суда.
И на лице моем усталом
печать нелегкого труда.
И в этом есть святое что-то,
непостижимое пока:
моя любимая работа
и вдаль зовущая строка.

Николай Севастьянов

СТАРЫЕ РАНЫ

Когда украдкой вздыхала мать
И горсть тепла несла к груди
в ладонях —

Сестренка забиралась на кровать,
Все на мгновенье
Замирало в доме.

Корнями молнии гром тучи разрывал,
Звенели стекла, вздрагивали рамы. . .
Как будто мир того не понимал,
Что у отца
в ненастье
ноют раны.

ЗЕРНА

Родные неоглядные просторы!
Здесь в пору жатвы дорог каждый день.
Я слышу вновь колосьев спелых шорох,
Стальной России солнечную звень!
Я здесь рожден!

И материнский голос
Свою любовь мне отдал на века. . .
Беру в ладонь литой тяжелый колос,
И зерна жизни чувствует рука.

Борис Орлов

ГРУЗЧИКИ

В тесной комнате воздух сперт,
Спотыкаюсь меж грязных груд.
Бригадирский характер крут,
Бригадир материт, как черт.

Он бывалый, знать, человек,
На руках голубая вязь.
Бьют без промаха из-под век
Воронье зрачки, искрясь.

Я родителями одет
И родителями обут,
Но упорно искал ответ:
Чем людей возвышает труд?

«Денег хвátит у нас, дружок.
Не спеши. . .» — говорил отец.
Бригадир, ухмыляясь, жег:
«Все равно убежишь, стервец!»

Но, когда я валился с ног
И от пота насквозь промок,
Он помог донести мешок,
Прошентал: «Отдохни, сынок».

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

Как вены,
Подходят степные дороги
Сюда, словно к сердцу.
Здесь рота легла.
И кажется тополь
Бойцом одноногим,
Которого память
К друзьям привела.
Склонился к земле —
Сиротлив и серьезен
Над ширью спасенных
Российских полей.
И кажется:
Скрипы ветвей на морозе
До боли похожи
На скрип костылей.

Александр Люлин

УТРО ПЕРЕД СНЕГОМ

Деревца в мохнатом инее
серебра и алюминия.
Филигранью хрупкой скручены
их тончайшие конструкции.

Так отчетливы подробности,
все до мелочи подмечено,
что отнять-прибавить нечего
к завершенной этой строгости.

Над землей морозно-каменной
они замерли, помедлив. . .
Листья словно отчеканены
из каленой красной меди.

Сувенира магазинного
не хочу и не люблю.
Я сломаю ветку в инее
и на свитер приколю.

ПЕРЕМЕНА ДЕКОРАЦИИ

Влажные первоцветы выпали,
первый большой снеголет.
Улица с мокрыми липами
в хмурое небо плывет.

Снег прикрывает поспешно,
словно стыдясь наготы,
рощицы покрасневшие,
мерзлой калины кусты.

А на молоденькой яблоньке,
свежим снежком припорошено,
висит одинокое яблоко —
словно улыбка из прошлого.

Анна Сухорукова

СОТВОРИ СЕБЕ ДОМ

ПОВЕСТЬ

Дома стояли друг против друга. Окна смотрели в окна, как смотрят иной раз люди в глаза друг другу — прямо и не мигая.

Лешка села на подоконник и продекламировала:

— «Строитель, возведи мне дом... без шуток, в самом деле».

Первая половина фразы звучала патетически, а во второй неожиданно зазвучал упрек. Но упрекать Лешке было абсолютно некого и, самое главное, не за что. Разве что благодарить.

— «Построй мне дом, меня любя...» — Лешка нежно провела рукой по стеклу, как погладила. — «Чтобы леса росли на нем и птицы чтобы пели». Главное, чтобы птицы пели, — сказала Лешка убежденно и толкнула раму. Рама прошипела что-то долгое и сердитое, словно она была не рамой, а пневматической дверью автобуса, и, неожиданно громко скрипнув, вылетела на улицу. — Ай! — выдохнула Лешка и в ужасе прижала руки к груди.

— Елена! — раздался с кухни бабушкин голос. Лешка замерла. — Я хотела бы знать, чем ты занята?

Лешка осторожно водворила раму на место.

— Ничем!

Что-то неясное случилось с комнатой напротив. Окно блеснуло, словно подмигнуло, и Лешка сразу уловила этот знак. Всмотрелась, но ничего не увидела. Комната напротив, как две капли воды похожая на ее собственную, была безнадежно пуста. Ай-я-яй! Но все-таки что-то там происходило. Лешка сложила ладони биноклем и разглядела — медленно открывается дверь.

— Ну же! Ну!

Но дверь не торопилась — просвет в другой мир не увеличивался.

— Ну что же это в самом деле! — Лешка в возбуждении забралась с ногами на подоконник. — Ну же!

В дверь что-то протиснулось, наконец повернулось и оказалось парнем, — было понятно, почему дверь открывалась так медленно: в руках у парня — чего там только не было, всего Лешка разглядеть не могла, но чайник, две бутылки, то ли молока, то ли кефира, полная тарелка чего-то, стакан, батон, а в зубах — ну да! — вилка и нож. Лешка тихонечко завизжала. Интересно, донесет или не донесет?

Блюмп! Бамп! Пумп! Лешке даже показалось, что она слышит, как выпрыгивают у парня из рук батон, стакан и все это шлепается на подоконник. Кажется, благополучно. Уф! Лешка перевела дыхание и тут же получила подзатыльник. Не больно, но увесисто. Лешка стекла с подоконника и, ловко увернувшись от второго подзатыльника, ввинтилась в узкую щель между бабушкиной массивной фигурой в красном переднике и ослепительно белым косяком двери.

— Хох-хоп, — крикнула она из кухни, — пришел поп и хлоп!

— О боже! — горестно сказала бабушка, но Лешка ее уже не слышала. Открыв сразу все краны в ванной и на кухне, она бегала между ними, пританцовывая, и кричала: «Хоп-хоп!» Затем, схватив оба ведра, потащила их в комнату и принялась стремительно мыть пол.

— О, дайте, дайте мне свободу, — взревела она радостно, — я свой позор сумею искупить!

На кухне бабушка звякнула конфоркой. Лешка перешла на шепот: она знала, что бабушка не очень любит ее пение.

— Я свой позор сумею искупить, — запела она беззвучно. — Вне всякого сомнения, сумею, — сказала Лешка громко и закружилась по комнате, размахивая мокрой тряпкой, как платочком.

— Ох, лышенько! Ох, горе мое!

Лешка замерла с тряпкой над головой.

— Язычница ты несусветная. Плетки на тебя нет.

Лешка опустила тряпку.

— А теперь детей нельзя бить, — сообщила она бабушке.

— Оно конечно, — согласилась бабушка. — Детей-то нельзя.

— Я сейчас, — сказала Лешка. — Я мигом, бабуля, все вымою. Ты не расстраивайся.

Бабушка постояла минутку, закаляя свой дух счетом до десяти и благими намерениями не обращать ни на что внимания: ну что зря расстраиваться, все равно ведь эти сорванцы превратят эту чудесную, прекрасную новую квартиру через полгода, а может быть, и раньше бог знает во что.

Через два дня Кустиковы переезжали. На своей узкой полутемной Колокольной они даже не заметили, что суббота солнечная, а прозрачное апрельское небо умыто голубой водой и все светится от радостного весеннего возбуждения. В скверике перед собором голуби и воробьи купались в пыли, а люди спешили с рынка с полными кошелками весенней зелени. Лешка раздула ноздри и всей грудью вдохнула воздух. Ей вдруг захотелось заплакать, но она рассмеялась. Алексашка толкнул ее в бок и спросил:

— Ты чего? А?

— Ур-ра!

Грузовик вылетел на необъятную ленту нового проспекта. Он начинался не видно где и терялся в серо-голубой дымке конца света. Дома, может быть, когда-нибудь и встанут в порядок, предписанный им планом, а пока они, как дети, выбежавшие на лужайку, стояли вразброд и причудливо, а вокруг — зеленые рвы и насыпи, островки кустарников, осколки полувысохших речек, а может быть, и просто болот. Здесь еще сильнее, еще яростнее светило солнце и совсем уже невозможно кричали птицы.

— Вот это да! — только и сказал Алексашка. — Вот это да! — и толкнул Лешку в бок.

— Да-а! — сказала бабушка и покачала головой. — Трудновато придется на первых порах.

— Я буду привозить продукты из города, — сказал папа. Бабушка махнула рукой:

— Из города! Голубчик, да ты рехнулся, что ли!

— Что делать, — сказал папа и, сняв кепку, запрокинул лицо к небу.

— Амброзия, — сказал Валерий и тоже запрокинул голову.

— Конец света, — сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Дела, — сказал шофер, вылезая из машины. Сняв кепку, он сел на ступеньку кабины, полез в карман за папиросами и забыл закурить.

Валерий и Дмитрий Дмитриевич были папины сослуживцы. Сначала Лешка думала, что они совсем взрослые, как папа. Но очень скоро увидела, что, хотя у Валерия борода, а у Дмитрия Дмитриевича борода и усы, они вели себя так же, как их мальчишки из 8-го «б».

А с Лешкой вели себя так, словно она старая барыня на вате, и называли ее Елена Казимировна. Лешке было смешно и непонятно, почему Казимировна, но когда она спросила об этом их, то они сказали, что и сами не знают почему. По всем вопросам они обращались только к ней и только у нее спрашивали, что делать дальше. От этого Лешка так расхрабрилась, что и впрямь стала давать советы.

— Сюда-сюда, — кричала она. — Вот так, чтобы падала тень.

— Тень! — горестно всплеснула руками бабушка. — Ей нужна тень!

— Мамаша! Тень нужна всем. Никто не может жить постоянно высвеченный солнцем, — сказал совершенно серьезно Дмитрий Дмитриевич.

Бабушка предусмотрительно замолчала.

— Казимировна, — теперь уже они и вовсе опустили ее имя и звали просто по отчеству, — куда это произведение прекрасного прошлого будем ставить?

Лешка устала сидеть на буфет, с макушки до пяток изукрашенный башенками, ящичками, гирляндами из плодов и листьев.

Там, на Колокольной, в полутемной прихожей с высокими и давно не белеными потолками, Лешка его попросту не замечала, как не замечала изразцового камина на их лестничной площадке и ангелочков с венками в вытянутых руках. А здесь?!

— Не украсить ли им перспективу пустыря? — спросил Валерий и ткнул рыжей бородой в пространство.

— Ты, борода, еще не дорос до понимания истинных ценностей, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Это несколько аляповатое и смешное наследие прошлого является трогательным и бесценным памятником эпохи, когда люди любили прочные и долго живущие вещи, — и он с пренебрежением посмотрел на кресло с одной дюралевой ножкой посредине.

Лешка не поняла, шутит Дмитрий Дмитриевич или нет, но буфет ей было жалко. Она вспомнила, как бабушка всегда извлекала из его пузатых недр сладчайшее варенье, сушеную малину и яблоки; вспомнила, как вкусно он пахнет внутри — ванилью, корицей и еще неизвестно чем — таким знакомым и родным, теплом и домом.

— Нет, — Лешка покачала головой. — Не украсим!

— А что украсим? — поинтересовался Валерий.

Лешка задумалась.

— Ну вот хоть сюда, — произнесла она не очень уверенно. — Сюда, — она ткнула в простенок между кухней и прихожей. — Здесь он будет в наибольшей тени.

— Ох, лышенько! — простонала бабушка. — Язычница! Сдалась тебе сегодня тень. А как мы ходить будем? Тень! Но я-то не тень, — решительно заявила она. — Увольте.

Все устались на бабушку. То, что она была не тень, не подлежало сомнению.

— Что будем украшать? — терпеливо повторил свой вопрос Валерий.

— Мы его поставим к папе в комнату, — сообщила Лешка.

— Прекрасно, — подхватил Дмитрий Дмитриевич. — Прекрасная мысль, которая выдержит любую критику.

— Заноси! — приказала Лешка упавшим голосом и ткнула в свою комнату. — Заноси, говорю, — взвизгнула она. — Пусть пьет мою кровь. Да задом наперед, задом наперед. Чтоб лицом к двери был. Поняли?

— Тьфу, — плюнула бабушка, — ну язычница да и только, — и пошла на кухню готовить еду.

А вечером, когда вся квартира благоухала свежевывымытыми полами, Лешка приколола к желтой в разводах спине буфета белые листы ватмана, и, как всегда, когда она видела чистый лист, что-то случалось с пальцами: словно подушечки закололо током — захотелось взять карандаш...

Лешка легла на тахту, выключила свет и зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела, что комната залита лунным светом. А еще минуту назад ослепительно белая стенка буфета

вдруг перестала быть белой и сделалась как стекло, занавешенное тюлем. Вначале тюль был ровным и плотным, а потом словно растаял и... появилась мама.

— Мама?

Мама кивнула:

— Лежи, лежи. Устала?

Лешка тихо угукнула.

— Хорошая квартира, — сказала мама.

У Лешки зашекотало в носу.

— Я рада, что вы будете жить в такой красивой квартире. И у тебя теперь будет отдельная комната.

Лешка проглотила горький комок, но побоялась подать голос, молча кивнула.

— Как Алексашка?

— Алексашка? — Лешка даже вскинула плечи. — Что Алексашка. Он-то тебя совсем не помнит!

— Не плачь, доченька. Не надо. В жизни нужно быть...

— Мужественной, — подсказала Лешка.

— Как бабушка? Она ведь совсем старенькая. Трудно ей с вами?

— Трудно.

— А как папа? — спросила мама очень тихо.

— Папа... — Лешка задумалась.

— Ты задумалась, доченька?

— Папа очень занят. Я его совсем редко вижу. Он то в командировках, то на работе.

— Ему плохо одному дома, — сказала мама. — Береги папу.

— Почему это одному? — вскинулась Лешка.

В глубине квартиры скрипнула дверь. И тотчас же до Лешки донесся запах папиной сигареты.

— Ну я пойду, — сказала мама.

— Подожди, — крикнула Лешка в отчаянии.

— До свидания, доченька, до свидания, моя хорошая, — сказала мама и ушла. На Лешку снова смотрела белая плоская стена.

— Зачем же ты ушла, мама? Мамочка, — горько пожаловалась Лешка.

Сигаретный дым сделался плотным.

— Ау, Алена! Ты спишь, Алёнка?

Лешка в темноте покачала головой. Папа не мог видеть,

как она покачала головой, но он вошел в комнату и сел на краешек тахты.

— Не спится, знаешь ли, — пожаловался он. — Совсем не спится в новой квартире.

Лешка кивнула.

— Мысли, — сказал папа. — И нашей мамы нет с нами.

Лешка вся сжалась под одеялом и больно закусил губы, чтобы не заскулить на весь дом.

— Доченька, давай устроим новоселье, — сказал папа. — Мама бы. . .

Лешка нашла в темноте его руку.

Они долго сидели молча. Наконец Лешка тихонько заплакала.

— Не плачь, Аленочка, — попросил папа.

— А я так, я не плачу. Давай устроим, — сказала Лешка. — Мама бы обязательно устроила.

В понедельник, после школы, Лешка поехала не домой, а на Невский, в магазин «Живопись». Лешка только там покупала себе карандаши и краски. Нина и Валя — продавщицы — знали ее. Валя раньше училась в их школе. Если появлялось что-нибудь интересное, как однажды французская гуашь, девочки звонили ей.

— А у меня теперь нет телефона, — сказала Лешка Нине. — Мы переехали. Зато у меня комната.

— Своя? Ну приходи почаще, — сказала Нина. — Смотри, я тебе карандаши оставила угольные. Как?

— Ага. Спасибо.

— У вас выставка в мае? — спросила Нина.

— Ага. Мои картины взяты. Чувство цвета у меня. Понимаешь?

— Поздравляю.

— Нина, хороших фломастеров нету?

— Есть.

— Мне для Алексашки. А то он мои таскает.

— Плати.

Лешка вышла на весенний Невский. По Мойке, торопясь и налезая друг на друга, бежали льдинки. «Торопитесь не торопитесь, все равно растаете. Весна!» Лешка свистнула. Нескольких прохожих обернулось. Но Лешка свистнула еще раз и независимо зашагала по улице.

Весь вчерашний день и полсегоднешнего она думала о том, что нарисует на белых листах ватмана, приколотых к спине буфета. Теперь Лешке нестерпимо захотелось уже быть дома, уже сидеть перед буфетом на низком стульчике, уже рисовать.

На нее смотрели слепые окна домов. На голых ветвях сидели большие черные птицы. Они хотели взлететь и расправляли крылья, закрывая ими горизонт и белую даль недорисованной улицы.

Лешка бросила искрошившийся карандаш — она устала: ее мозг и глаза хотели перемен. В окне напротив стоял, руки в карманы, раскачиваясь с носка на пятку, ее давешний знакомый — любитель носить все сразу. Он, наверное, тоже устал и тоже хотел перемен.

На следующий день, когда Лешка вернулась из школы, она увидела, что улица на ее буфете озарена желтыми лучами уродливого солнца. На полу сидел Алексашка, вокруг валялись купленные вчера фломастеры. Алексашка сопел и был явно собой доволен.

Лешка замахнулась было на Алексашку, но вдруг выбежала из квартиры. А на улице заплакала и тут же от удивления перестала. Сто лет она не ревела, даже не помнит когда, и вот... здрасьте!

— Папа, — позвала она.

Но папа был где-то, а Лешка была одна на совсем безлюдной, кое-как застроенной улице с уходящими вправо и влево и вдаль пустырями.

— Ну что я, — сказала себе Лешка. — Из-за какого-то солнца. Можно ведь приколоть новую бумагу и нарисовать новую улицу. А можно и вообще не улицу. Лошадь, например. С гривой.

Лешка задумчиво поскакала по раскрашенным цветными мелками «классам» и побрела домой. В бабушкиной комнате орал веселый, напористый голос: «Ай-я-яй! Упустил такую возможность. Сейчас шайба у Холика...»

Лешка тихонечко прокралась в свою комнату и увидела, что окна на ее картинке зажглись синими, красными, голубыми, зелеными огнями и все стало похоже на веселую афишу цирка. Лешка подошла к буфету и осторожно отколола разрисованный лист. Спина буфета была старой и выцветшей. Лешка погладила ее шероховатую поверхность и прижалась к ней щекой, скосила глаза и посмотрела на окно напротив. Там горел свет, но было безлюдно и уныло. Однако в комнате про-

изошли изменения: появилась раскладушка и два чемодана. Они стояли закрытыми и хранили свое содержимое угрюмо и безучастно.

Лешка вытащила новый лист ватмана, приколотая, села за стол и крупными буквами написала записку: «Еще раз подрисуешь что-нибудь — отдеру за уши со страшной силой. Понял?» И, подумав немного, подписала — «Лешка».

Хриплый голос пел: «Кис ми, беби». «Поцелуй меня, крошка, и мы пойдем с тобой гулять по парку. Только целуй крепче, а то прогулка получится скучной и можно будет вовсе не идти гулять. Целуй же меня, крошка, и помни, что нет ничего в мире ценнее и бесценнее поцелуя».

Маргарита Ивановна рассмеялась.

— А не так уж это неверно, — сказал Игорь Павлович.

— Угу, — согласился папа.

— Выпьем, — предложил Валерий. — Казимировна, пить будешь? За поцелуй?!

— Рано ей еще за поцелуй, — сказала бабушка.

— Ничуть, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — В этом деле страшнее опоздать.

Лешка рассмеялась. Она не могла себе представить: как это целоваться. То есть не вообще. В кино она видела, как целуются. И папа ее иногда целовал. И она папу. А вот не с папой. Лешка перестала смеяться. Раньше она и не думала про это. А сейчас вот подумала. Забавно. Ведь люди-то вообще целуются. Ну, остальные. Мужчины и женщины, как в кино, например.

— А я не люблю целоваться, — заявил вдруг Алексашка.

— Да ну! — удивился Валерий и поднял вверх бокал.

— Это с возрастом пройдет, — пообещал папа.

— А я так очень хорошо помню свой первый поцелуй, — сказал Игорь Павлович.

— Ну что за тема, мальчики, — рассмеялась Маргарита Ивановна.

— Самая тема. Юная тема, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Ну и что же дальше, Игорь?

Но Лешка вдруг перестала слышать голоса. Она смотрела. Алексашка слез со своего стула и стал медленно продираться. Куда? Его ловили руки папиных товарищей, эти руки гладили его, пытались задержать, но Алексашка упорно двигался

вперед. «Ага, — догадалась Лешка, — к Маргарите Ивановне». Он подобрался к ней и остановился, привалясь к спинке стула. Маргарита Ивановна не глядя протянула руку, обхватила его за плечи, и он почти ввинтился ей в подмышку.

За столом смеялись. Лешка очнулась, словно вернулась из другой, тихой комнаты, где никого не было, а она читала книгу.

— За первую любовь и вечный поцелуй.

Маргарита Ивановна подхватила Алексашку и посадила к себе на колени.

— Риточка, за вас, — сказал Игорь Петрович.

— Спасибо. — Маргарита Ивановна одной рукой взяла рюмку, а другую просунула Алексашке под мышку.

— Танцевать, танцевать! — заорал Валерий. — Тем более что прекрасные слова. «Же тэм, же тэм», — пропел он, увеличивая звук у магнитофона. — А весь мир знает, что это — «я тебя люблю». А что дальше, Риточка? Переводите же!

— Я люблю тебя, и солнце, только солнце знает мою тайну. Луна, правда, тоже знает ее. Но больше никто, клянусь вам.

Все рассмеялись.

— Танцевать, Казимировна!

— А почему все песни про любовь? — спросила Лешка и смутилась.

— Не знаю, — сказал Игорь Петрович. — Наверное, потому, что без любви — как без воды.

— У нас Игорь по этим вопросам дока, — сказал Валерий.

— Что такое дока? — спросила Лешка.

— Ох вы и почемучка, девушка.

— Валерий, вы женаты? — спросила бабушка.

— Нет, что вы!

— Ишь! — бабушка неодобрительно покачала головой.

— Ишо женится. И на него найдется хомут, — сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Значит, вы женаты? — сказала бабушка.

— Нет. — Дмитрий Дмитриевич насупился. — Теперь нет.

— Понятно! Алешенька не женат, Валерий не женат, вы, Дмитрий Дмитриевич, тоже. А вы, Игорь Павлович?

— Женат.

— Ну, слава богу.

— У меня вчера сын родился, — сказал Игорь Павлович.

— Первый? Поздравляю.

— С вашего разрешения — третий. А есть еще дочь, Кира. Да Лешка ее знает.

— Ура, — сказала бабушка. — Давайте выпьем.

Все рассмеялись.

— Ура! Ура!

Сосед напротив тоже справлял новоселье. Уж за полночь гости разошлись. Папа пошел провожать их до такси. Алексашка посапывает на Лешкиной тахте, а в доме напротив — пляшут. Пляшут у Лешкиного соседа. Лешка смотрит на них со странным чувством: тут и зависть, тут и радость. Сосед обнял девушку, с которой танцевал, и поцеловал. Нет, он ее не так поцеловал, как в кино, а почти как папа Лешку целует.

«И зачем это бабушка сегодня так про женитьбу говорила? — вспомнила вдруг Лешка. — И про папу. Что он не женат. Вроде как осуждала. Да куда же папе жениться? Он уже был женат. На моей маме. — Лешка вздохнула. — Старый он, чтоб жениться».

Она подстроилась рядом с Алексашкой, разметавшимся по всей тахте, и закрыла глаза. Тотчас же поплыли лиловые круги. А потом они стали похожи на платье Маргариты Ивановны. Ох и красивое же у нее платье! А как у нее волосы красиво лежат! «Везет же людям», — подумала Лешка и в темноте потрогала свои волосы. Вот у Лешки они вечно не лежат. Только если их в тугие-тугие косы заплести. Но это ведь не модно сейчас. У них в классе все девочки с распущенными волосами ходят. Зоя Константиновна даже на днях ругалась. Сказала, что родителей вызовет.

Лешка уснула. И ей ничего не снилось. А утро ее встретило солнцем и призывно чистым листом бумаги, приколотым к спине буфета.

— Ух и картину я напишу сейчас, — сказала она, соскакивая с тахты. — Все помрут. На зарядку становись! — и она на одной ножке поскакала к окну.

О! В комнате напротив произошли изменения. Лешка так и замерла на одной ноге, как собака в стойке. Перед окном стоял кульман. А перед кульманом сидел он. Чуб лез ему на глаза, и он его все время откидывал. И чертил что-то.

Лешка вдруг почувствовала острую неудовлетворенность собой. И настроение рисовать пропало. Ей стало неудобно. Она оделась и, не позавтракав, ушла на улицу.

Мальчишки гоняли мяч.

«Ну что ж, можно и в футбол», — решила Лешка.

— А ну вали! — крикнул ей белобрысый крепыш в полосатом свитере.

— Что вали-то? — миролюбиво спросила Лешка. — Чего вали-то? — Она выставила ногу, и белобрысый, споткнувшись, упал.

— Как дам сейчас!

Но мяч уже был у Лешки. Она умело и ловко уводила его от бросившихся вслед мальчишек.

— А девочка рубит, — услышала она за спиной.

— Принимаете? — Лешка повернулась.

— Пасуй!

Лешка передала мяч синей куртке. Игра отвлекла ее. И Лешка совсем забыла, что когда-то давно была чем-то недовольна. Вдруг возник Алексашкин голос.

— Лешк! А они не верят, что ты моя сестра. Они думают — ты мой брат.

Лешка повернулась. Алексашка стоял в кругу детворы, розовощекий и гордый.

Бац! Лешка прозвала мяч.

— Ну что ж ты! — завопил синий. — А! Девчонка и есть девчонка.

— Разве она девчонка?

У Лешки стало холодно и неприятно под ложечкой. Она еще никогда не слышала этого голоса, но сразу догадалась, что принадлежит он соседу из комнаты напротив. Почему? Да так — догадалась, и все тут.

— А и правда девчонка, — он присвистнул. — Я сверху смотрел, как вы тут мяч гоняли, думал — мальчишка. Да она лучше вас играет, — сказал он мальчишкам.

Но Лешку эта неожиданная защита совсем не порадовала. Она и так знала, что не хуже их гоняет мяч. А сейчас ей стало неприятно.

— Она здорово в футбол играет. У нас, на Колокольной, она в команде Федьки Рыжего играла. Вот! — Алексашку распирало от восторга. — Федька. . . Он. . . Ух был! — Алексашка потряс кулаком в воздухе.

— Ну я пошла, — сказала Лешка.

— Ты куда? — спросил сосед. — Давай поиграем еще. Меня Володей зовут.

— А меня Сережей, — сказал синий. — А его вон Петяка, — он ткнул в белобрысого. — А его Санька.

— А тебя? — спросил Володя Лешку.

— А меня Лешка, — сказала Лешка, повернулась и быстро пошла прочь.

Папы дома не было. Бабушка сидела в кресле, вязала и одним глазом смотрела телевизор.

— Бабушка, — сказала Лешка, — мне на окна, пожалуй, нужны шторы.

Вечером папа сказал, что в среду они идут в Филармонию.

— Ура! Ура! — Лешка запрыгала на одной ноге. — Сто раз ура! Бабушка, что я надену?

— Что тебе, надеть нечего? Не голая ходишь. — Бабушка вдруг вздохнула, махнула рукой и отвернулась. — Бордовую юбку наденешь. Хорошая юбка. В складку.

В среду, еще не дойдя до Филармонии, Лешка дала себе слово, что больше никогда в жизни не наденет ни одной юбки в складку. Никогда! Если бы она знала, что это за противная юбка! И кого они встретят в Филармонии!

Лешка увидела ее сразу, как только они вошли. Маргарита Ивановна стояла у окна. Ее освещал косой закатный луч, и каштановые волосы горели, как легкий валежник на ветру. Так и казалось, что тем, кто стоит рядом, слышно, как трещат искры.

Маргарита Ивановна увидела их и пошла навстречу.

«Это надо же!» — подумала Лешка и невольно поежилась. Она еще не сняла пальто, еще никто не видел ее юбки, но Лешка уже знала, как безобразна она, эта юбка. Пока они ехали, это было мучение: постоянно поправлять ее. Она собиралась в комок над коленями — и хоть умри: сделаешь десять шагов — комок; поправишь, сделаешь десять шагов — комок.

Какой несчастной, маленькой, смешной почувствовала вдруг себя Лешка. Она каким-то образом увидела себя со стороны, поднимающейся по лестнице в потоке нарядных, уверенных в себе женщин. Увидела, как она угловата, как идет подпрыгивающими шагами Буратино, как эта распроклятущая юбка поминутно собирается в комок на коленях — и ей захотелось заплакать. А еще лучше просто не быть. Не быть, и все. Ну хотя бы не быть здесь.

Маргарита Ивановна обняла ее за плечи.

— Самое главное, — сказала она, наклонившись над самым Лешкиным ухом, — уметь вовремя сказать себе: а что? Да ничего! Все прекрасно.

Лешка улыбнулась.

— Ну вот.

Зал сиял своими миллионноламповыми люстрами, свет которых еще в миллион раз увеличивался из-за миллионов хрустальных подвесок.

Лешка очень любила Большой зал Филармонии. За праздничность. За торжественность. А может быть, за музыку? За те чудесные минуты отрешенности и полного растворения или слияния с миром, где не было ни пространства, ни времени, но было движение. Или, вернее, ощущение движения. Не в чем-то и где-то, — а просто стремительность. Мчались все клетки тела. . . Потом концерт кончался, а клетки еще мчались.

Если бы Лешка больше всего на свете не любила рисовать, она бы стала музыкантом. Наверное. Если бы смогла.

— Вначале мы проводим Маргариту Ивановну, — сказал после концерта папа.

— Конечно, — согласилась Лешка. — Не можем же мы ее оставить одну.

И они пошли пешком через площадь Искусств. Были уже совсем белые ночи. Был уже почти совсем май. Последние дни апреля. И было невероятно хорошо идти по ночному городу мимо Михайловского сада, мимо Инженерного замка. Впереди, подсвеченная прожектором, выплыла Петропавловская крепость.

Они прошли через Марсово поле, постояли у Вечного огня, а потом вышли на улицу Халтурина.

— Вот в этом доме я живу, — сказала Маргарита Ивановна.

— Красивый дом, — сказала Лешка. — Очень красивый дом.

— Ну, тогда зайдемте выпьем чаю.

— Я с удовольствием. — Лешка подпрыгнула, смутилась и посмотрела на папу.

— С малиной? — спросил папа.

— И с земляничкой. Лесной. Маленькой. Пахучей.

— Я «за».

— И я! И я!

«Так вот, художник должен научиться изображать не предмет, — услышала Лешка глухой сердитый голос, — а сущность

предмета. — И она увидела перед своим носом длинный костлявый палец. Ей стало очень неприятно, и она отвернулась. Но голос стал громче и настойчивее. — Не отворачивайтесь, а извольте слушать. Когда он пишет лошадь...»

— Кто он? — робко спросила Лешка.

«Художник, — ответил голос. — Это должна быть не та конкретная лошадь, которую вы можете опознать на улице...»

Лешка попятилась от пальца, раскачивающегося перед ее носом, и, оцарапав локоть обо что-то твердое, проснулась. Ее локоть уперся в твердую обложку.

— А-а, — вспомнила Лешка с облегчением.

Вчера Маргарита Ивановна дала ей книгу о Ван-Гоге, и Лешка, хоть они и поздно пришли домой, еще с часик почитала. Ну точно! На этих словах, не в силах уже осилить их магический смысл, она уснула.

«...Камера создает фотографию. Нам же следует идти дальше. Мы должны уловить, господин Ван-Гог, платоновскую лошадиную сущность, дух лошади в крайнем его выражении. И когда мы пишем человека, это должен быть не какой-то, к примеру, консьерж с бородавкой на носу, а дух и сущность всех людей. Вы меня понимаете, мой друг?»

— Елена! Ты опоздаешь, — крикнула с кухни бабушка.

— Не понимаю, — ответила Лешка.

— Что-что? Чего это ты не понимаешь, когда уже половина восьмого. Вставай немедленно.

— Да-да. Я сейчас. Я все понимаю.

«Я понимаю, — ответил Винсент. — Но я не могу согласиться с вами». «Да-да. Я тоже не могу согласиться с ним. Но я вдобавок еще и не понимаю».

— Елена!

Лешка подскочила.

— Я мигом, бабуся. Я уже.

— Чистое наказание.

— Я уже!

Лешка вскочила и подбежала к окну. Володя уже стоял перед своим окном и делал зарядку.

— Ах вы так! — сказала Лешка. — Ну, а мы так. — И она принялась приседать.

Володя кончил бег на месте, схватил полотенце и затрусил к двери.

— И я! — Лешка выбежала в коридор.

— Я уж не говорю про Лешку. Она большая. Ладно.

Лешка замерла и почему-то закрыла рот ладонью.

— Но Алексашка-то. Совсем ведь малой. Пять лет пацану. Мать ему нужна!

— Тише, Нина Андреевна, — сказал глухой папин голос.

— Ты меня слушай, Алеша. Старая я. Не вечная.

— Нина Андреевна!

— Заладил как попугай — Нина Андреевна да Нина Андреевна. Ты лучше про детей, про себя думай, а я шестьдесят пять лет свое имя-отчество знаю.

— Нина Андреевна, ну как вы можете, вы же Наташина мать.

— А если Наташина, так что же я — не вижу, не понимаю, как ты маешься? В какие-такие командировки ездешь. Сам мучаешься, человека мучаешь. . .

— Тише, — сказал папа.

— Ты решай эти дела, Алеша. Решай. Я уже все. Мне не выдюжить. Да и тебе в бобылях ходить — грех.

— Грех?!

— А как не грех? Ну, не грех, так смех. Тебе ведь и сорока еще нет, Алешенька. . . Елена! — вдруг зычно крикнула бабушка.

Лешка юркнула в ванную и пустила на полный ход воду.

«Ох! Пусть! Пусть! — взмолилась она. — Пусть этого разговора не было. Не было! Не надо!»

До остановки они шли с отцом молча. А в голове стучало и стучало: «Зачем ему жениться? Ну зачем? Разве ему с нами плохо? Зачем ему жениться?»

На остановке Лешка долго собиралась с духом, загадывала: вот если сейчас не придет автобус — спрошу, вот если тот автобус не наш, спрошу. И наконец спросила, повернувшись к отцу:

— Папа, ты женишься?

— А! — сказал папа. — Ты подслушала разговор.

— Случайно. Ты женишься?

— Да. Быть может.

— Папочка, — Лешка взяла отца за руку. — Не женись, пожалуйста.

— Лена. . .

— Дай слово! Дай мне слово! . . Ты дал! Дал! — Лешка прыгнула в автобус. Она не знала — ее это автобус или нет. Но он увозил ее от силой вырванного слова — и это главное.

Лешке не сиделось на уроках. Она не вертелась, не болта-

ла. Но ей нестерпимо хотелось вырваться из четырехмерного пространства. Идти куда-то. Идти. Идти, чтобы заглушить мысли. Но домой — она знала — идти нельзя. Папа, может быть, передумает.

— Зося, я пойду к тебе, — сообщила она подружке.

— Идем. Сегодня как раз грибной суп. Ох и есть хочу!

А ты?

— Я, может, и ночевать останусь, — рассеянно ответила Лешка.

— Вот хорошо бы!

Клара Аркадьевна действительно накормила их грибным супом. А еще картофельными оладьями с грибной подливкой.

— Ну и ну, — сказала Лешка, облизываясь, — райская жизнь.

— Еще? — спросила Клара Аркадьевна.

— Нет! Спасибо!

— Компот?

Девочки поели и с самым старательным видом уселись за уроки. Если бы Лешка так старалась каждый день, она была бы трижды отличница.

В девять часов Клара Аркадьевна отложила книгу, которую читала, и сказала:

— Алеша, собирайся.

— Клара Аркадьевна, я останусь у вас, — невинно сказала Лешка.

— Нет.

— Ну мама! — сказала Зойка.

— Собирайся, — сказала Клара Аркадьевна. — Дома и так, наверное, уже переполох.

Лешка пошла в прихожую, а Клара Аркадьевна тихонько вздохнула.

— А домой все равно надо, — сказала она ей в дверях. — Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Лешка. — Спасибо. До свидания.

«Может, не женится, — думала Лешка на уроке истории. — Это бабушка хочет. А на ком ему жениться? Мало ли что бабушка хочет. Кто за такого замуж пойдет? Старого? Интересно, зачем бабушка хочет, чтобы папа женился? Она же мамаина мама!..»

На уроке русского языка Лешка думала о том же и толь-

ко немного отвлеклась на физкультуре. А на физике все началось снова.

Зря она так вчера поступила. Убежала, домой поздно пришла. А папа уехал. Ждал-ждал Лешку, сказала бабушка, и уехал. Опять в командировку. Когда же он теперь придет? А вдруг он там встретит кого-нибудь и женится!!! У Лешки мурашки по спине поползли.

— Кустикова! Лена! Кустикова!

— А!

— Повтори, что я сказала.

— Я не могу повторить то, что вы сказали.

— Почему, интересно знать?

«Вот дура», — подумала Лешка, а вслух сказала:

— Потому что я не слушала.

— Ты еще и грубишь! — взвизгнула Галина Львовна.

— Нет, — сказала Лешка. — Вы спросили «почему» — я ответила.

— Вчера ты нагубила Зое Константиновне, сегодня мне. Ты можешь объяснить, что происходит?

— Нет, не могу.

— Уходи. Уходи вон. Сейчас же! Завтра придешь с отцом.

— Не могу, — сказала Лешка. — Он в командировке.

— Значит, придешь тогда, когда он вернется из командировки.

Вот это номер! Лешка вдруг оказалась свободной. Может, на неделю. Может, на месяц. А может, и на год. Она даже подпрыгнула. Вот здорово! На минуту ей стало весело и прекрасно. А потом она вдруг опять все вспомнила. Надо хоть Валерия или Дмитрия Дмитриевича спросить, когда папа вернется.

А день был так хорош, что просто не было сил спускаться в метро, и Лешка села в трамвай и поехала через весь город. Она отрешенно смотрела на весну за окном, на голубое небо, бледные лица прохожих и думала о лете. Скоро в лагерь. Там она будет рисовать, а папа, может, еще и не женится. Зачем ему это, в сущности, если вдуматься?

В проходной она столкнулась с Валерием.

— А-а! Казимировна! Привет! Жаль, спешу! Лечу. Ты к папане? Он у себя. Ну, привет, — и выскочил на улицу.

«Так папа не уехал? . . . Номера!»

Часы в проходной показывали три. Лешка пошла и села на скамейку. До конца работы оставался час. Лешка решила ждать. Папа выйдет, и все объяснится. Все будет хорошо и просто, и они вместе поедут домой. А может быть, пойдут. Купят мороженое на углу и будут откусывать холодные сладкие комочки, греть их языком и тихонько медленно проглатывать. И ничего папа не женится. Глупости все это.

В четыре распахнулись двери проходной. Лешка увидела Маргариту Ивановну, но не окликнула ее, боясь пропустить отца. Маргарита Ивановна прошла совсем близко от нее и остановилась за углом. Лешка невольно проводила ее взглядом и проворонила папу. Она увидела его прямо перед собой и от неожиданности не окликнула тоже. Папа завернул за угол, подошел к Маргарите Ивановне и поцеловал ее. А она поцеловала папу и еще потрепала его по волосам. И они, обнявшись, как какие-то девчонка и мальчишка, пошли по улице в противоположную от трамвайной остановки сторону.

Они дошли до угла и купили мороженое. Лешка видела, как они разворачивали серебряные обертки, а потом начали есть его, медленно откусывая и смеясь.

Лешка вначале ничего не поняла, а потом сразу поняла все. И почему бабушка говорила о женитьбе, и про командировки. Теперь она поняла все-все. Пятнадцать лет — и такая дура! «Ух, проклятина! Ух, Варвара!» — Лешка внезапно сжала кулак и погрозила им в спину.

Лешка решила бабушке пока ничего не говорить. Придет время. Время еще придет, когда она им все скажет.

У дома она встретила Володю. Володя шел отрешенный и радостный.

— А, Лешка! Привет. Ты что на себя не похожа?

— А заметно?

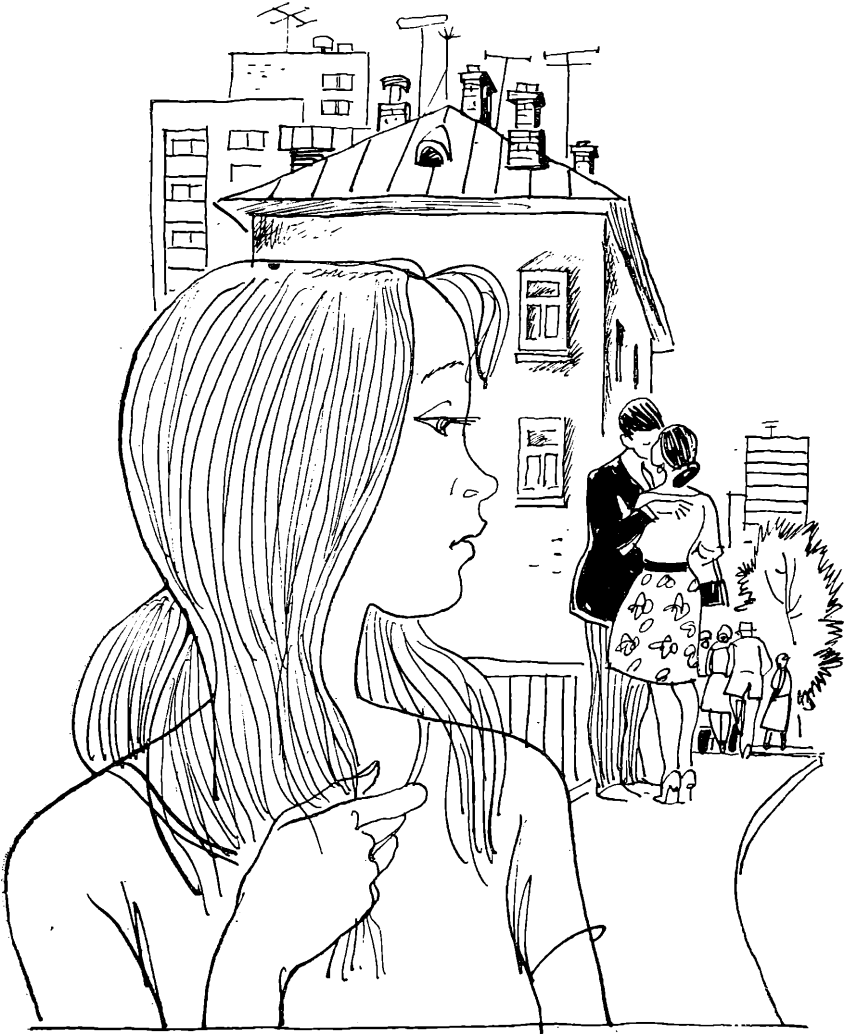
— Заметно. Двойку небось схлопотала?

— Двойку! — Лешка презрительно фыркнула. Но тут же подумала, что еще совсем недавно двойка могла ее огорчить. — Володя, — спросила она, — а зачем вам кульман?

— Как зачем? — удивился тот. — Чтобы работать.

— Это я понимаю. А почему вы не работаете на работе?

— Во-он что. Да, у меня работа такая — на каждую секунду судьбы расписана.



- А вы кто?
- Архитектор.
- Самый настоящий архитектор?!
- Настоящий ли? Надеюсь. Пойдем.
- Куда?
- Ко мне. Кое-что покажу.

Давно знакомая комната оказалась незнакомой, как только Лешка оказалась внутри.

- Смотри. — Володя развернул рулон.
- Что это?
- Центральная площадь. . .
- Нет, все это?
- Проект города.
- Целого города?
- Ну не такого, как Ленинград.

Лешка подняла с пола упавшую страничку и прочла: «Рецензия. Проект молодых ленинградских архитекторов В. И. Задорова и П. А. Калашникова, представленный на конкурс «Новые города науки», безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Не будем предвосхищать решения жюри, однако заметим, что было бы желательно, чтобы мимо него не прошли. Решение молодых архитекторов изящно и строго с точки зрения самых требовательных законов архитектуры. Кроме того, проект экономичен». . .

— Ну, Володя! Это же здорово, Володя! Значит, будут строить!

Володя вздохнул и пожал плечами.

- Быстрая ты, Лешка. Москва восемьсот лет строилась.
- Так то когда было! А теперь пять-шесть лет — и готово!
- Положи в корзину свой проект, Вова.
- Так ты что — сам в себя не веришь? — рассердилась Лешка.

— Я-то верю! — Володя невесело хмыкнул. — Но есть и другие. Они верят не очень. Впрочем, дело иногда не в вере, а в силе привычки: по-старому строить и удобнее и безопаснее. В смысле — шею не намылят, если что не так.

- А ты в атаку!
- А я в атаку!
- Значит, будешь бороться?
- Еще как буду.
- Так ты, значит, только проекты чертишь и нигде не работаешь?

— Работаю.
— Где?
— В ПТУ номер шестьдесят один.
— В пе-те-у?!
— В ПТУ. А почему, гражданочка, столько презрения?
— Ты, архитектор, в пе-те-у?
— Я. Архитектор. А ты думаешь, дома одни архитекторы строят?

— Знаю. Знаю. Дома строят рабочие.

— А какие?

Лешка задумалась.

— Каменщики, — она загнула указательный палец. — Прорабы, — она неуверенно дотронулась до безымянного.

Володя разогнул ей палец, повернул, нацелив в грудь, и сказал:

— Паф! А ну загибай, — скомандовал он. — Столяры, маляры, плотники, штукатуры, облицовщики, плиточники... И это для самого разобычного дома мало. А если, к примеру, клуб? Или дворец культуры? Или станция метро? Бери вторую руку. Мозанку надо? Надо. По дереву, по стеклу, по камню. Раз. Художественный паркет кто набирает? Краснодарец. Стены, двери, потолки — кто разрисует?

— Ты хочешь сказать, что в вашем ПТУ и рисовать учат?

— У нас отделение есть — альфрейно-живописное. Приходи, посмотришь, что там ребята делают.

Лешка вдруг вспомнила о своих делах. Нахмурилась. И ей снова стало невесело.

— Ну ладно, — сказала она, — может, и приду когда. Пока.

— Эй! — Володя тронул ее за плечо. — Ты... это... помни: жизнь — она полосатая. Как зебра — темная полоса, потом светлая.

— А у тебя сегодня светлая?

— А у меня сегодня светлая.

— Почему?

— А потому, что Татьяна приезжает. Вот телеграмма.

Володя протянул ей телеграмму: «Встречай. Вагон 3».

— Правда, забыла написать, какой поезд, — он улыбнулся. — Но я и так знаю.

— А кто она — Татьяна?

— Как кто? Татьяна Васильевна Задорова. Ну, пока еще Николаева. Но через две недели будет Задорова. Поняла? Моя жена.

— Так чего ты меня позвал всякие картинки смотреть! Зубы мне своим ПТУ заговариваешь?

— Ты что, спятила?

— Ты безнравственный тип, — сказала Лешка и повернулась. — До свидания.

— Ну ты даешь! — Володя присвистнул, а потом рассмеялся. — Даешь!

— До свидания.

— Привет, старуха. Ты это... того. Не очень-то. Мало ли чего бывает. А ты выше нос.

— Постараюсь, — сказала Лешка и вышла на лестницу.

«Ну, ему можно, — подумала она. — Он молодой, и то уже не очень. Но ему можно. А вот отец? У него двое детей! И туда же. Как мальчишка какой-то. Как какой-то...» Но Лешка не знала кто. Она плюнула. Плюнула прямо на лестничную площадку, растерла и пошла вниз.

«У, Варвара! У, змея!» И тут же вспомнила, что ее выгнали из школы, и ей стало совсем паршиво.

На следующий день Лешка все-таки пошла в школу. Пришла, и ничего. Никто не сказал ей ни слова. И на следующий день тоже ничего не сказали. И через день.

Пришел май. Уже на некоторых деревьях появились клейкие маленькие листочки. И вечерами так пахли, что не было сил вдыхать спокойно этот запах. А Лешка ждала папу.

Она ждала его и не слышала и не слушала, что говорят окружающие. Она видела лица как через матовые стекла. Так что даже не всегда понимала, чье это лицо перед ней. Она совсем не рисовала. Ей даже смотреть не хотелось на альбом и акварельки. И однажды она собрала их в охапку и кинула Алексашке. Пришла в его с бабушкой комнату и кинула на столик. Молча кинула и молча ушла.

— Лена, — сказала ей Зоя Константиновна, раздавая контрольные работы. — Я тебя не узнаю. Я поставила тебе двойку за работу.

Лешка пожала плечами.

— Двойку так двойку, — сказала она.

— Лена! Что за тон? Что за ответ?

— Ну, а что вы хотите чтобы я вам ответила? Вы ведь не можете мне поставить пятерку. Правда? Ведь правда? Ну, так ставьте двойку.

— Лена!

— Какие странные люди, честное слово! — сказала Лена. — Вы поставили мне двойку. Так что вы хотите, чтобы я сказала?

— Лена, ты чем-нибудь расстроена? — спросила Зоя Константиновна.

— Я? — удивилась Лешка. — Ничем. С чего вы взяли?

«Да что это она, в самом деле думает, что я вот возьму сейчас все и выложу? Странные люди, ну ей-ей! Лезут, лезут к тебе, когда не надо!»

— Лена, твой папа вернулся из командировки? — спросила Зоя Константиновна.

— Да, — ответила Лешка, — вернулся.

— Пусть он придет завтра в школу.

— Хорошо, — сказала Лена и подумала: «Будет выяснять, что с ребенком. Пусть, пусть она у него спросит, что с ребенком».

Лешка пошла к Петропавловской крепости. Там гуляли собаки. Много собак. Большие и маленькие. Щенки и взрослые. Страшные и нестрашные. Красивые и некрасивые, но жутко забавные. Одни бегали за палочкой, другие друг за другом. А некоторые чинно, как их хозяева, ходили с ними нога в ногу.

Лешка поиграла с собаками. С теми, которые были непрочь поиграть с ней. Серому огромному догу с добродушной мордой побросала палочку. Потом побегала с маленьким пушистым щенком колли. Он был пресмешной. И лаял громко-громко и тоненько. Потом она поиграла с двумя неистовыми эрделями. Они сорвали с нее берет. Потом уволокли мешочек с тапочками. Потом уволокли портфель. Потом Лешка упала и они упали на нее. И образовалась куча мала. Прибежал щенок колли и стал лаять. А Лешка лежала на спине и смотрела в небо. Чистое было небо. Без единого облачка. Нет, с одним маленьким-маленьким, высоким-высоким дымчатым облачком. И синее.

— Вы не ударились? Что с вами? — спросили хором хозяева эрделей.

— Ничего, — сказала Лешка, вставая и отряхиваясь. — Смотрю в небо. В небо надо смотреть лежа. Отдайте мой портфель, — попросила она у эрделей. Но те и не думали отдавать ей портфель.

— Фрам! Патя! — закричали хозяева.

Но ни Фрам, ни Патя не обратили на призыв никакого внимания. Они весело раздирали портфель.

— Ну и противные вы собаки. Мне ведь идти надо, чудакки. Отдайте портфель.

— Не отдадут, — убежденно сказали хозяева. — Отнимать надо, — и побежали отнимать.

Лешка позвонила в дверь. Дверь была черная, блестящая, с круглым глазком посредине. Наверное, это Маргарита Ивановна подглядывает в него, когда к ней кто-нибудь приходит. Наверное, она прищуривается и смотрит в этот глазок, кто пришел, пускать или не пускать. . . Ведь у нее папа прячется. . .

Лешка стояла и думала — пустят или нет.

Отворилась дверь — на пороге стоял папа. Он был в своей вязаной домашней куртке и в домашних тапочках.

— Здравствуй, папа, — сказала Лешка.

Папа молчал, тогда Лешка сказала еще несколько слов:

— Я пришла к тебе только на две секунды. Зоя Константиновна сказала, чтобы ты завтра пришел в школу. А то меня не пустят. До свидания. Я пошла.

— погоди! — крикнул папа. — А в чем дело?

— Зоя Константиновна тебе все расскажет, — сказала Лешка, не оборачиваясь.

Папа догнал Лешку и взял за плечо.

— погоди!

На лестницу вышла Маргарита Ивановна. Она тоже была в домашних тапочках и в переднике, вытирала руки кухонным полотенцем.

— Леночка? Как приятно. Хорошо, что ты пришла. Идем обедать.

— Во-первых, я пришла на одну минуту. Во-вторых, я не хочу есть. В-третьих, вам совсем не приятно, что я пришла.

— Елена! — сказал папа неожиданно высоким голосом.

— Разве я неясно что-нибудь сказала? — спросила Лешка.

— Что за тон? В чем дело? Я приехал сегодня из командировки, и мы зашли к Маргарите Ивановне пообедать. И очень хорошо, что пришла. Пообедаем втроем.

— Ты не был в командировке, — сказала Лешка. — Ты здесь с двадцать пятого апреля, с шести часов тридцати восьми минут, если, конечно, вы так и не сели ни на что, когда съели мороженое, а шли пешком. До свидания, Варвара Тимофеевна. До свидания, папа.

Лешка лежала в высокой траве и жевала травинку. Травинка была горькой, небо — далеким и разноцветным. Воздух, стволы сосен и макушка валуна, под которым она лежала, — розовыми. Пели птицы, и очень громко стрекотали кузнечики.

Рядом лежали альбом и акварельки. Лешка нашла их уже в лагере. Распаковала чемодан и увидела. «Не купите вы меня акварельками», — подумала она тогда. «Не купите вы меня акварельками, — думала она сейчас. — Интересно, кто это положил — папа или бабушка? После той сцены или до?» После. Ведь «до» Лешка еще не знала, что едет в лагерь.

Лешка прижалась щекой к шершавому боку валуна. Он был теплым. Он всегда к вечеру становился теплым. Она вспоминала.

«Вот, доченька, — папа открыл портфель и протянул Лешке путевку. — В этом году впервые от нашего завода организовали лагерь для старших школьников».

Лешка посмотрела на отца исподлобья.

«Спасибо», — сказала она, но путевку не взяла, и папина рука так и осталась протянутой.

Лешка закрыла глаза и увидела эту руку. Не очень большую. Узкую, с длинными красивыми пальцами и желтыми никотиновыми ободками вокруг ногтей.

«Ну, хорошо, — сказал папа. — Я рад, что ты довольна».

«Я не говорила, что я довольна».

«Алена, давай поговорим».

«Нам не о чем говорить. Все и так ясно».

«Лена, — сказал бабушка. — Как ты разговариваешь с отцом?»

«Не приезжайте ко мне, — сказала Лешка. — Слышите — не приезжайте. Ни ты, ни ты. — Она повернулась к бабушке: — Предательница! Ты все знала про эту Варвару».

«Какую Варвару?» — не поняла бабушка.

«Да эту... ну как ее... Маргариту...»

«Она не эта, и не Варвара. Папа любит Маргариту Ивановну».

«Ну и пусть любит! — крикнула Лешка в бешенстве. — Пусть. Хоть все пережените и перелюбите. А я-то здесь при чем? А ты! Ты!.. Ты ведь мамина мама! Ма-ми-на, — повторила Лешка по слогам. — Я не люблю вас. Ненавижу!»

Теперь Лешка, как это постоянно случалось с ней за последнее время, увидела бабушкино лицо. Тогда не видела, а

теперь видела. Кончик носа и лоб у нее были белыми, а щеки синими. Почти лиловыми.

«Кто же положил краски?» — Лешка перевернулась на спину. Закат брызнул в глаза, и они ослепли. Она прикрыла глаза ладошкой, и тогда валун вдруг оказался трибуной. А на трибуне Зоя Константиновна: «Аттестат об окончании восьмого класса вручается Кустиковой Елене!»

Лешка зажала глаза рукой — и Зоя Константиновна и трибуна пропали. Ни папа, ни бабушка, ни Алексашка не видели, как вручали ей диплом. Она не сказала им, куда идет. А дома, завернув аттестат, характеристику и десятку, сэкономленную на завтраках, в газету, Лешка положила их в боковой кармашек чемодана. Зачем она это сделала? Так. На всякий случай. На этот раз она не просто уезжала в лагерь. Она как бы прощалась с домом надолго. Может, навсегда.

И Лешка поняла неожиданно, как ни разу еще не приходилось ей понимать, до чего же она одинока. Одна, совсем одна. Раньше, намного раньше, была мама. Мама, папа, бабушка и малюсенький Алексашка. Потом были папа, бабушка и Алексашка. Мама тоже была. Только теперь иначе. Лешка как бы обнесла высоким забором то место, где жила теперь мама. И даже калитку не сделала. Она отодвигала доску в этом заборе и юркала в узкую щель. Там было темно и тихо. В темном теплом сумраке пахло маминими руками. От них пахло особенно. Мама была медицинской сестрой, и от ее рук пахло чуть-чуть лекарствами и душистым мылом. Лешка не разговаривала с мамой. Они просто обе молчали. Но потом Лешке было хорошо, легче.

«А где же друзья? Зоська? Да она же просто ребенок. Ну о чем можно говорить с Зоськой? Только о мальчишках»...

— Лешка! Ле-е! — прокричали сверху, от дач.

«Ну и пусть, — подумала Лешка. — Пусть! Я и без них проживу. Пусть женятся. Пусть не приезжают».

— Папа! — сказала Лешка громко. — Папа, если ты женишься на ней, я брошусь с обрыва и утоплюсь, и ни одной минуты не останусь жить на этом свете! Ты слышишь меня, папа?!

— Ле-е! Лешка!

Пропел горн. Инстинктивно Лешка повиновалась его властному призыву, подняла альбом, краски и пошла к дачам.

В вестибюле, проходя мимо зеркала, Лешка остановилась. Она была высокой тонконогой девочкой в короткой юбочке,

с прямыми льняными волосами. Вот и все, и ничего больше. Лешка сделала шаг, другой; высоко вскидывая ноги, повернулась, закружилась.

— Я тебе кричала, кричала, — обиженно сказала Зоська, пробегая мимо. — На линейку опоздаешь. Пошли.

— Скажи, что я сейчас приду, — сказала Лешка голосом Нины Захаровны.

Зойка рассмеялась.

— Хорошо, скажу. Кому? Всем?

— Вот именно. Всем. Скажи, что вот посмотрю на себя и приду.

Зойка убежала, а Лешка подошла к зеркалу и принялась внимательно разглядывать себя.

«Нос — ну нос ничего, не ахти, но тоненький, рот — вот беда — от уха до уха». Лешка поджала губы и стала похожа на бабушку. Лешка опустила уголки губ и стала похожа на Алексашку, готовящегося заплакать. Лешка улыбнулась, чуть-чуть, одними уголками, и стала похожа на папу. Тогда она рассмеялась и тотчас же оборвала смех — она стала мамой. Как на той фотографии, где мама снялась в турпоходе: те же волосы, та же улыбка во весь рот, так же чуть сморщен и поднят нос. Лешка застыла с этим выражением, словно надела маску. И вспомнила, что, когда они с бабушкой начинали дурачиться, та ее иногда называла Наташкой.

— Кустикова, завтра наряд на кухню вне очереди. За пропуск линейки, — сказала Нина Захаровна, входя в дачу.

— Хорошо. — Лешка даже не посмотрела в сторону воспитательницы. Прошла мимо и демонстративно закрыла за собой дверь палаты.

— Ле! Ты не влюбилась? — к ней на постель подседа Зоська.

Лешка молчала.

— Ну Ле!

— Влюбилась. — Лешка угрюмо посмотрела на Зоську, потом в окно.

Закат еще не догорел. И оранжево-сиренево-золотисто-синие павлиньи хвосты облаков размашисто раскинулись по всему небу. По дорожке шли задавака, председатель первого отряда, Юрка Волнобаев и физрук Игнат. Они жутко серьезно разговаривали, и Лешка фыркнула:

— Тоже мне кирасир-мушкетер. Подумаешь, первый разряд по шпаге.

Зоська, проследив за ее взглядом, тихо ойкнула:

— Он?!

— Что он? — не поняла Лешка. — А! Да!

— Бедная ты моя, бедная. — Зоська порывисто прижалась к Лешке. — Он же задавака, каких мало.

— Вот я и говорю.

Из дачи вышла Кирка Быстрова, Игоря Павловича дочь. «Вот странно, — подумала Лешка. — Папа и Игорь Павлович друзья, а мы с Киркой терпеть друг друга не можем. Финтифлюшка». Лешка опять фыркнула, но не залюбоваться Киркой не смогла. Та танцующей походкой прошла мимо Игната и Юрки и скрылась за второй дачей. Ребята остановились, повернули головы и смотрели ей вслед. Но не успел погаснуть краешек Киркиной юбки, как Волнобаев сорвался с места и побежал следом.

— Бедная ты моя! — вздохнула Зоська.

— Чего ты причитаешь? — Лешка сердито отодвинулась от нее.

— Так он же с этой... с Киркой.

— Кто?

— Да Волнобаев.

— Ну и что?

— Как что? — Глаза у Зойки превратились в шарики, а потом сразу в узкие щелочки. — Какая же это любовь, если тебе все равно, что он за Киркой бегаёт.

— Это она за ним бегаёт, — бездумно сказала Лешка.

— Она ему нравится, — упрямо сказала Зойка.

— Нравится, — согласилась Лешка.

— Ты страдаешь? Да? Поэтому ты целыми днями бродишь одна? Да?

— Да, — сказала Лешка.

Зойка обняла Лешку. А та, неожиданно для самой себя, прижалась к Зойке, чувствуя под щекой ее острую ключицу. Зойка стала гладить Лешку по волосам, приговаривая что-то нежное и жалостливое. Лешке стало хорошо. Быстрые теплые Зоськины руки щекотали затылок.

— Кустикова! Кустикова!

Лешка вздрогнула и открыла глаза.

— Вставай! Ты сегодня в наряде на кухне. — В окне торчала голова Игната.

— Ага! Я сейчас, — Лешка сладко потянулась и на секунду уснула снова.

— Эй, Кустикова! Рассвет уже полощется, — прошипел горнист Ленька Батанов и погрозил ей горном. — Всю картошку без тебя очистят.

— Кустикова! — На тропинке стояла Кирка. В красной козыночке, картинно опершись на метлу. — Тебя уже ждут не дождутся. Все спрашивают: где наша Кустикова?

— Не твоя забота, — Лешка независимо продефилировала мимо. Но в последний миг не удержалась и поддала метлу ногой. Она вывернулась из Киркиных рук и ударила Лешку по лбу. А потом Кирку.

— Дура, — сказала Кирка.

— Сама, — не очень уверенно ответила Лешка и побежала к кухне.

— Пожаловала. — Волнобаев вышел на крыльцо. — Все уже на вахте, одна Кустикова гуляет.

— Ну ладно. Кончай разговорчики. Чего делать надо?

— Пол мыть. Вон ведро.

— Пол так пол. Я не возражаю.

— Ну спасибо и на этом.

Вода из колонки лилась прозрачная, холодная и очень-очень вкусная. Лешка вначале подставила руку и попила с ладошки, потом присела на корточки и стала ловить тугую струю ртом. Вода стекала с подбородка, затекала под кофточку, холодной струйкой скользила в ложбинке между грудей и щекотала живот. Кухня сквозь струю воды казалась замком с высокими башнями. Где-то высоко над головой косматился рыжий подсолнух солнца.

— Кустикова, — сказал над ней голос Волнобаева, — и на кой черт ты сдалась на мою голову?

Лешка перестала пить и подняла голову. Снизу Волнобаев был очень смешным: нос — треугольник с двумя дырками, а подбородок с пушком то отлетает вниз, то дергается вверх.

— Ты будешь мыть пол? — спросил Волнобаев.

Лешка увидела его ухо. Раковина осветилась солнцем и казалась сделанной из полупрозрачного розового пластика.

— Буду, буду! — Она вскочила, схватила ведро и побежала к кухне. Но на пороге остановилась, вспомнив, что вчера наговорила Зоське, повернулась, показала Волнобаеву язык.

— Я проткну тебя шпагой, насквозь, — пообещал Волнобаев.

Лешка прыснула, схватила тряпку.

— Пехота, в бой! А у тебя, родная, есть почта полевая! —

взревела она тихим шепотом. — Пехота, в бой!.. Пехота... — Лешка остановилась: «Ни одного письма. Никакого. Да и с чего бы!..»

Она слышала голоса вокруг, стук ножей по столу, хруст разрезаемой капусты, видела, что мальчишки таскают ведра с углем, и не видела, не слышала ничего этого. Видела Филармонию, улыбающегося отца.

«Идиотина. И-ди-о-ти-на! Только такая дура и могла ни о чем не догадываться. Когда же начались эти треклятые командировки?»

Лешка напрягла память и ничего не вспомнила. Папа всегда ездил в командировки. Всегда. С тех пор, как умерла мама. Командировки были длинные и короткие, но они кончались, и папа приезжал домой. Вечерами они играли в шахматы, рассуждали о футболе, о жизни. Лешка показывала ему новые рисунки. Папа надевал очки, рассматривал рисунки вблизи и на расстоянии, а потом обнимал ее и гладил по голове. «Ты вся в маму», — говорил он.

Лешка любила табачный запах его пальцев.

«Какие же у отца глаза?» — Лешка силилась вспомнить и не могла. Глаза. Папины, в которые она смотрела сорок тысяч раз. Какие же они? «И бабушка! Мамина мама! Все знала. Все...»

— Кустикова!

— Ну что ты ходишь за мной, как полицейский! Чего тебе надо? Дomoю я твой поганый пол! — крикнула Лешка в порыве дикого бешенства.

— Пол не мой, — сказал Волнобаев бесстрастно и спокойно. — Лично мне ты не делаешь никакого одолжения.

— Лично тебе я его и не собираюсь делать.

— Дай мне тряпку: Я domoю пол.

— Да провались ты со своей тряпкой! — Лешка шмякнула ее в ведро. Взлетел фонтан грязных брызг, и по белоснежной рубашке Юрки Волнобаева — пижона, задаваки и перворазрядника по фехтованию — расплзлась огромная, безобразная серо-черная клякса.

— Юрка... — сказала Лешка.

— Уходи, — сказал Волнобаев ледяным голосом.

Лешка повернулась и пошла. Мокрая юбка хлопала ее по ногам. Мокрая кофточка прилипла к груди.

— Ха! — сказала Кирка, встретив ее на дорожке. — Ну просто обворожительно. — Девчонки вокруг захихикали. — Бы-

вает, — заворковала Кирка. — От любви еще и не такое бывает. . . Я знаю одну историю. . . — но договорить она не успела. Лешка кинулась на нее и зажала рукою рот.

— Ах, историю! — прошипела она и еще сильнее зажала Киркин рот.

— А-а-а-а! — завопила та.

«Историю! Историю! Историю, — стучало в Лешкином мозгу. — Игорь Павлович! Отец! История. Кирка все знает».

— Говори, — вдруг сказала Лешка и ослабила хватку. — Говори! И я выдеру твой поганый язык!

Кирка изогнулась и отскочила в сторону.

— Кошка, дикая проклятая кошка! Влюбленная дура! А-а! — Она слизнула языком кровь с губ и заплакала.

От дач и с кухни уже бежали, и впереди всех Волнобаев.

Кирка подняла голову и, перестав плакать, усмехнулась: — Юрочка, да к тебе теперь опасно подходить.

— Что? — спросил Волнобаев.

— А то не знаешь. — Кирка на всякий случай отодвинулась за спины подружек. — Гордись, Волнобаев. Такая любовь! Такая любовь! Бьют.

— Что-что? — сказала Лешка и двинулась к Кирке.

— Спасайте! — Кирка отпрыгнула дальше, а Волнобаев преградил Лешке дорогу:

— Кустикова, ну, пожалуй, с меня на сегодня хватит.

— Юра! — Лешкин гнев пропал, как не было. Ей было несказанно легко. Волшебно. «Той истории никто не знает. Никто! А она-то! Бедная Кирка». — Юра, постой. Да не галдите вы все! — крикнула Лешка. И только она крикнула, как стало тихо. Прямо-таки сверхъестественно тихо. — Юра! Я вчера сказала своей подружке, что влюблена в тебя. А она, наверное, проболталась. Но я просто так сказала. — Лешка посмотрела Волнобаеву глаза в глаза. — Я не влюблена в тебя. И вообще, все это ерунда такая. Ты прости меня. . . и за рубашку, и за пол. Ладно? Ну, я пошла, — Лешка повернулась и пошла. За ее спиной было по-прежнему тихо. И только Киркин голос неуверенно и натужно пропел: «Сто разных хитростей, и не пре. . .»

— Замолчи! — цыкнул на нее Волнобаев.

«Ну вот и все! — подумала Лешка. — Вот и все!» Но что все — она не знала.

— Лешка, Лешенька, — Зойка кинулась к Лешке и, при-

жавшись к ней, зарыдала. — Лешка, Лешенька, — бормотала она сквозь слезы, — Лешенька, сама не знаю как...

— Тебе что, четыре года и пять месяцев? — спросила Лешка.

— Нет, — шмыгнула носом Зойка и вдруг заплакала еще сильнее. — Стукни меня! Избей. Я подлая, подлая, подлая.

— Перестань, — сказала Лешка и неожиданно для себя обняла Зоську. Нащупала рукой ее острую ключицу, тихонечко надавила на нее. — Брось. Все это ерунда. Ты только больше не говори никому про то, про что мы разговариваем. Ладно?

— Лешка, — сказала Зойка.

— Все это ерунда, — сказала Лешка.

— Лешка! Ты не отчаивайся, Лешка! Любовь!.. Она города берет.

— Дура ты! — сказала Лешка. — Это смелость города берет. А любовь... Любовь, она только отнимает! — вдруг крикнула она. — Да-да, отнимает...

— Кустикова! — К Лешке шел физрук.

Игнат хороший парень. Самый человек из всех взрослых в лагере. Впрочем, какой он взрослый — студент второго курса. Только что боксер. Чемпион института. Но зато Нина Захаровна и не боится с ним отпускать. Даже в поход. Однако сейчас Лешке не хотелось говорить даже с Игнатом. Она сделала попытку улизнуть.

— Но-но, — Игнат догнал ее. — От меня не скроешься. Значит, так. Во-первых, давай плакаты. «Привет участникам эстафеты», «Привет дорогим гостям и родителям».

«Фу-ты ну-ты! Совсем забыла про открытие. — Лешка с досады крутанулась на одной ножке. — Приедут. Понаедут. Ох!»

— Ну, а что во-вторых? — полюбопытствовала она.

— Побежишь в эстафете.

— Не побегу. Плакаты напишу.

— Почему это ты не побежишь, интересно знать?

— Может, тебе интересно, да я не скажу. Все. Точка!

Через несколько шагов Лешке стало очень неприятно, что она так грубо ответила Игнату. Она повернулась.

— Эй! — крикнул он. — У тебя, может, неприятности какие?

— Нет. У меня нет неприятностей, — сказала Лешка и пошла дальше. «А что делать-то? Ну, не побегу, тоже бунтов-

щица. Да не беги! Очень ты нужна кому-то со своим бегом. Но что делать? Ведь что-то делать нужно».

— Кустикова!

Лешка подняла далекие глаза на Нину Захаровну.

— Кустикова, теперь дело дошло до драки. Ты, может быть, объяснишь причину?

— Ну если вы знаете про драку, то знаете и про причину.

— Ты очень невоспитанная девочка.

— Вы извините меня, Нина Захаровна, но можно, я пойду? Мне неохота разговаривать на моральные темы.

— Ты и с мамой так разговариваешь?

— Нет, — сказала Лешка. — Я с мамой так не разговариваю.

— Ну хорошо, что ты хоть кого-то уважаешь. А то у меня создалось впечатление, что тебе все трын-трава и на всех наплевать.

— Нет, — сказала Лешка. — Мне не на всех наплевать.

Они стояли и смотрели друг на друга. Лешка не знала, что выражает ее взгляд, но в душе у нее была неприязнь. «Чего все лезут со своими правоучениями. Невоспитанная я, видите ли».

Нина Захаровна смотрела устало. В уголках глаз у нее собралась сеточка морщин.

«Наверно, ей несладко, — подумала Лешка. — Чего она пошла в воспитательницы?»

— Лена, — сказала Нина Захаровна.

— Нет! — Лешка попятилась. — Можно, мы не будем сейчас разговаривать, ладно?

Лешка побрела к дачам. Передумала и повернула к волейбольной площадке. День набирал силу, и разогретый воздух кривил и ломал все прямые линии. Лешка увидела Алексашку. Как он пробирается между стульев к Маргарите Ивановне. Ее руку. Она подхватила его, взяла на колени. «Ну ему-то что! — с гневом подумала Лешка. — Он маму не помнит!» Лешка закрыла глаза, потянула носом воздух и сейчас же уловила запах маминых рук. «Но Алексашка-то ничего этого не знает! Не может знать. — На сердце стало тоскливо и холодно. — Но ему ведь, наверное, тоже хочется. . .»

— Лешка! — закричали с волейбольной площадки. — Пошли мячик покидаем!

Зашипел лагерный динамик. Закашлялся, зафыркал и волнобаевским голосом сказал: «Собирается бригада на прополку моркови. Собирается бригада на прополку моркови. Сбор у первой дачи. Выезд через пятнадцать минут. Повторяю».

— Лешка!

— Не-ет! — крикнула Лешка. — Поеду на морковку.

«Все-таки это лучше, чем реветь,— решила она.— Лучше ж работать, чем реветь».

Работать было жарко. Солнце пекло как ошалевшее. Сухая земля летела в глаза. Сидеть на корточках было неудобно. Сорняки же чувствовали себя прекрасно.

«А вот сейчас посмотрим! — сказала себе Лешка. — Сейчас мы их всех повыдираем. Ах, голодранцы! Ах, хамелеоны! Приспособленцы! Нахлебники!»

Когда ведро наполнялось, Лешка поднималась и тащила его к общей кучке. Вначале куча была небольшая. А потом выросла. Сначала в холмик, а теперь уже с гору.

Смех и шуточки давно смолкли. Энтузиазм слабел по мере роста кучи. Красные, белые, голубые, сиреневые косыночки неровным пунктиром перечертили поле.

Вначале ведра таскать было недалеко. А теперь далеко. Лешка шла, переступая длинными ногами через высокую ботву морковки, и ругала эту морковку на чем свет стоит. Больше всего хотелось пить.

Лешка провела рукой по лбу и щекам, стряхивая мелкую земляную пыль. «Но все равно три межи — мои». Краем глаза она видела, как кое-кто уже устраивался в тени берез на краю поля. Там была и Кирка. А вон к ним направился Волнобаев. Лешка отвернулась и пошла к своим сорнякам.

Вначале солнце жгло спину, а теперь стало жечь лицо. Пот тоненькими струечками вытекал из-под плотно повязанной косынки и неровными щекочущими дорожками полз по щекам. Вытирать его было неудобно, да и ни к чему. Лешка только изредка слизывала его с верхней губы. Вторая межа кончилась. Лешка переползла на третью, и теперь солнце снова стало припекать спину.

«И вот так целый день. Вернее, целыми днями,— подумала она,— целыми днями когда-то так работали крестьяне. А сейчас? — Лешка задумалась. — А сейчас? Наверное, почти так же. Сорняки-то никакими машинами не выдерешь. И сколько их! И в морковке, и в капусте, и во ржи. Да везде! Вначале распахай, потом посади, потом сорняки дергай, потом убери,

потом сохрани, потом поле в порядок приведи: — Лешка при-
свистнула: — Да уж, вот это труд! — Она покачала головой. —
Не обрадуешься. А жрать все готовы».

Лешка увидела рядом со своим ведром чьи-то ноги. Потом
руки. Рука взяла ее ведро и унесла. Лешка не стала подни-
мать голову, чтобы убедиться в том, что это Волнобаев. Через
две минуты те же ноги подошли обратно. Тихонько скрипнула
ручка ведра, и ноги ушли.

— Эй! Спасибо! — крикнула через минуту Лешка.

С грузовика ссыпались с громким смехом. А ведь залеза-
ли — словно на похороны собирались. Но полчаса дороги не
только вытряхнули душу, но и всю усталость.

— А не подговорить ли Игната дернуть на озеро? — выска-
зал всеобщую мысль Ленька Батанов.

— Это идея, — сказал Волнобаев, — а ну труби его позыв-
ные.

Ленька приложил горн к губам.

У-у! У-а! Ааа-аа-аа! Уу-уу-уу! — пропела труба.

— Игнат! — крикнули хором, не сговариваясь.

Показался Игнат:

— Слышу и знаю!

Лешка плелась позади всех. Она очень устала. Спину ло-
мило, перед глазами нет-нет да и вспыхивали золотистые иск-
орки. Она чуть потянулась, хрустнули косточки.

«Моя морковка может спать спокойно, — подумала она, —
у нее вроде как баня была сегодня. Она вся чистенькая и зе-
леная. Никто к ней больше не лезет, не пристаёт. Почти как
ко мне».

Что за купанье в вечерней озерной воде! Розовая волна
ласково лижет пятки. Она то потрется о лодыжки, то отпря-
нет. Тело охватывает истома. Возле ног снуют мальки, стреми-
тельно прыскают в разные стороны.

Все уплыли, а Лешка ходит и ходит по мелководью. Ей
не хочется плыть, ей хочется тихонечко в одиночестве ходить
по теплой прибрежной воде, чувствовать разомлевшими подо-
швами ребрышки накатанного песка, смотреть вдаль на игру
волн. «Кто это плывет обратно?» Лешка прикладывает ладош-
ку к глазам, но не может разобрать.

— Ты, может, плавать не умеешь? — спрашивает Волно-
баев.

Лешка крутит головой. Ей весело.

— Давай поучу.

— Давай, — соглашается Лешка.

— Вот смотри: главное — дыхание. Надо, чтобы подбородок был всегда в воде — для равновесия. Пусть вода все время заливаётся в пасть и выливается. Ты на вдохе чуть приподнимай голову, а на выдохе опускай ниже и выдыхай в воду. Попробуй.

Лешка несколько минут дышит по Юркиной системе.

— Это у тебя выходит. Ну, а теперь смотри. Ногами делай так. — Юрка ложится на дно, руками упирается в него и начинает колотить по воде вытянутыми в струнку ногами.

Лешка ложится рядом и усердно колотит.

— А руками так. — Юрка отталкивается от берега и начинает по-лягушечьи разводить руки в стороны.

Лешка тоже отталкивается от берега, разворачивается и кричит Юрке:

— Ну, я уже научилась. Догоняй!

Лешка плавает очень хорошо, к тому же опешивший от недоумения Юрка не сразу бросается в погоню, но все-таки догоняет ее.

— Больше не буду! — кричит Лешка.

— Утоплю.

— Ну прошу тебя, не топи.

— Ладно, — соглашается Юрка.

Они плывут рядом. Лешке приятно плыть рядом с сильным, ловким пловцом. Почти как с папой.

— А я в августе поеду в Казахстан, — говорит Волнобаев. — Буду поля опылять.

— Не врешь? — спрашивает Лешка.

— Нет! У меня отец летчик. Слыхала про таких летчиков, которые поля опыляют?

— Ну! — обиженно говорит Лешка.

— Ну вот. Я уже и в прошлом году опылял. А в этом отец обещал совсем самостоятельную работу.

— А ты справишься?

— Я с отцом уже четыре года летаю. Мать против. Все отца ругает. Говорит: угробишь ребенка. — Волнобаев рассмеялся. — А какие на этой работе могут быть опасности? Это тебе не сверхзвуковой. Там — да.

— А зачем обязательно опасности? — спросила Лешка и посмотрела на Волнобаева.

Он покраснел. Нахмурился. Выплюнул целый фонтан воды и нырнул, а когда вынырнул, сказал:

— Сельскохозяйственная авиация — это вроде как асфальтированное шоссе. Надо быть круглым идиотом, чтобы слететь в кювет. Понимаешь?

— Угу. А ты непременно хочешь в кювет?

«Папа, — сказала себе Лешка совсем-совсем тихо, — если ты женишься на ней, я не буду топиться. Не за тем я родилась на свет, чтобы топиться. Я поеду на БАМ. А вы делайте, что хотите. Вы сами по себе, а я сама по себе».

Лешка увидела себя в комбинезоне, валенках. Она строит БАМ. В руках у нее... в руках у нее... кисть. «Ну и что, — подумала Лешка, — буду строить дома, маляры ведь и на БАМе нужны. Люди ведь всюду в домах живут».

— Юра, — спросила она, — как ты думаешь, меня на БАМ возьмут?

— Эх! Вот если бы тебе уже было шестнадцать!

— Но мне уже пятнадцать с половиной. Я вполне выгляжу на шестнадцать!

— А документы?

— Что документы?

— Но у тебя ведь нет документов.

— Как это нет? У меня есть аттестат за восьмой класс, характеристика и метрика.

— Ну вот. А в метрике что? Что тебе пятнадцать, а не шестнадцать, и неважно, что с половиной.

— Какой ты рациональный, — с досадой сказала Лешка, вдохнула побольше воздуха и перешла на кроль. Вода вспенилась вокруг тела, запузырилась, и Лешку понесло вперед.

«Что за дурацкий мир! Что за дурацкие законы! Что я — ребенок? Не могу распоряжаться собой, должна от всех зависеть. Мне пятнадцать с половиной. Почти шестнадцать. Хочу и могу работать. Хочу на БАМ. Пусть только попробуют не взять. Я уже приеду туда. Буду там. Ну как они меня не возьмут? Отошлют обратно, что ли? Еще как отошлют», — подумала она с горечью.

Волнобаев догнал ее только у берега.

— Ну ты даешь. Послушай.

— Чего тебе? — Лешка на мокрый купальник натянула сафран и, не дожидаясь Юрки, быстро пошла к дачам.

— Эй!

— Я тебе не эй. И вообще...

Что вообще, Лешка не знала. Волнобаев остался на берегу, а Лешка уходила одна по крутой тропинке, туго оплетенной корнями.

Зачем в жизни столько бед и огорчений?! Лешка раньше никогда не плакала.

Она лежит под своим валуном, прижавшись к нему мокрой щекой, и плачет. Ах, Лешка, ах, дурочка! Бедная покинутая дурочка!

Сегодня только и разговоров, что о празднике. Все готовится, как с ума посходили. Не потому, что праздник, а потому, что папы-мамы приедут. А у нее будет праздник без папы. Зачем ей этот праздник?

Жарко! Над валуном колышется нагретый воздух. Все, что дальше валуна, потеряло четкий рисунок, разъехалось, расплылось. Где-то птицы поют, но негромко. Громче поет горн — это Ленька Батанов тренируется, готовится. Хорошо играет. Лешка заслушалась, но думать это не мешает. Нисколько.

«Все меня забыли. Никому я не нужна. Ни одному существу». Слезы снова закапали из глаз. Они падали на белый лист бумаги и расплывались в серые пятна. Лешка легла плашмя на траву и... уснула.

Знакомый голос доверительно прошептал ей на ухо: «А теперь мне надо изобразить печаль. Делаем все линии несовпадающими, вот как тут, — и Лешка увидела свой альбом, белый лист бумаги с серыми дорожками от слез. — Даем преобладающие холодному тону. — Невидимая рука плеснула на лист сиреневую краску. — Вот так, и накладываем темные краски — так. Поглядите. — Лешка всмотрелась, но ничего не увидела — лист был снова белым. — Вот сущность печали».

Лешка проснулась, тряхнула головой. Сон прошел. Она была на своей полянке, под своим валуном. Солнце стояло в зените и пекло.

«Хорошо бы искупаться», — подумала Лешка.

«Вот сущность печали». Ах, да. Это ведь из книжки о Ван-Гоге. Лешка улыбнулась: «А то можно подумать, что это я сама придумала. Нет-нет. Печаль не может быть такой абстрактной. Моя печаль! А можно изобразить печаль в цвете?» Лешка задумалась. Воображение стало перебирать цветовые гаммы. Рука потянулась к краскам.

«Если положить нежный голубой тон. Только теплый.

Непрененно теплый. И черные, и темно-красные зигзаги молний? Нет. Это банально. И это не передает». Лешка принялась рисовать, и на бумаге появился лоб. Это был папин лоб. Лешка поняла это сразу. Она довела линию до переносья. Мазок. Еще один мазок — получилась папина скула. Лешка задумалась, и ее рука нерешительно поблуждала над бумагой, не касаясь ее, а потом коснулась — и тогда появился подбородок. Лешке стало страшно. Ей показалось, что, коснись она сейчас еще раз бумаги, и все исчезнет.

«Нельзя выразить абстрактную сущность печали, — подумала она. — Или я ни черта не понимаю. Вот она, моя печаль».

«Папочка, — сказала Лешка. — Папочка. Не бросай меня. Делай, что хочешь. Женись, на ком хочешь. Только приезжай ко мне. Папочка! Неужели ты меня не слышишь? Папочка, где бы ты ни был, что бы ты ни делал — бросай все и приезжай ко мне».

Вот и вторая щека. Лешка нарисовала нос и рот. Даже морщинки появились вокруг глаз, но самих глаз еще не было. Лешка не могла вспомнить папины глаза.

— Это твой отец? — спросил Волнобаев. Он появился из-за валуна, словно вышел из него. — Слушай, — он сел рядом. — Я вчера думал, думал. . .

— А сегодня?

— Что сегодня?

— Думал?

— Я проколю тебя шпагой. Насквозь, — пообещал Волнобаев. — Так слушай. Тебе нужно поступить в ПТУ.

— Куда???

— В ПТУ.

Лешка повернулась к Волнобаеву.

— Только я не знаю, в какое, — сказал он.

— Ты гений, Волнобаев. — Лешка неожиданно для самой себя обняла его. — Ты гений, — прошептала она. — Я знаю, в какое ПТУ.

— Ах вот они где, голубчики.

Лешка и Волнобаев вздрогнули.

— Его по всему лагерю ищут. А они тут милуются.

— Кирка, — сказал Волнобаев предостерегающе.

— Вот уж не думала, что ты, Волнобаев, за такой мымрочкой бегать будешь. Смешно.

Волнобаев встал и протянул Лешке руку.

— Пошли, — он поднял ее альбом и краски.

— Да ты просто смешон, Волнобаев, с этим альбомчиком под мышкой. Ха-ха! — Кирка повернулась и ушла.

— Юра, — сказала Лешка. — Мне нужно немедленно уехать из лагеря.

— Ты чего? Из-за этого? — он мотнул головой в сторону Кирки.

— Нет. Из-за ПТУ.

— Почему немедленно?

— Так ведь документы. Надо подать документы.

— Успеешь, когда вернешься.

— В том-то и дело, что не успею. Туда надо экзамены сдавать.

— Какие еще экзамены?

— Рисунок.

— Это что за ПТУ?

— Есть одно в Ленинграде. Там мой сосед работает. Эх, дура. Он же рассказывал тогда. А мне и в голову не влетело. Юрка, ты просто молодчина.

— Ладно. Объясни, что за ПТУ.

— Реставрационно-строительное. А главное, там есть отделение — они росписью занимаются. Понимаешь?

— Понимаю.

— Ну вот. Там надо вначале свои работы сдать. А потом еще прийти на экзамен и там, что дадут, нарисовать.

— Ну?

— Вот и ну. Мне ехать надо.

— Стой! Вернее, сиди. Есть мысль! — Волнобаев побежал к дачам.

«Я свинья, — сказала себе Лешка тихо. — Такое наговорить бабушке... Я же люблю ее. Папу я тоже люблю. Но у него есть я, Алексашка, Маргарита Ивановна! А у бабушки ведь только я...»

— Лешка, ну, все о'кей. — Волнобаев уже был тут. Потный, разгоряченный, гордый.

— Что?

— Да я вспомнил, понимаешь, что Игнат завтра в город собирается. Ему совхоз машину дает — им что-то нужно и лагерю что-то нужно. Он берет тебя.

— Нина Захаровна нипочем не отпустит.

— Отпустила.

— Нина Захаровна?

— Она. И даже слова не сказала.
— А что ты сказал?
— Как есть, так и сказал.
— Юрка!
— Тебе хватит одного дня?
— Не знаю. Хватит... Найду в крайнем случае Володю. Он поможет. — Лешка протянула Волнобаеву руку: — Спасибо.

Лешка стояла возле расписания и читала: «Живопись и акварель». «Основы композиции». «Лепка». «Основы архитектуры». Преп. В. И. Задоров. Лешка улыбнулась, словно встретила знакомого. Ей стало не так тревожно, как было. «Народные художественные промыслы». «Обработка древесины». «Мозаика по дереву». «Конструирование моделей». «Рисунок». «Материаловедение». «Черчение». «Электротехника». «Спец. технология». Лешка присвистнула. Она с изумлением смотрела на это непривычное расписание... «Трудовое законодательство».

Она вздохнула. «Живем в каком-то странном мире. Это взрослые, те самые взрослые, которые все лучше нас знают, создают нам этот мир. Пе-те-у, — да хоть бы раз толком рассказали в школе, что такое ПТУ. Сводили бы в некоторые. Ну, пусть здесь рисунок и акварель. А в другом что-нибудь другое. Не все ведь рисуют и лепят. Другие прекрасно шьют, а еще кто-то любит паять тоненькие невидимые проволочки. Мало ли кто что любит. Но главное — специальность. Особенно для некоторых. Выйдешь отсюда — и сразу сможешь работать».

Кем и чем она будет завтра? Как будет жить? Наверное, с бабушкой. «Пусть эти живут вместе — папа, Алексашка и Маргарита Ивановна... в квартире. В их новой прекрасной квартире. Им будет хорошо — втроем. Ну, а она — с бабушкой. У Маргариты Ивановны хорошая комната. Немного маленькая, но ведь и их только двое с бабушкой.

— Эй! Расписание — не картина. Ты чего в него уставилась?

- Уставилась, и все, — буркнула Лешка.
- Тебе что — в приемную нужно?
- Нужно.
- Пошли, покажу.
- Пошли. Слушай, ты здесь учишься?

— Ага. Я уже на втором.

— Ты кто?

— Каменщик.

— «Каменщик, каменщик в фартуке белом. Что ты там строишь? . . .»

— Дура, — сказал рыжий веснушчатый парень. — Тюрьмы теперь никто не строит.

— Почему? Они же есть.

— Ну, те, что есть, — есть. А новых не строят, — он хмыкнул. — Я вообще-то в поэзии не того. . . не разбираюсь. А это знаю. Мамин один знакомый, когда я поступил сюда, тоже так сказал: «Каменщик, каменщик. . .» Мама сказала: «Ну да, ему самое занятие — тюрьмы строить, раз учиться не хочет». — Парень рассмеялся. — Вот чудачка. Если бы я был инженером, то ей все равно, что бы я строил, а раз каменщик — значит, ни на что другое не годен. А ты чего?

— А я — что и ты. Тебя как зовут?

— Валера. А тебя?

— Лена.

— Слушай, Ленка, пойдем я тебе одну вещь покажу. Голову.

— Что?

— Ну увидишь, — он взял ее за руку.

Они прошли длинным полутемным коридором и завернули за угол. Валера толкнул дверь, и они очутились в огромном зале, залитом солнцем и светом. Лешка еще никогда не бывала в скульптурных мастерских, но сразу поняла, что только такими они и могут быть. Остро пахло мокрой глиной. На столах стояли зачехленные. . . нечто, а там, где это не было зачехлено, было видно, что это такое, — головы, торсы, бюсты. И много-много маленьких фигурок из глины и даже из пластика.

— Ну где твоя голова?

— А вот. Узнаешь?

Лешка покачала головой.

— Жан-Жак Руссо.

— Ну!

— Дом учителя заказал.

— Это как?

— А так. Нам многие заказывают. На нас спрос. — Валера гордо выпятил грудь. — Шестьдесят процентов училищу, тридцать три — исполнителям.



— Вот это здорово, — сказала Лешка. — Значит, можно подрабатывать.

— А ты думала! Вот сдам голову, поеду в турпоход.

— Пошли, — Лешка потянула Валеру за рукав. Ее начало терзать беспокойство, сомнения. Она вспомнила, что она еще совсем не своя здесь, и еще вопрос — будет ли.

— Это все? — спросила высокая полногрудая блондинка, беря из Лешкиных рук альбом.

— У меня есть другие. Много. Но я не могу их сейчас принести. — Лешка с мольбой посмотрела на блондинку.

Та открыла альбом. В ярком солнечном луче плясали пылинки, иногда вспыхивая, как звездочки. Лешке было страшно. Она не рискнула сесть и теперь неловко переминалась с ноги на ногу.

— Ну, что ж. — Женщина посмотрела на Лешку, улыбнулась. — Я думаю, что и с этим багажом до экзаменов мы вас допустим.

— Ура! — тихо сказала Лешка и, осмелев, протянула женщине руку. — Спасибо.

— Ну как? — спросил ее Валера, поджидавший у дверей.

— А вот так, — Лешка пихнула его локтем. — А так.

— Ну, раз так, — он тоже несильно подтолкнул Лешку, — пойдем выпьем газировки.

К автомату с газированной водой стояла очередь. Раскаленный асфальт прилипал к подошвам. А сухой ветер забивал в глаза и ноздри горячую сухую пыль.

«Папа, — сказала Лешка тихо. — Женись, на ком хочешь. Хочешь — на Маргарите Ивановне. Я все равно буду любить тебя, папочка. . .» Она выпила два стакана газировки и подумала, что могла бы выпить еще два.

Наверху, у дач, была суматоха. Но здесь, возле валуна, как всегда, тихо. Лешка прижалась щекой к его горячему шершавому боку, задумалась, затихла. Суета наверху ее не волновала. Да и что ей было волноваться. Она никого не ждала. В эстафете она победит, конечно. И на линейку пойдет. Не может, не имеет она никакого права портить людям праздник. Ни Игнату, ни Нине Захаровне. Они и так уже избегались, изволновались. Зоська кружева к юбкам пришивает. Волнобаевский отряд опять дежурит. Когда что-нибудь ответственное — его отряд всегда дежурит. И все ждут, ждут. . .

«Папа, — сказала Лешка. — Папочка, не сердись на меня, пожалуйста. Я тебе больше слова не скажу, только приезжай ко мне, папочка!»

— Лешка! Лё-ё! — прокричал от дач звонкий Зоськин голос, до краев переполненный радостью. — Лё-ё!

Лешка молчала. Ей еще рано. Рано туда идти. А видеть даже Зоськину маму ей не хотелось.

— Лешк! Ну я кричу, кричу. — Перед ней стояла запыхавшаяся Зоська. — Ну что это! Ведь знала, что сейчас все приедут.

Лешка угрюмо посмотрела на Зойку.

— Иди же, — подтолкнула ее Зойка, — твои приехали. Папа и Алексашка.

Лешка вскочила. Какая-то мысль на секунду пронеслась в мозг. Какая-то очень важная, но Лешка не успела ее поймать. Сейчас же голова стала легкой и прозрачной, как стеклянный шар. Лешке показалось, что ее подхватил ветер и понес.

— Папа! Папа! — закричала Лешка издали. — Папка, — она уткнулась ему в плечо. — Отстань, — сказала она в папино плечо Алексашке, который дергал ее за подол.

— Не отстану, — пообещал Алексашка.

— Ну чего тебе?

— Здравствуй! — сказал Алексашка.

— Привет. Папа, — сказала она, заглядывая отцу в глаза, — я так хотела, чтобы ты приехал.

— А куда бы мы подевались? — спросил папа и подмигнул Алексашке. — Они с бабушкой за неделю принялись готовиться.

— Папа, — спросила Лешка тихо, — а кого ты больше любишь — ее или меня?

— У меня два мешка с любовью, — так же тихо ответил папа. — Из одного я достаю любовь для нее, а из другого для тебя и Алексашки. И в этом втором мешке нет дна.

Лешка улыбнулась и посмотрела на небо. Небо было синим, с высокими перистыми облаками.

— Я побегу переодеваться, — сказала Лешка. — Скоро линейка. Вы подождете меня, да?

— Да, — сказал папа. — Куда ж нам деваться.

— Ты только быстрее, — попросил Алексашка.

— Ладно, — сказала Лешка и побежала к даче.

Она летела туда как на крыльях.

Людмила Фадеева

ЧАЙКА

Ой ты, Чайка,
Чайка Чаевна!
Все вокруг тебя качаемо,
все неверно, все нечаянно,
все — стихия величаявая.
Два крыла, как волны гордые,
унесли тебя от города,
унесли тебя от берега,
чтобы ветру ты поверила.
Чтобы тучи хмуробровые
открывали дали новые
и за спинами косматыми
твое солнышко не прятали.
Чтобы волны белокодые
под тобой —
веселой россыпью!
Чтоб не сникла опечаленно
никогда ты,
Чайка Чаевна!

БЕЛЫЕ НОЧИ

Мне все кажется:
ночи белые восстановлены после войны,
по всеобщей памяти сделаны
так,
что трещинки не видны.
Светят радостью нам изначальною
ночи белые вновь у Невы.
Реставраторов руки печальные,
ни о чем не забыли вы...

Светлана Вишневская

* * *

Ни гулкой арки, ни крыльца:
ломают дом — не строят...
Труба держалась до конца
и рухнула, как воин.

В лоскут обоев, точно еж,
свернулся спать кирпичик.
Метет колючей шваброй дождь.
День знобок, сер, обычен.

Из хлама возвели курган.
Жгут мусор, как бывшее...
Остановился старикан.
Сказал: «Здесь все гнилое».

...Ни ржавой кровли, ни стены, —
лишь кирпичи слепые.
А я под этой крышей
сны
смотрела — голубые.

* * *

Даже пыль не пылит,
даже шум не шумит.
Только сумрак разлит
на асфальт и гранит.
Без границы, без дна,
без конца — тишина...
Как сегодня бледна
ночь в провале окна.
...Самой тихой рукой
тронь мне волосы, друг.
Мягче пены морской
тяжесть ласковых рук.
То ли свет, то ли тень,
то ли ночь, то ли день.
То ли явь, то ли сон,
то ли смех, то ли стон...
Небывалая новь!
Неужели — любовь?

Юрий Леушев

ИГРА

РАССКАЗ РАДИСТА

В тот сезон наша флотилия промышляла китов рядышком с Антарктидой. Суда-охотники пушечным дымом коптели и без того серое небо тех краев, а мы с Валеркой Никодимовым — радисты китобойной базы — перестреливались с берегом бесконечными очередями морзянки.

Работы было, как говорится, невпроворот. Почему? Пожалуйста, объясню. Верно говорят иногда, что радисты, мол, сачки, но это не про нас. Нам было не до сачкования. Ведь что такое китобойная флотилия? Это вам не просто группа океанских судов — это целый плавучий мясокомбинат. Да какой! Народу на флотилии — полторы тысячи. Каждый по одной весточке родным подаст — у нас на столе куча, а по две — гора. И если учесть, что к середине рейса люди звереют и через день начинают строчить телеграммы, то тут без комментариев ясно, как мы с Валеркой «сачковали». Одним словом, о кино или о каких-то там культурных развлечениях думать нам не приходилось, и в то же время душа все-таки требовала разрядки. И тогда придумали мы игру. Верней, даже не придумали, а все как-то само получилось.

Началось так. Сижу я однажды с наушниками, принимаю с берега частные радиограммы на пишущую машинку. За

спиной перфоратор погромыхивает: Валерка наши депеши на ленту набивает, чтобы их сразу и передать, как только я прием закончу. А как только я бланк с текстом из машинки выкачу, тотчас жаркое Валеркино дыхание обжигает мне затылок. Нервничает Валерка. Со вчерашнего дня словно чокнутый он — получил из своей Березовки весточку, что синеглазую его Анюту в роддом увезли.

Само собой, и мне его состояние передалось. Как-никак третий рейс бок о бок кукуем. И мне, конечно, не терпится друга порадовать. Обычно-то я все тексты машинально принимаю, не думая, а тут в каждую радиogramму вслушиваться стал, боюсь нужную пропустить. Начинается каждая телеграмма, известно, с места подачи: из Москвы там или из Казани, так вот, я как только «из Березовки» услышал, так сердце и подскочило. Текст этой радиogramмы еще из-под ключа берегового радиста не вылетел, фамилия — кому телеграмма — еще где-нибудь над океаном неслась, а я уже вопил что есть мочи:

— Из Березовки! . .

Ну, что тут было! Валерка словно спятил. Наушники с меня сорвал, шары выкатил, челюсть набок, сам сообщение слушает, потом пришлось просить еще раз повторить телеграмму, на бланк уже. Это уже после, как он в досталь наорался: «Сы-ын!» — да раз десять через голову перевернулся, после чего побегал к капитан-директору бутылку выпрашивать.

Ну, а дальше посыпались ему вести каждый день. Валерка дал строгий наказ своим домочадцам сообщать ему, как там чадо его развивается. Вот и пошло: «Петик — вылитый папочка», «У Петика голосок, как у Пъехи». . . Валерка сияет, всем хвастаться бегаёт, а я, когда его радиogramмы принимаю, чтобы ему приятное сделать, выкрикиваю: «Из Бе-е. . .»

Валерка привык к этим сигналам и мне стал платить той же монетой. Начнет для меня весточку принимать и в полный голос:

— Из Ле. . . — из Ленинграда, значит.

Как-то раз я случайно обманул Валерку. Услыхал, как всегда, «Из Бе. . .», сразу, естественно, отреагировал, а телеграмма-то оказалась не из Березовки, а из Березы Картузской! Валерка, как всегда бросившийся ко мне, чертыхнулся, погрозил кулаком:

— Ну, я тебе тоже устрою!

Его подвоха пришлось ждать недолго. На следующий же

день, когда была его очередь принимать, только он сел за машинку, слышу:

— Из Ле..!

Ну, я, конечно, клюнул на удочку, подбегаю к нему, а он смеется:

— Куда! Это из Ленинабада!

Плюнул я с досады. А Валерка хитро подмигивает:

— Чудак, это я просто память твою испытать решил. Ну-ка, скажи, кому пишут из Ленинабада? Не знаешь? Эх ты... А кому из Голый Пристани? Подумай, ну?..

Так началась наша игра. Тот из нас, кто принимал с берега частные радиogramмы, громко произносил название пункта отправления, а другой должен был отгадать, кому телеграмма адресована.

— Из Перми! — выкрикивал я.

— Гарпунеру с «Игрового» Пушкареву, — тотчас откликнулся напарник.

— С Адесы? — так произносил это слово Валерка, словно всю жизнь прожил на Дерibasовской.

— Раздельщику китов Жючковскому, — в тон Валерке отвечал я.

— Из Архангельска?

— Жировару Копытову...

Прошло не так уж много времени, и мы знали наизусть, откуда каждый из китобоев получает весточки. Тогда Валерка предложил усложнить игру. Однажды, когда он перед началом сеанса настраивал передатчик на рабочую волну, а я сматывал на катушки ленту, Валерка вдруг повернул ко мне свое худощавое скуластое лицо и прищурил цыганские глаза:

— Алеха, ну-ка по-быстрому — кому это подписывают радиogramмы «твой хлебогрызики»?

— Хлебогрызики? — Я задумался. Такая подпись действительно встречалась довольно часто, но в чьих телеграммах, на это я как-то не обращал внимания.

— Ну, а у кого жену зовут Виолеттой? Ах, Алеха, не выйдет из тебя разведчика. Давай-ка с сегодняшнего дня ударим по подписям.

Я с сомнением покачал головой. То, что предлагал Валерка, показалось мне неосуществимым.

— Бред, — сказал я, — «хлебогрызики», «твой сизокрылые чайки», Баядеры, Виолетты, Элочки, «бабы-яги» (бывают и такие подписи) — это, конечно, семечки. Их мы разгрызем в

два счета. А вот как из трех сотен Галин или Тамар ты угадаешь, какая чья? Нет, пустое дело.

Валеркины пухлые губы изогнулись в презрительной усмешке. Он неторопливо подошел к столу, взял пачку свеженьких телеграмм, полистал, выбрал из пачки десятков.

— Читай. — Он ткнул пальцем в подпись той, что лежала сверху.

— «Твой верный Галчонок», ну и что?

— Так. А здесь?

— «Галина с дочками». — Я, кажется, начал понимать.

— А тут? Ты читай, читай... — не унимался Валерка.

— «Галчата», «Твой Галчата», «Галка с галчатами», «Твоя Галка»... Хм... «Любящая тебя Галочка», «Галя и Галочка»... Да-а... Все разные.

Игра продолжалась. Разобравшись с Галинами, Тамарами и Светланами, мы поставили еще более трудную задачу — стали угадывать фамилии адресатов по текстам радиogramм. Крепкий это был орешек! Телеграфный язык насчитывает не больше сотни слов, из них наиболее часто употребляется всего несколько десятков. На первый взгляд все радиogramмы кажутся совершенно одинаковыми: «Жду, скучаю; люблю, целую». Но это только на первый взгляд. Когда мы присмотрелись внимательнее, оказалось, что эти слова каждый отправитель, вернее, отправительница расставляла совершенно по-разному, вкладывала в них различный смысл и оттенок. Сухие, безликие строки постепенно оживали, и через несколько недель мы уже бойко перекликались:

— «Ужасно соскучилась, срочно шли сто»?

— Гогову.

— «Милый, любимый, дорогой, ненаглядный, жду, грызу подушку, люблю, люблю, люблю»?

— Пустыхину...

Вскоре мы не только безошибочно узнавали адресатов, но по разным неприметным признакам научились угадывать привычки, настроение, характеры наших корреспондентов.

— Вернемся, — хвалился Валерка, — диплом по сыщицкому делу напишу.

Приближался новый год. Для нас это было самое жаркое время. Все полторы тысячи китобоев жадно схватились за перья. Ошалев от долгого плавания, все рвались поздравлять

родных, знакомых и полужнакомых, казавшихся в этой чертовой дали лучшими друзьями.

Игру пришлось прекратить. Теперь мы с Валеркой не вылезали из радиорубки. Стучали дни, стучали ночи, на ключах, перфораторах, на пишущих машинках, принимали и передавали до тех пор, пока не валились без сил на клубы отработанной ленты, а через час вскакивали и стучали опять...

Поздно вечером тридцать первого декабря Валерка принял последнюю телеграмму и стянул с головы наушники. Я выключил аппаратуру, впервые за две недели оглянулся кругом. Радиорубка была завалена «поцелуйками». Кипы принятых, переданных радиogramм громоздились на столах почти до самого подволака, на приемниках, торчали из-под стола. Углы рубки были завалены лентой, повсюду валялись обрывки магнитофонной пленки, испорченные бланки, скомканные листы бумаги.

— Ур-ра! — вырвался из моей груди победный вопль. Обработать двадцать пять тысяч радиogramм из этой дыры, куда с трудом добирались радиоволны, — это что-то значило! Я ждал бурной радости и от Валерки, но он почему-то не откликнулся на призыв и продолжал сидеть за столом, мрачно уставясь на торчащий из машинки бланк.

— Тоже мне кореша, — наконец зло усмехнулся он, сощурив свои цыганские глаза. — Нашли время!

Я подошел ближе, а он, резко обернувшись ко мне, воскликнул:

— Нет, ты только послушай, что они, гады, пишут! Вот: «Срочно закрывай аттестат, Светку видели в «Приморском» с чуваками. Кореша».

По привычке я напряг память, стараясь угадать, кому же это прислали такой новогодний подарочек, но ни подпись, ни текст на этот раз мне ничего не говорили. Пришлось заглянуть в телеграмму через Валеркино плечо! Ого! Бедный Пустыхин! Ничего себе: «Жду, плачу!..» А он так волнуется, с таким нетерпением ждет от своей ненаглядной Светочки новогоднее поздравление. Сегодня он уже раза три справлялся, нельзя ли получить его досрочно. Мне сразу вспомнилась его богатырская фигура, кудрявая голова и взгляд — нетерпеливый, полный любви и надежды.

— Ладно, — махнул рукой Валерка. — Пошли. Пару часиков кемарнем, а потом примемся за канцелярию.

И мы пошли в каюту — первый раз за две недели, — решив

попозже разобрать, оформить и записать в журнал всю эту массу телеграмм. Все равно не хватило бы сил заниматься этим сейчас.

Мне снился странный сон. Китобаза, волоча за собой густую бороду водорослей и высекая из асфальта оранжевые снопы искр, ползла по Невскому. Забавное это было зрелище! На крышах домов шевелились толпы людей, кто-то махал платком, кто-то грозил кулаками, доносились крики. И вдруг сердце мое остановилось. Впереди я увидел свой дом. Почему-то он стоял поперек проспекта, преграждая дорогу плавбазе. Дом быстро приближался. Уже можно было через окна видеть внутренность квартир, людей, занятых своими домашними делами. В глаза бросилась часть стола, видневшаяся в распахнутом окне, тарелка с дымящимся супом, раскрытая книга сбоку и женская головка, склонившаяся над книгой. Да это же Нелька из двадцать шестой квартиры, догадался я, холодея от ужаса. Что же они там, на мостике, уснули, что ли? Ведь сейчас наша махина врежется в дом, и тогда... Я порывался бежать на мостик, застопорить машину, дать задний ход, но ноги словно приросли к палубе. А дом и Нелька уже были в нескольких метрах... Я зажмурился, вскрикнул и проснулся.

Сразу же в нос ударил резкий запах одеколona. Кругом что-то сыпалось, падало, звенело, грохотало. Хлопали дверцы рундуков, позвякивали колесики шторок, метавшихся по карнизам, где-то плескалась вода... Только теперь я вспомнил оповещение об урагане, переданное новозеландской радиостанцией, о котором мы совершенно забыли, увлеченные работой и подкошенные усталостью. Я представил, что творится в радиорубке, и ужас, теперь уже наяву, охватил меня.

Я выскочил из койки и рванулся наверх. Оправдались самые дурные предчувствия. Пол рубки был устлан толстым бумажным ковром. Все перемешалось: принятые и переданные радиogramмы, накладные, инструкции, учебники, чистые бланки, журналы, игральные карты, газеты, всякие мелочи, повыветавшие с полок, из стальных шкафчиков. И по всему этому винегрету катались из угла в угол литровые бутылки с фиолетовыми чернилами и канцелярским клеем. В местах, где пути их сходились, слышался мелодичный звон и рождались темные, липкие кляксы.

Громкий стон привел меня в чувство. Возле моих ног, обхватив руками голову, раскачивался из стороны в сторону Валерка. Я отлично понимал его. На первый взгляд казалось, что

большая часть принятых нами поздравительных телеграмм погибла безвозвратно. Их придется запрашивать вторично. На это уйдет время. А оба мы знали, с каким болезненным напряжением люди ждут эти поздравления, и представляли, что будет, если завтра, то есть уже сегодня, они их не получат. Во всем окажутся виноватыми жены. На берег полетит поток ругани и упреков. Возникнут телеграфные ссоры. Возможно, кое у кого дело дойдет до развода: «А-а, некогда было поздравить...» И никакие наши объяснения не помогут. Нервы у всех напряжены до предела, и на здравый смысл рассчитывать не приходится.

В отчаянии я наклонился и поднял одну из радиограмм. На месте фамилии адресата и части текста красовалось чернильное пятно. Попытка рассмотреть бланк под разными углами к свету не дала результата.

— «Твоя любящая Ксана», — вполголоса прочитал я подпись. — Эх, Ксана, Ксана, погорела твоя телеграмма!

— Стоп! — внезапно оживился Валерка, вскинув голову и вырывая у меня бланк. — «Твоя любящая Ксана», говоришь? Так это же Степанчуку! Его жена всёгда так подписывается. — В его глазах загорелась надежда. — Не трухай, — ободрил он меня. — Сейчас все будет в ажуре. — Он уселся за стол и быстро перепечатал радиограмму.

Я воспрянул духом. Как же сразу не сообразил! Я нагнулся за следующей телеграммой. Здесь была начисто залита подпись, но зато можно было прочитать фамилию адресата — Артюхин. А кто подписывает радиограммы Артюхину, я знал: Гуленьки.

И вновь разгорелась игра. Только теперь ошибиться было нельзя. «Лапочка — это Иванову?» «А у Суроегина, кажется, Лилия?» «У меня и детей все прекрасно — так ведь пишет всегда Агеева?» — проверяли мы друг друга.

Постепенно таяла пачка испорченных телеграмм.

Внезапно я споткнулся. Попалась сплошная мазня. Только несколько букв проглядывали сквозь фиолетовые потеки.

— Эту придется запросить, — вздохнул я и отложил бланк в сторону. — Тут сам аллах не разберется.

— Ну-ка, дай! — протянул руку Валерка. Сморщив лоб, он внимательно рассматривал телеграмму, поворачивая ее и так, и сяк, подносил к лампочке. — Да это же Пустыхину! Вот смотри, просматривается «ый... ый... ой... ный» — милый, любимый, дорогой, ненаглядный... — Он озадаченно помолчал,

потом вытащил из нагрудного кармана сложенную вчетверо телеграмму с подписью «Кореша», которую зачем-то оставил при себе, почесал затылок: «Вот так подарочек!»

Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

— Слушай, а ведь могло быть наоборот, ведь могло же, а, Алеха? — осененный какой-то мыслью, задумчиво произнес Валерка, переводя взгляд с одной телеграммы на другую.

— Конечно, могло, — подтвердил я, чувствуя, как с души сваливается камень. — Не засунь ты этих корешей в карман, их бы так заляпало, что и не догадались вообще, кому она.

— И тогда не пришлось бы нам испортить праздник хорошему человеку, — как бы думая вслух, произнес Валерка.

— А может, и вообще там все вранье... Что это за типы писали, еще разобраться нужно. И вообще хамство посылать такое в Антарктику. Могли бы и после рейса, в конце концов, свои счета сводить. Что он тут может сделать?

— Ладно, — решил Валерка. — Будем считать — одна из десяти тысяч списана в брак. — Он решительно поднял бутылку и вытряхнул на «корешей» остатки чернил.

Мы поглядели друг на друга и рассмеялись.

В окно заглянул солнечный луч, редчайший гость в этих краях. Он скользнул по стопкам разобранных радиogramм, по металлическим частям приборов. Как-то незаметно стихла качка. Откуда-то донеслась музыка.

— С Новым годом! — улыбнулся Валерка.

— Со скорым возвращением домой в новом году!

Пора было идти в столовую, раздавать китобоям поздравительные радиogramмы. . .

Валерий Трипутин

СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА

РАССКАЗ

После того как уехала в отпуск жена с пятилетним сыном, дни для Андрея Михайловича лишились какого-то необходимого освещения, словно потускнели. Он дольше задерживался на работе, в заводской лаборатории, неохотно покидал ее, а вечера коротал в опустевшей квартире за журналами со схемами и расчетами или читая фантастику. Но к концу второй недели он уже чувствовал утомительное однообразие своего житья. Ему вспомнилось, что давно он не видел своего еще школьного товарища, у которого изредка бывал на даче.

И воскресным утром он уже выходил из электрички на пригородной станции. Свернув с пыльной поселковой дороги на петляющую вдоль заборов тропинку, он снял туфли. Солнце было не высоко, с травы только-только сошла роса, тропинка кое-где ныряла под припавшие зеленые космы, и Андрей Михайлович на ходу с удовольствием раздвигал босыми ногами тяжелые прохладные метелки.

Дачу своего приятеля он узнал еще издали, по струганой калитке, которая янтарно светилась в отлогих чистых лучах утреннего солнца. Перед ней Андрей Михайлович приостановился. Из-за тесных кустов смородины, растущей вдоль штакетника, слышался женский голос: «...я этого понять не могу, как можно, прослушав какую-нибудь арию или песню, как

можно после этого взрываться, безудержно бить в ладоши? Да такой первобытный восторг убивает всякое впечатление, и у хлопающих, наверное, ничего, кроме гула в голове, не остается...»

И Андрей Михайлович тотчас узнал этот голос. Это была Саша — близкая подруга жены его приятеля. Та самая Саша, которая всегда интересовала, влекла его и которую постоянно какое-нибудь препятствие отделяло от него.

В то время, когда Андрей Михайлович впервые повстречал ее в доме у этих же знакомых, она работала техником в лаборатории конструкторского бюро и самозабвенно увлекалась театром. Занимаясь в студии и настойчиво готовясь к штурму театрального института, она упорно отстраняла от себя все, что не имело отношения к ее увлечению.

Андрей же Михайлович — тогда еще просто Андрей, художавый, стройный и оттого казавшийся выше своего среднего роста студент технического вуза — к театру был совсем непричастен, посещал его редко, от случая к случаю. И в тот вечер их первого знакомства, прислушиваясь к общим разговорам, заметил, что безотчетно ловит только ее слова, смотрит только в ее сторону. Она тоже сначала как будто заинтересовалась им и за чаем села рядом. Он чувствовал себя напряженно, хотелось не упасть в ее глазах, и для этого, казалось, нужно было заговорить с нею о чем-то непременно умном и близком для нее.

— Я слышал, вы увлекаетесь театром? — были первые его слова, обращенные к ней.

— Да, очень, очень. Просто другой цели для себя в жизни пока не вижу, — ответила она.

— Хорошо, когда человек так увлечен, — с непривычной солидностью произнес он. — Только ведь какие знания можно получить от всех этих пьес? Ведь с помощью театра цельной системы взглядов на жизнь не выработаешь, — и он, расплескивая, помешал ложечкой чай.

После его слов, застыв, она с минуту смотрела в свою чашку, усиленно соображая что-то, только вздрагивала ее темная лоснящаяся бровь. Неожиданно склонившись к столу, она беззвучно засмеялась. Потом, все еще будто не приходя в себя, с влажными глазами, допила чай и под села на диван к своей подруге. И уже никак не выделяла его среди других, напротив, словно бы сторонилась, и к вечеру распрощалась с ним вежливо и безразлично.

При повторной встрече он опять пытался заговорить с нею,

спрашивал ее о новых пьесах. Она отвечала нехотя, общими фразами: «Ничего вещь, посмотрите, получите удовольствие», — как будто не принимала всерьез ни его вопросов, ни его интереса к ней; как будто вообще не верила в возможность искреннего чувства в нем, раз он не любит театр так же, как она.

А он не унимался и несколько раз приглашал ее, и не куда-нибудь, а именно в театр, в ее любимый Пушкинский. Эти приглашения как-то оживляли ее, веселили, что ли.

— Вы же сами признавались, что картонные декорации не создают у вас чувства реальности, что игра актеров часто кажется притворной и что вообще в театре вы не переселяетесь в другой мир. Зачем же вам еще и со мною идти скучать? — допрашивала она его, как попавшего впросак ученика.

— Ради вас можно и поскучать, — храбрился он.

— Конечно, можно, — соглашалась она. — Но я-то хочу, чтобы мужчина шел в театр со мною не скучать, а сопереживать. Так что вы, наверное, вовсе и не меня собирались пригласить, подумайте-ка хорошенько? — говорила она, смеясь одними глазами, и испытующе глядела на него. Казалось, чтобы принять приглашение, она ждала от него только каких-то решительных и смелых слов.

Но он терялся, отступал, точно сам начинал сомневаться — ее ли он хотел пригласить?

И постепенно отношения их все более превращались просто в приятельские, с оттенком легкой иронии и безразличия. По-немногу он свыкся с этим и симпатии ее уже не искал. Став, таким образом, как бы независимым от нее, он при случае еще чаще, упорнее возражал, противоречил ей, словно отвечая тем самым на ее равнодушие.

— Нет, давайте оставим в стороне все эти внешние эффекты — удачные жесты, свободное владение ролью, — начинал он, когда речь заходила о какой-нибудь знакомой ему пьесе. — Лучше скажите мне: что нового открыла вам эта вещь, что добавила она к вашему мироощущению, к вашему жизненному опыту? Можете это сделать? — спрашивал он ее.

— Ах, Андрей, Андрей, какой вы неисправимо расчетливый, — с жалостливым состраданием в лице, словно проглотив что-то кислое, говорила Саша. — Вам непременно подавай практический смысл, чтобы его можно было сформулировать, зафиксировать, положить на полочку и полюбоваться, — вот, мол, принес из театра, не напрасно ходил туда. Ну разве так

можно? А просто эстетическое удовольствие, возможность пожить другой жизнью, иногда более интересной, чем своя, разве это ничего не говорит уму или чувству? Или чувства для вас ничего не значат?

— Почему же не значат? Значат! — не сдавался он. — Но чувства только тогда обогащают нас, когда нам понятен их смысл. . .

— В таком случае читайте басни, — уже раздраженно советовала она, — уж там-то смысл отчеканен и мораль, как сладкое блюдо, преподнесена, — заканчивала она и тут же как бы забывала о его существовании.

Так он и оставался вдали от нее, от ее увлечений, интересов.

Потом она неожиданно вышла замуж за театрального гримера. И случайные их встречи стали совсем мимолетными, космически редкими. А к тому времени, когда она разошлась с мужем, оставшись с четырехлетней дочерью, женился он. И опять их отношения оставались приятельскими, дружески сдержанными. Только разговаривали они теперь при встречах почему-то чаще всего о работе, — профессии у них были родственные, связанные с электротехникой. И Андрей Михайлович своими профессиональными разговорами и советами окончательно заслужил у нее репутацию рассудительного, сухого и скучного человека.

Он знал об этом, но изменять это невыгодное представление о себе не стремился. Порой даже удерживал в ее присутствии щекодавную язык остроту. Он как будто всячески подерживал сложившееся о нем мнение. И при этом общаться с нею ему было легче.

. . . Толкнув легко распахнувшуюся калитку, Андрей Михайлович уверенно вошел в заросший мелкой травой дворик. Тут же за кустами он увидел Сашу. В голубом купальнике, привольно раскинувшись на раскладушке, она что-то читала.

Отстранив от себя книгу и досадливо шурясь от упавшего на ее лицо солнца, Саша недовольно взглянула на Андрея Михайловича.

— А, Саша, здравствуйте, — сказал он, сделав вид, что не замечает ее досады и недовольства. — С кем это вы тут витийствуете?

И узнав, что она беседовала с подругой, только что ушедшей в огород, и что приятель его с удочкой на реке, Андрей

Михайлович, не задерживаясь дольше, направился к дому, чтобы переодеться.

— Сейчас приду к вам... пофилософствовать... — бросил он на ходу шутливо-угрожающим тоном, скорее желая услышать, что же она ответит, чем действительно выполнить свое обещание.

— Ах, приходите, обожаю философствовать о триггерных схемах, об увеличении памяти приборов, — с наигранной мечтательностью ответила Саша.

— А мне, может быть, больше хотелось бы поговорить о вас, — остановился Андрей Михайлович, неприятно задетый ее наигрышем и ожидая от нее еще какой-нибудь колкости.

— Обо мне? — Саша повернула к нему голову с зачесанными назад каштановыми волосами, пристально, с недоумением посмотрела на него — он ли это и не шутит ли? Но увидев его серьезность, ответила уже просто, без ужимок: — Да что обо мне говорить? Все обыкновенно. Неудачница.

— Быстро вы в неудачницах прописались, быстро, — сказал он, продолжая стоять с портфелем среди двора.

— А разве нет? Дважды поступать в театральный — и безрезультатно.

— Мне жаль, если вы совсем отказались от своего увлечения.

— Не отказалась, но пока ничего и не делаю. А может быть, и все кончено.

— Жаль, если так, жаль... Я всегда удивлялся, слушая, как вы рассказываете. До сих пор, например, помню вашу секретаршу, которая опаздывает, жмет на такси, влетает в приемную, плюхается в кресло, хватается сигарету и тотчас успокаивается, словно только за сигаретой и спешила.

— Для театра этого еще мало. В настроении, в ударе каждый хорошо изобразит или расскажет. Да и к чему себя-то обманывать?

— Но вы же не разлюбили театр?

— Ну и что же, но ведь все впустую. Только зачем я вам все это говорю? — сказала она, опуская раскрытую книгу себе на грудь.

— Ну, это вы напрасно.

— Что напрасно?

— Напрасно думаете, что все впустую. Если вы чем-то занимались любя, значит, в это время вы жили в самом высоком смысле этого слова. А это оправдывает даже неудачи, —

проговорил Андрей Михайлович, медленно подходя к деревянному столику подле Саши и садясь за него.

— Странно вы сегодня рассуждаете. Мне близки эти мысли, но странно слышать их от вас. Мне казалось, вы молитесь только на результат и всякая мечта или стремление человека интересны для вас только по результату.

— Ну, это уж ваше дело понимать меня так. А я искренен с вами.

— Тогда сколько же, по-вашему, можно делать попыток?

— Пока чувствуете, что есть крылья и можете ими махать.

— Я вас сегодня не узнаю, — мягко и радостно сказала Саша. Она повернулась в сторону Андрея Михайловича, набросила на себя халат и отложила книгу, будто приговаривая к давно ожидаемому разговору.

* * *

После купанья и долгой прогулки по лесной дороге, усыпанной теплой золотистой хвоей, Андрей Михайлович, его приятель с женой и Саша сидели во дворе перед домом за поздним обедом. Утомленные, все ели молча. Только приятель Андрея Михайловича — невысокий, в синей футболке, с рассыпающимися прямыми волосами — время от времени заглядывал в лежащую рядом с Сашей книгу о современной архитектуре и пытался подтрунивать над ней:

— Ну, Саня, тебя и бросает! В следующее воскресенье ты наверняка привезешь с собою что-нибудь о выращивании фасоли квадратно-гнездовым способом.

Саша лишь усмехалась, вслепую поднося ложку ко рту и замороженно глядя в раскрытую книгу.

С книгой за столом осталась она и после обеда. С чашкой чая продолжал сидеть против нее и Андрей Михайлович. Его присутствие не стесняло ее, она не чувствовала неловкости от его молчания, от его упорного близкого взгляда. Изредка она поднимала от страниц глаза, без смущения, прямо смотрела на него и снова принималась за чтение, накручивая на палец прядку волос над смуглым от загара лбом.

Солнце опускалось все ниже, багровело, и вокруг устанавливалось настороженное предвечернее затишье; всякий звук не пропадал, не терялся, как днем, а приобретал зримую отчетливость. И раскат громыхнувшей где-то двери, и ленивое тьяканье собаки плыли в этой тишине, не смешиваясь и не за-

глушая друг друга. И посыпавшиеся с крыльца слова: «Ну, так что же ты, батенька, так и собираешься заночевать у ног нашей прекрасной дамы?» — обращенные к Андрею Михайловичу, прозвучали как посторонние и не согласные с этой тишиной звуки.

Он оглянулся: на ступеньках крыльца у перил темнела фигура его приятеля.

— Все, я сейчас еду, — вместо Андрея Михайловича спешно ответила Саша, закрывая книгу и сладко потягиваясь.

— Я, пожалуй, тоже поеду... Вы не возражаете? — добавил Андрей Михайлович тише, обращаясь к Саше.

— Поедемте, — согласилась она, будто еще раньше уверенная, что в город они поедут вместе.

Выйдя на гравийную дорогу, они пошли не гуськом, как по тропке, а рядом. Солнце садилось у них за спиной, и все пространство перед ними было затоплено мягким лимонным светом. Блестящая дымка застилала низину и строения недалеко, уже видной станции, которые, казалось, парили над землей.

— День сегодня какой-то удивительный! — радостно вздохнула Саша. — Хочется петь или читать стихи.

— Прочти что-нибудь, — невольно переходя на «ты», попросил Андрей Михайлович.

Саша быстро вскинула на него глаза, заметив, видимо, этот переход, и пошла медленнее, опустив голову и сосредоточенно глядя под ноги. Потом, положив руку на сумочку, висевшую у нее на плече, и будто найдя наконец опору, она подняла голову.

— «Когда любовью и негой упоенный...» — с каким-то сдержанным восторгом медленно и тихо начала она...

— Удивляюсь, зачем еще и еще горы стихов, когда есть такие, — сказал Андрей Михайлович после того, как она окончила чтение. — Ведь они любой душе что-то скажут.

— А знаете...

— А знаешь... — поправил он.

— А знаешь, и мне приходила подобная мысль, — обрадованно сказала Саша, заглядывая Андрею Михайловичу в лицо. — Но даже и после таких сколько еще написано прекрасных!.. Только жаль, что все так поздно...

— Что поздно?

— Потом скажу.

— Когда же потом? — увлекаясь значительностью недосказанного, настаивал он.

— Ты любил когда-нибудь по-настоящему?

— Саша, я ведь женат, — ответил Андрей Михайлович. — Да и что такое по-настоящему?

— Знаешь, это чтобы близкий человек ничем не нарушал возникшего к нему чувства.

— Возможно ли такое? Это же значит отказаться от своего «я» и во всем следовать желанию другого, — сказал Андрей Михайлович и взял ее руку, — она была холодной и неуверенной при встрече с его рукой.

— Да, мечта, мечта... Пойдем быстрее, чтоб успеть на электричку, — проговорила Саша.

* * *

С высокой городской платформы Саша спускалась неохотно, не глядя на лестничные ступени, а лишь нащупывая их ногой. Она была еще задумчиво-отрешенной среди торопливых горожан, как будто не узнавала тех мест, куда приехала. А когда они шли мимо сквера, прилепившегося к основанию голой кирпичной стены, она вдруг предложила зайти в него «взглянуть на милый фонтан».

И они зашли. Чаша фонтана из пепельно-серого выщербленного временем гранита была мала — совсем игрушечная. В середине ее, сиротски прижавшись друг к другу, стояли две бронзовые цапли на длинных металлических ногах-трубках. Из клюва одной сочилась вода. Внизу, у ее ног, на прозрачной поверхности нехотя кружился оранжевый лист.

Саша искоса смущенно взглянула на Андрея Михайловича, будто спрашивая, не напрасно ли она привела его сюда, не кажется ли смешной и сентиментальной ее неожиданная склонность к каким-то заброшенным фонтанам, к провинциальным скверам.

Андрей Михайлович поймал этот обращенный к нему за поддержкой взгляд и улыбнулся.

Лет в семнадцать-восемнадцать он тоже любил такие же, как бы навсегда забытые уголки города: какой-нибудь садик среди домов или пустынную набережную... Тогда подобные места располагали к длительным мечтам, к волнующим попыткам заранее наметить, запрограммировать для себя всю предстоящую жизнь, в которой он, конечно же, собирался совершить нечто значительное. И хотя это были всего лишь надежды, но

все равно хотелось, чтоб кто-то знал о них, верил бы в них вместе с ним. Даже не просто кто-то, а именно Она — та незнакомая и единственная, которой тогда еще не было. А когда Она явилась и стала его женой, то оказалась совершенно равнодушной и к облетающим осенним скверам, и к тихим, малолюдным улицам, и особенно к неисполненным надеждам и мечтам. И, кажется, так вот спокойно и вольно они с женой никогда по городу, по паркам и скверам не бродили, а всегда только спешили, спешили куда-то. И говорили постоянно о делах, о том, что нужно купить, куда сходить, что сделать. . .

— Прелестно, прелестно, все сегодня прелестно, — не поворачиваясь к Саше, сказал Андрей Михайлович. — Я б не удивился, если б сейчас рядом звучал старинный вальс, а по мостовой зазвенели шпоры. Да вот, ты разве не слышишь?! — он повернулся к ней, чуть вытянув шею и вслушиваясь.

— Какой ты. . . — Саша запнулась, словно тут же решив не говорить того, что хотела. — А мне казалось, ты только своими схемами, микромодулями и занят.

— Да нет, не совсем так. Но без них действительно я себя не представляю. Увлечения делом ведь ничем не заменишь.

— А семья? — Саша почему-то улыбнулась жалеющей улыбкой.

— Даже и семьей. Хотя жене я б этого не сказал.

— Почему?

— Чтоб не обидеть.

— Меня бы это не обидело.

— Это только тебя, Саша, только тебя. Значит, ты без предубеждений, — задумчиво произнес Андрей Михайлович. — Я тоже не вижу тут ничего обидного.

— А мне в свое время даже хотелось, чтоб муж чем-то увлекался, что-то еще сильно любил. А он все твердил, что любит только меня. И вот оказалось, что одной этой любви мало, — оживляясь, заговорила Саша. — Пойдем, я провожу тебя до остановки, мне самой отсюда близко.

Андрей Михайлович согласно кивнул, и она взяла его под руку.

У флажка с номерами троллейбусов они отошли к подворотне, молочный свет фонарей доходил туда слабее, там было сумрачно и дневной загар на ее щеках, на овальных скулах выглядел теперь пергаментной бледностью. Андрею Михайловичу хотелось спросить, когда же они еще смогут встретиться. Но задать этот простой вопрос почему-то было трудно.

— Я не люблю долго прощаться, тяжело, — вполголоса сказала Саша.

— Ты думаешь, прощаться?

— Да... так лучше.

— Кому лучше?

— Тебе, мне... — она помолчала. — Хотелось бы, чтоб все было свободно, без оглядки.

Андрей Михайлович покорно и понимающе смотрел на нее; она тоже смотрела на него — открыто и прямо, чуть подняв к нему лицо с длинными, детски тонкими прядками волос, спускающимися от висков к шее.

— Вот твой троллейбус подходит, я прошу тебя, поезжай сейчас. — Саша притронулась к его плечу, и он замер в ожидании дальнейших слов. Но она ничего не говорила и не отнимала руки...

Он чуть пригнулся, ладонью обнял ее за шею, крепко, ничего не чувствуя от волнения, поцеловал в уголок губ и прыгнул в светлый квадрат распахнутых дверей. Двери тотчас сомкнулись за ним. На мгновение он потерял улицу, дома, ее — все исчезло за черным блеском окон.

Но тут же ее лицо одиноко выплыло из темноты, вырисовываясь в окне. Она улыбнулась и приложила ладонь к стеклу, видимо ободряя его.

Троллейбус качнулся с бока на бок и нерешительно тронулся. Саша пошла рядом, не отнимая ладони от стекла. Лицо ее по-прежнему улыбалось, а глаза начали неестественно блестеть.

Андрей Михайлович дернулся к выходу, но тут же растерянно остановился посреди полупустого светлого салона и незаметно покачал головой, будто говоря: ну что же делать, что же делать?..

Троллейбус прибавил ходу — стекло выскользнуло из-под ее ладони, и лицо пропало в темноте. По окну полоснули сливающиеся в линии огни реклам и вывесок. Андрей Михайлович опустил на сиденье... и внезапно подумал, что завтра же даст согласие на дальнюю и длительную командировку, от которой наотрез отказался накануне.

Михаил Тулин

* * *

Посмотрите на нас, герои,
На живущих в стране сейчас.
Вы бы взяли нас в бой с собою,
Разделили бы в трудный час
Горсть махры с Володей, Татьяной,
Костей, Варей, Романом, мной?
К вам на суд мы идем, ветераны,
Не отпущенные войной.

* * *

Атаки кончились. Окопной жизни взгляд
С годами затуманивает память.
Но и сейчас в меня седой отец-солдат
Закладывает истинный фундамент.
Сражение без выстрелов идет,
Здесь пулемета нет, который грудью
Своей накрыл бы, падая на дзот,
С одним желаньем, чтобы жили люди.

Последний бой на каждом берегу —
Проверка нашей стойкости на деле.
Невысшая слова «не могу»
Во мне живет до гробовой постели.

ВЕСНА

И сызнава весна пришла в края,
Пропитанные сыростью и мраком.
Свой хвост поймать старается, скуля
От радости, соседская собака.
Черемуха лепечет, опьянев
От солнечных весны прикосновений.
Сижу под ней, мне чужды зло и гнев,
Она в цвету, вот запах —

в подтверждение,

Что вновь земля из завязи плоды
Любовно зарождает повсеместно.
Мой город, сплошь окутанный в сады,
В оазисы, подаренные лесом,
Стоит весь светлый, солнце ощутив,
И стеклами оконными сверкает,
Приветствуя весну.

А я сижу застыв...

Пускай ничто весны не нарушает!

Петр Кондратенко

* * *

Постели, как бывало, в сенях,
Я с гулянья приду не скоро.
Не блуждать же по хате впотьмах,
Уподобившись вору?

Постели и ложись отдыхать,
Ведь поди притомилась за день.
Ничего мне не надо стирать,
Ничего мне не надо гладить.

Ночь теперь без того коротка,
А тебе ведь с росой в поле...
Хватит, мама, жалеть сынка.
Он взаимною жалостью болен.

«Завтра встану — управлюсь со всем:
Даже щей наварю к вечеру», —
Говорю. Сам краснею лицом
И украдкой кошусь на двери.

* * *

Ребенок рисует небо,
На небе зеленые звезды.
Мне кажется, я таким не был —
Я сразу родился серьезным.
А тут вдруг зеленые звезды? . . .

Вот голуби в лужу сели,
Он смотрит на них внимательно,
И думаю я: неужели
Я мог быть таким любознательным?

Ирина Борисова

ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ

РАССКАЗ

Николай Палыч вел Наденьку с фигурного катания, как всегда, немножко в обход, мимо бывшей своей работы. Увидев проходную, он приостановился и посмотрел на часы.

«Как раз ответственные исполнители собрались, — подумал он, — скоро на завод поедут».

Потом ему пришло в голову, что, может быть, производственные совещания по вторникам давно отменили, и он вспомнил, как раньше во вторник трезвонил телефон и все главные вопросы решались с его ведома.

Из дверей проходной выбежал паренек с тубусом, похожий на Сашку-практиканта, который, бывало, всовывал круглую, с длинными волосами башку в кабинет и нудил:

— Николай Палыч, опять ведь тепловой расчет не получается...

— Небось хоккей вчера смотрел? — ворчал Николай Палыч.

— Да занимался я, а вот все равно... — канючил, лукаво щурясь, Сашка, и Николай Палыч откладывал дела и говорил:

— Ну, чего на двери-то повис; оборвешь.

И Сашка мигом влетал в кабинет.

— Опять пристаёт! — возмущалась секретарша Анна Платоновна. — Да где это видано, чтоб начальники секторов вам дипломы считали! Постыдился бы!

Но Сашка восседал за столом рядом с Николаем Палычем и хитренько улыбался.

В глубине души Николай Палыч тогда считал, что он мог бы быть не только начальником сектора, а руководителем и большего масштаба. Ему так казалось, когда на высших совещаниях приходилось растолковывать крупным начальникам целесообразность вывода приборов на цифровой стенд, а не — по старинке — на аналоговые блоки. Начальники все были кандидаты, и они-то уж, конечно, знали, что это надежней, но он умел доказать, что и с коренной переделкой сектор уложится в заданные сроки, и, действительно, сектор укладывался.

— Эх, мы не думали о диссертациях! — проходя с работы, говорил тогда Николай Палыч. — Сейчас молодежь все норovit на себя поработать, а мы-то думали о производстве!

Он вовсе не хотел, чтобы зять-аспирант ерзал на стуле, но, когда замечал ерзанье, остановиться уже не мог.

— Вон Алешка Горшков! — продолжал он. — Учился на одни тройки, мы ему всей группой диплом сделали, а теперь что? Пока мы по заводам мотались, он себе кандидатскую смастерил — тесь за уши вытянул. А сейчас, пожалуйста, в управлении — шишка!

— Ну, знаете, дурак диссертацию не напишет! — И зять в запальчивости поднимался из-за стола. — И вообще, сами-то не потянули, вот теперь и. . .

— Папа, прекрати! — почему-то кричала Ольга, вскакивала и убегала вслед за мужем.

— И-эх! — махал рукой Николай Палыч, а жена укрывала теплой ладонью его постукивающие по столу пальцы и говорила:

— Ну, Коля, ну зачем ты его?

— Я — его! — возмущенно повторял Николай Палыч. — На меня небось покрикиваете, а на него — не больно-то! Опять в отпуск с компанией на лодках, а она сиди себе с ребенком дома. Как это, а? Ты вот, мать да бабка, что скажешь?

И Николай Палыч, топая, ходил по комнате. Он не мог простить зятю того смятения, которое было в их доме, когда разговоры о свадьбе еще не шли, а Ольга уже распускала платяя и выбегала из-за стола. Николай Палыч тогда только тяжело молчал, потому что жена уговорила его молчать, и эта тема была табу. Когда же «хлюст соизволил жениться», Николая Палыча это не обрадовало, даже после визита жениха. Собственно, жених больше молчал, но Ольга. . . Ольга была дру-

гой — суетящейся, раздражительной... Она, обычно не вникавшая в хозяйство, кричала на мать, что та раскладывает вилки не так, а потом пришел жених, и когда мать — «ясное дело, от радости, что хлюст осчастливил», — назвала его сыночком, Николай Палыч перехватил умоляющий и укоризненный взгляд Ольги, а хлюст преспокойно ковырялся в тарелке вилкой и ножиком, аккуратно держа их пальцами с отшлифованными ногтями.

После свадьбы все пошло, как в тот первый обед, и между Николаем Палычем и зятем установились напряженно-неприятные отношения, изредка прорывавшиеся вот в таких вспышках.

— Коля, может, правда разъедемся, — однажды сказала жена. — Я буду Оленьке с обедами помогать, пусть отдельно поживут, может, правда лучше...

Она ожидала, что Николай Палыч воскликнет: «Ага, ради него на все готовы!» — но он только устало сказал: «Делайте, как хотите...»

И они с женой въехали в коммуналку. «Зато тебе до работы рукой подать, магазины тут как тут — очень удобно», — словно оправдываясь, говорила жена, а сама бегала каждый день к Ольге, возвращалась грустная и только качала головой.

— Ну, как живете? — спрашивал Николай Палыч дочь, когда та приходила к ним с Наденькой.

— Нормально, — отвечала Ольга потупившись, а Николай Палыч крепко усаживался рядом, давая понять, что намерен вести серьезный разговор.

— Муж-то помогает или все по рыбалкам да охотам?

— Помогает, — и Ольга отворачивалась, а жена тут же начинала с Наденькой громкую игру: «Ладушки-ладушки! Где были — у бабушки!» И разговор кончался.

Однажды, входя, Николай Палыч наткнулся в коридоре на чемоданы, а навстречу ему выбежала Наденька. В комнате жена спрятала платок, а Ольга встала и, пытаясь сделать улыбку, сказала:

— Вот, папа, я и пришла! — Улыбка у нее не получилась, рот искривился, и она принялась отрывисто бросать слова: — Все, как ты хотел, папа! Все по-твоему!

— Да что ты? — ахнула мать. — Что ты, Оленька?

Но Ольга уже не могла справиться с лицом и всхлипнула раз, другой... потом зарыдала, а Николай Палыч сел, взял на

руки тоже плачущую Наденьку и, расстегнув воротник, проворчал:

— Распустили тут гидравлику, понимаешь... — А потом, заметив, как жена держит руку на груди, проворчал: — А ты бы лучше корвалолу выпила... Да не потом, — сейчас иди...

Ночью жена, сбиваясь, шептала ему, как зять деловито заявил Ольге, что глупо надеяться исправить одну ошибку другой, а вот теперь он встретил наконец... и поэтому, естественно...

— Ах он сукин сын! — поднималась ярость в Николае Палыче, но жена говорила:

— Оставь, пусть живет, как знает. Вот она-то, она... Как жить будет? Как?

И жена плакала, а Николай Палыч будто обрубал спутанный клубок словами:

— Как? У нее Надька есть! Еще и лучше, чем всю жизнь с подлецом с этим!...

И действительно, набегающие дни, как кирпичики, строили стену, отгородившую и хлюста, и все с ним связанное. Вечера становились шумными, со звоном юлы, с разговорами о том, как Наденька в замоченное белье положила картошку. Ольга, казалось, повзрослела, стала хозяйственной и тихой. Утрами, когда жена и Надя спали, Ольга и Николай Палыч молчаливо завтракали, тонко позванивая в чайных стаканах ложечками.

— Надо тебе новое зимнее пальто заводить, — иногда нарушал тишину Николай Палыч.

— Куда мне? — бесцветно возражала Ольга, усмехаясь задумчиво.

Николай Палыч не понимал этой усмешки. Иногда ему казалось, что он вообще не понимает дочь. Так было, когда они шли однажды вместе на работу и увидели в дырочки почтового ящика письмо и Ольга вдруг засуетилась, тыркалась ключом, открывая. А увидев открытку из домоуправления, бросила ее на пол как ненужную, но под недоумевающим взглядом Николая Палыча подняла и покраснела. «Неужели от него ждет? — поразился он. — Это после всего-то?» И Ольга будто поняла его взгляд, съежилась и, опустив голову, пошла вперед. И Николай Палыч долго думал и качал головой, а вечером принес килограмм любимых Ольгиных трюфелей. Жена тогда поругала его за расточительность, Наденька хлопала в ладоши, а Ольга съела всего две штуки...

И Николай Палыч так и не смог приблизиться к ней до конца, пока не случилось то, что перевернуло всю его жизнь.

Ему казалось теперь, что он, прежний, умер в тот день, когда, увидев у подъезда «скорую», он почувствовал недоброе и все же старался подниматься не торопясь, не желая верить в предчувствие. Но когда услышал голоса, чей-то гулкий шепот: «Сердце» — и увидел, как кто-то свесился вниз и отпрянул, заметив его, — тогда на негнущихся ногах он вскарабкался на последний пролет и, спотыкаясь, вошел в квартиру.

Всю ту ночь они просидели с Ольгой вдвоем. Ольга начала и переставала плакать, а он сидел прямой и застывший и не мог разобрать, что есть прошлое, что — настоящее. Он был где-то в белом до блеска зале недавним студентом, еще не научившимся танцевать. Он пригласил ее подругу, но после двух шагов та рассмеялась, сказала: «Поучитесь сначала!» — и бросила его в центре зала и пошла, покачивая длинной широкой юбкой. И не успел он почувствовать обиду, как подошла она, улыбнулась так по-домашнему — и то ли от ее пушистой челочки, то ли от неказистого платица ему стало легко и просто, и с того дня он не помнил своей жизни без нее. А потом родилась Оля, и они ютились в общежитии, а она еще и шутила: на три квадратных метра — трое, и один метр общий, — целых четыре комнаты. Вспомнив, какая она была тогда, он впервые заплакал, тоненько и по-стариковски. . .

Она всегда все успевала, а он ей почти не помогал, допоздна задерживаясь в КБ. Он так много работал, что как-то и не заметил, как выросла Ольга, а она была повсюду — у плиты, с Ольгиными тетрадками, в Ольгиной жизни и в его жизни. А он никогда не был близок Ольге так же, как мать, не сумел, не захотел, не успел. Работа, ужин, телевизор да ворчание — сначала: «Почему троек нахватала?» — потом: «Куда вчера ходила до двенадцати?» — и, наконец, занудное: «Ну, как живете?»

Все дело было, наверное, в том, что Ольга — дочка, а не сын, с ними непросто, с дочками, они непонятны, хотя и любимы, им нужна какая-то не такая любовь. . .

И все-таки у Николая Палыча и Ольги осталась Наденька, и с тех пор началась их общая жизнь.

Николай Палыч решил выйти на пенсию. Ему сочувствовали и стеснялись уговаривать остаться, а ему казалось, что он уже совсем старик и все считают — пора. И действительно, он

осунулся и одряхлел в эти несколько дней, и просторный пиджак как-то сразу повис на его согнувшихся плечах. И после неудобного, последнего дня на работе, когда в кабинет целый день тянулись люди и пожимали руку, началась домашняя жизнь, и он стал совсем другим и удивлялся себе.

Теперь Николай Палыч ходил по магазинам, пополняя дневные пенсионерские очереди. Ему стало интересно, когда и где продают свежий творог, совхозное молоко, мягкий хлеб, хорошее мясо. Раньше об этих вещах могла долго говорить жена, и теперь он попрекал себя, что когда-то прерывал эти речи, морщась и не понимая. Теперь Николай Палыч гулял с Наденькой, водил ее на фигурное катание, возил по катку большую лопату, помогая расчищать снег, скользя в таких же белых, как ботинки девочек, бурках. А потом стоял в стойке укутанных бабушек и, похлопывая бурками, грел ноги, глядя, как под сверкающими над катком лампами кроха Наденька неуверенно выходила на «ласточку», оставляя на льду короткие белые штришки.

Вечером приходила Ольга и в дверях уже чувствовала запах ужина и слышала голосок выбегавшей к ней Наденьки.

— Ну, как у инженеров дела? — приветствовал ее Николай Палыч, выходя с шипящей сковородой.

— Нормально, папа! А у пенсионеров как? — весело спрашивала Ольга.

— Вот, сегодня «ласточку» сделали! — гордо сообщал Николай Палыч.

— Не может быть, а, Надюш? — нарочито изумлялась Ольга. — Неужели правда «ласточку»?

— Дед всегда правду говорит, да, Надя? — назидательно внушал Николай Палыч.

— Да! — смеялась Наденька и бежала показывать «ласточку» на полу.

— Ай да дочка! — восхищалась Ольга.

— Вот как мы! — и Николай Палыч подбрасывал Наденьку к потолку, а та визжала от хохота.

Так они и жили, и суета этих дней, заполненных мелочами, снова отделяла прошлое, и Николай Палыч думал о нем уже только с грустью, хотя иногда его все-таки остро колола боль. Так случилось, когда Ольга в первый раз купила ему фланелевую стариковскую рубашку, а не белую, какие всегда покупала жена. Он подумал тогда: «Ну и правильно, в ней только и ходить на каток». И все же кошки заскребли у него на

сердце, но когда он застал Ольгу, укрепляющую пуговицы на этой рубашке и откусывающую зубами нитку, как это делала жена, обида пропала и ему стало стыдно за себя, и он сказал Ольге:

— Давай я сам!

— Да что ты, папа! — подняла глаза Ольга, и он повеселел и целый вечер рассказывал ей, как раньше жене, про свою бывшую работу.

Эти вечерние разговоры да воскресные прогулки втроем разгоняли тоску, и все-таки с фигурного катания он вел Надю мимо проходной и всегда останавливался.

Сейчас он вспомнил, как его хотели повысить и сделать замом начальника отдела, но весь сектор пришел к нему в кабинет, а Сашка, картавя, сказал: «Нет, Николай Палыч, не разрешим, не позволим!» — «Да я первая уволюсь!» — заявила Анна Платоновна. А он и сам не знал, что делать, — становиться замом-администратором не хотелось, и нельзя было пренебречь повышением и прибавкой к зарплате, но, увидев такую делегацию, Николай Палыч неожиданно для себя нахмурился и сказал: «А где это вы глупые сплетни собираете? Кто это вам доложил?» И сотрудники, вздохнув с облегчением, указывая пальцами на Анну Платоновну, ушли, и Николаю Палычу было приятно и немного обидно, он и ругал себя, и был доволен, а вечером гордо выложил все жене, а та покачала головой и сказала: «Глупый ты у меня, Коля, ох, глупый!».

Николай Палыч смотрел на проходную, а Наденька тянула его дальше, и он послушно пошел, но боковым зрением уловил что-то знакомое и оглянулся. Он подумал: «Не может быть!» — но нет — от проходной шла Ольга, а за плечи ее держал какой-то мальчишка, а она тянулась к нему, бережно и нежно застегивая его верхнюю пуговицу.

Николай Палыч остолбенел, выпустил Наденькину руку, потом схватил крепче и быстро свернул в парадную. Из чужой парадной он видел, как они прошли мимо, и даже услышал, как Ольга сказала: «Ты, Кирюша, пойми...» А Кирюша был долговязый, совсем молодой, смотрел прямо и вел ее по тротуару, как собственность. И Николай Палыч не мог сдвинуться с места, а Наденька смотрела на деда удивленными блестящими глазенками.

Дома он долго стоял у открытой форточки. «Снова, снова захотела! — подстегивая себя, думал он. — Мало было того

подлеца! Ах, дура, ну и дура!» Он представлял себе дочь глазами того парня — молодая разведенка, все позволено, — и от ревливой ненависти сердце его ныло. Собранный и только-только устроенный мирок — частица прежнего мира — рушился, и Николай Палыч шептал: «Куда там! Больно мы ей с Надькой нужны!» И слова жены: «Как жить будет? Как?» — снова обожгли его, и он подумал, что ничего бы этого не было, будь жива жена.

В темном дворе детский голос кричал: «Мо-о-жно! Иди-ите!» Во дворе играли в прятки, и кто-то спрятался слишком надежно, и его, наверное, уже не искали, и он, потеряв терпение и не выходя, кричал все чаще и чаще.

«Надо поговорить с ней, — решил Николай Палыч, — серьезно поговорить, объяснить, пусть прекратит, пока не поздно. Да, да, поговорить!»

И когда Ольга вошла, он приблизился к ней молча, глядя в упор, но она не заметила, она привлекла к себе Наденьку, смотрела куда-то мимо, и глаза ее влажно сверкали. Николай Палыч попятился в кухню, тревожно глядя на нее, не доверяя и не желая доверять.

Ужинали молча, и Ольга опять не замечала молчания, думала о своем, а Николай Палыч решил поговорить после, когда Наденька будет уложена спать.

Он остался один, а потом пошел вслед за Ольгой. Ольга сновала мимо, тихо и деловито, совсем как жена, и Николай Палыч осознал вдруг, что она совсем еще молодая — всего-то двадцать пять и что он об этом раньше не думал, хотел покоя и незыблемости, как и подобает старику. От этой мысли он заворочался на стуле, и Ольга обернулась, приложила палец к губам и шепнула: «Тсс!» И Николай Палыч замер в удивлении, будто первый раз она обратилась к нему, как к равноправному участнику таинства укладывания, когда Наденька затихает, смолкает совсем и, наконец, спит.

И Николай Палыч вдруг понял, что мало думал об Ольге, о том, что у нее есть своя, другая жизнь. Ему вдруг показалось, что она, как тот мальчишка во дворе, спряталась здесь, в этом мирке, но ей, как и тому мальчишке, наверное, хочется крикнуть, призывая к себе другой мир, от которого она, казалось, полностью отгородилась.

Ольга наклонилась поправить одеяло, и Николай Палыч увидел ее лицо совсем близко. Губы приоткрылись, глаза улыбались, Ольга укрыла Наденьку и перевела взгляд на отца.

И Николай Палыч задохнулся от близости этого взгляда, от незыблемой уверенности, что он все понимает так же, как она. И он выпрямился, рывком сжал ее руку и, устыдившись, отпустил. Она растерянно застыла, не убирая руки, а он вышел из комнаты, боясь потерять то, что появилось вдруг у них, осознав до конца, как он нужен, чтобы охранять эту ее радость, стоять за ней и за Наденькой, быть им вечным и неизменным защитником. Он понял, что разделит теперь и ее счастье, и ее горе, да и не будет она несчастной до конца, потому что есть Наденька, потому что есть он. «Ничего... — подумал Николай Палыч. — Ничего... Пока я жив...»

Эдуард Задеенюк

* * *

Казалось бы, так было и так будет,
Проверено на собственной судьбе:
Неважно то, что скажешь ты о людях,
А важно то, что скажут о тебе.

Но если не исчезнешь в пересудах,
А превратишься в полку добрых книг,
Тогда неважно, что там скажут люди,
А важно то, что ты сказал о них.

Анатолий Домашев

* * *

Остров, остров! Как палубой гулкой,
по проспектам твоим я ходил,
твои линии и переулки
навсегда, навсегда полюбил.

Там на самой на кромочке невской
был мой дом, был мой белый массив,
и окно мое, как занавеской,
завешивал Финский залив...

* * *

Вот зазеленеют стадионы,
выбегут на поле бегуны.
Красный трикотаж их — на зеленом.
Ветер, рвущий майки со спины...

Лебедь с длинно вытянутой шеей
кинется за самкой по воде,
и скворец, от воздуха хмелея,
в небе позабудет о еде.

Там, где в глубине глухого парка
ивы над каналами растут, —
быстрые и легкие байдарки
наискось пейзаж пересекут.

Льдинки отплывающие стукнут
в золото кленового весла...
Вот тогда придет она, наступит,
нами долгожданная весна.

* * *

Изучен каждый завиток,
орнамент, лепка, стойки, —
я взглядом трогал потолок
весь год с больничной койки.
Глаза прикрою: жар костра,
весна, и лодки наготове...
Как медицинская сестра,
зима стояла в изголовье.

Михаил Чулаки

ХОРОШО, ЧТО ВСЕ ПРОШЛО

ПОВЕСТЬ

Любил, страдал — и все прошло.

Словно играла музыка — хорошо играла, красиво, но слишком долго, слишком громко, слишком много скрипок.

И вот тишина. Отдыхаю. И чувство свободы.

Тишина наступила вдруг, сразу. Еще вечером...

Вечером все было как обычно. Лилита — она далеко. Дома? Гуляет? В гостях? С кем?!

Мысленные жалобы, тысячи упреков, повторенных уже бесчисленно сколько раз — про себя.

Наконец заснул. Спал без сновидений. В шесть утра проснулся. Хотя воскресенье.

Проснулся. Лежу. Чувство, что со мной что-то необычное. Тишина!

Она меня не любит?! А мне все равно.

Она, может быть, с другим?! А мне все равно.

Она прекрасна! А мне все равно.

Хорошо!

А началось это очень давно. Одиннадцать лет назад. И было нам по девятнадцать. Потому что, хотя она и на год старше, но ей как раз оставалось четыре дня до двадцатилетия.

Она стояла — тогда еще незнакомая. Лицо сдержанное и страстное, как на фресках Рублева.

Она сказала — еще до нашего знакомства:

— Через четыре дня кончается молодость.

Ей сказали:

— Не кокетничай.

Она сказала — все еще до нашего знакомства:

— Нет, правда. Двадцать лет — это уже взрослость. Два десятка!

Ей сказали:

— Тогда лови мгновенья! Последние четыре дня!

Она сказала:

— Нет, правда.

А я стоял и смотрел.

С кем она была? Где? Не помню. Вижу только ее, а вокруг затемнение.

Потом помню голос Ленки:

— Клевая девочка.

Так тогда говорили. Или и сейчас говорят? Надо бы следующему поколению придумать что-нибудь получше. Хорошо еще, что Ленка не сказал «чуввиха». Зато он добавил самое важное:

— Лилька Красноперова с ФАЭ.

Вспомнил: стояли мы перед входом в институт, под тополями. Шуршали листья — осень. Случилось это третьего октября. Дату знаю точно.

Осень, октябрь, прохладно — она была в перчатках. Многие решили эти перчатки.

А что я в первый раз сказал ей? Что она в первый раз сказала мне? Не помню. Что-то незначительное, банальные слова, обычно приходящие на язык при знакомстве. Недостойно воспоминания.

Последние четыре дня молодости... Пыталась ли она ловить мгновения? Как отпраздновала вступление во взрослость? Не знаю. Действительно ли стало двадцатилетие рубежом в ее жизни? Или правильно ей тогда сказали, и были ее сегования обычным кокетством? Не знаю. Но знаю, что несчастьем моей жизни стала ее непоколебимая внутренняя серьезность, прекрасно сочетающаяся со внешним легкомыслием. Была ли она такой всегда, или моя беда в том, что из одиннадцати лет нашего знакомства лишь четыре дня пришлось на ее молодость?

Она училась на ФАЭ, я — на РТФ, и случайно встретиться следующий раз мы могли бы и через год. Но я позаботился помочь случаю. И помог так удачно, что мы оказались вместе

в автобусе двадцать второго маршрута. Одни в целом автобусе, так по крайней мере казалось мне.

Мы стояли в углу на качающейся площадке прицепа, я заклонял ее от всего мира. Ее просто заслонить и защитить: она тонкая, как девушка-гусар. А качка автобуса — качка эта обещала будущие совместные путешествия: корабли на волнах, поезда на стрелках.

Ехать ей нужно было — вот счастье-то! — до самой Охты. Мне, естественно, туда же.

Сначала все шло так, как и должно идти в подобных случаях: я в меру сил старался быть остроумным и занимательным, это, по-видимому, удавалось, она смеялась в нужных местах.

Из всего тогда мною сказанного помню одну тираду:

— Нет, я телевизор почти никогда не смотрю. Даже если интересная передача. Понимаешь, я-то знаю, что нынешние телевизоры устарели морально, потому чувствуешь себя как-то глупо. Точно в век электричек тащишься в Зеленогорск два часа на паровике.

Вот так получилось, что при первом же разговоре с нею — моим счастьем и несчастьем — я заговорил о телевизорах, ставших потом для меня тоже и счастьем, и несчастьем. Случайно ли? Вряд ли. В мире все перепутано неспроста.

Но самое важное, что уже в ту первую нашу беседу я говорил ей «ты». Или это обман памяти? Нет, я решительно не могу себе представить, чтобы я хоть раз, хоть когда-то сказал ей холодное «вы» — моей Бемби, моей Лилите!

Когда мы вышли из автобуса, я непринужденно пригласил ее в кино, и она согласилась, только на следующий день и обязательно на дневной сеанс — сразу после лекций.

Стояла осень, солнечная и холодная. Мы шли через сад к ее дому, я держал ее за руку, ладонь в ладони. Небо было ясным, вымытым недельными дождями, и во мне была такая же ясность: на завтра мы шли вместе в кино, потом еще куда-нибудь; весь город принадлежал нам, и вся жизнь.

Она остановилась, повернулась ко мне, сказала:

— Вот мой дом. До завтра.

Сняла перчатку и протянула руку.

На пальце блестело тоненькое желтое обручальное кольцо.

Когда я увидел ее в первый раз перед институтом, она тоже была в перчатках.

А если бы я увидел кольцо сразу, неужели не последовало бы продолжения?!

Не верится. Но кто знает.

— Ты замужем?

Я выговорил это с трудом. Голос прозвучал хрипло и глухо, я услышал себя словно со стороны.

— Да, а что? Это же не значит, что у меня не может быть друзей, ведь правда? Сейчас не домострой.

Она безмятежно смотрела мне в глаза.

Постепенно я узнал подробности: она вышла замуж за полгода до нашего знакомства, мужу двадцать пять лет, он экономист, подает надежды, должен защититься года через два.

Вышла замуж за полгода до нашего знакомства. Я с тревогой смотрел на ее живот. Но нет, не заметно было никаких признаков беременности.

— Это же не значит, что у меня не может быть друзей, ведь правда?

Она улыбнулась и, не дожидаясь моего ответа, вошла в дом. Вошла в свой дом, где жила с мужем в пятнадцатиметровой комнате, как я узнал потом.

Главное: вошла *в свой дом*. А я остался на улице. Кандидат в друзья.

Вот тогда я и начал произносить свои мысленные монологи, раньше за мной такого не водилось. Впрочем, я скоро перешел к диалогам, придумывая реплики и за нее.

Я шел один через тот же сад, а в голове выстраивались слова:

«Но ведь это ничего не значит. Ну подумаешь — замужем. Ведь если бы она очень его любила, мы бы не держались за руки. И зачем идти завтра со мной в кино, если любишь мужа? Лучше тогда идти с ним, тем более ребенка у вас нет, вечера свободны. Вот я бы — я бы хотел ходить только с тобой, и не стал бы больше ни с кем. Ну, а раз ты не так уж его любишь, то ничего страшного, что замужем. Подумаешь — развестись».

Это был первый опыт, до диалогов я еще не дошел, поэтому ее воображаемый ответ остался неизвестным.

И хорошо бы, я произнес свой монолог один раз — ну, высказал, что наболело, хоть бы и про себя. Но я повторял его снова и снова, это даже нельзя назвать повторением, потому что повторение — активное действие; нет, монолог крутился в голове словно сам по себе, помимо воли, будто склеенная кольцом пленка.

«Ну подумаешь — замужем. Ведь если бы очень его любила, мы бы не держались за руки. Ну, а раз ты не так уж его любишь, то ничего страшного, что замужем».

А на другой день мы пошли в кино. Фильм оказался дурацким: детектив, но уж больно третьесортный; он открыл собой целую галерею дурацких фильмов, которые мы посмотрели вдвоем. Почему-то нам везло: мы почти всегда попадали на третьесортные фильмы. Да не почему-то: и потому, что мы всегда шли на первый попавшийся — в ближайшее кино, на ближайший сеанс; и потому, наверное, что на хорошие фильмы она ходила с мужем.

Но какое значение имел фильм?! По крайней мере для меня. Мы сидели рядом, вот в чем дело, вот в чем счастье! Да почему я говорю «для меня»? А она, что же, смотрела все эти киноопусы ради их художественных достоинств?!

И все-таки один фильм оказался замечательным. Мультипликация. «Бемби».

Когда мы вышли, я сказал:

— Это ты — Бемби.

Ей было приятно. Но все же она сказала:

— Придумал. Главное, я уже совсем взрослая. Нет, правда.

Честное слово, она была точно такая же, как только что на экране. Особенно глаза.

— Особенно глаза. Да и все. Ты же со стороны не видишь, как бежишь, когда опаздываешь. В точности как Бемби от пантеры.

Странная у меня была роль: влюбленный друг. Только друг.

В конце ноября выпал снег. И вместо кино мы поехали в ЦПКиО.

— На час, не больше, — как она предупредила.

Я катил Бемби на финских санях. В снежный солнечный день невольно чувствуешь себя счастливым. И уж особенно когда, стоит чуть опустить глаза, видишь перед собой вязаную шапочку Бемби.

Я разогнался по ледяной дорожке, и мы летели вперед по инерции.

Я наклонился и сказал:

— Я тебя очень люблю, Бемби.

Она резко повернулась, почти вскрикнула:

— Ну зачем? Ну зачем ты? Так было хорошо! Нет, правда, зачем ты?

Инерция погасла, мы остановились.

— Но ведь я правда тебя люблю, Бемби.

Она отвернулась, спросила тихим, бесцветным каким-то голосом:

— Чего же ты хочешь? Ты же знаешь, я замужем, я никогда не скрывала. Думаешь, брошусь к тебе на шею, соберу бельишко и убежим?

— Почему же нет?

— Тебе не приходило в голову, что я люблю мужа?.. Так было хорошо, а ты все испортил. Поехали сдавать сани.

Мне хотелось сказать:

«Так зачем мы каждый день встречаемся? Зачем приехали сюда? Зачем тебе нравится со мной?»

Но она бы обиделась. А мне не хотелось ее обижать. Мне было жалко ее обижать. Мне было больно, но я не мог в отместку сделать больно ей. (Так я открыл для себя старую истину: любовь — это когда боль любимой для тебя больней собственной боли.)

Я молча катил сани. Потом заговорил о чем-то незначительном. Так и говорили до самой Охты.

Перед своим домом она сказала:

— Ну, чего ты киснешь? Я же всегда очень рада тебя видеть. Давай, будто ты сегодня не говорил ничего? Нет, правда.

И я малодушно сказал:

— Давай.

А на обратном пути разыгрался бурный диалог. Мысленный.

«Какое значение имеют слова? Как будто ты только сегодня узнала про мою любовь. У меня же все на лице написано. И зачем мы тогда видимся каждый день? Что это за пламенная дружба?»

«Потому что мне нравится бывать с тобой».

«Скажи прямо, что ты меня любишь. Ну, ошиблась, не за того вышла замуж, бывает. Тем более мы поздно познакомились».

«Я не ошиблась. Я люблю мужа, правда. Почему ты думаешь, если одного люблю, на других не могу и посмотреть? Мужа люблю, а ты нравишься. Вот я такая!»

«Значит, все-таки не любишь, раз нравится кто-то еще!»

«Нет, люблю. Ты слишком прямой, словно схема. Думаешь, если одного люблю, то все. А на самом деле не так».

И без конца. И по кругу.

Только ночью я из этого круга вырвался. Потому что сказал себе:

«Нет, хватит, надо с этим кончать! Неужели она думает, я соглашусь вечно быть в таком дурацком положении? За кого она вообще меня принимает?! Какую роль взяла себе? Жесточкой красавицы?»

Вот тогда-то мне и пришло в голову второе имя для Бемби: Лилита!

Ее зовут Лилей, так что второе имя образуется совершенно естественно. Но не в созвучии дело.

Где-то я читал легенду — не то у Франса, не то у Чапека — о Лилит, первой жене Адама, созданной не из ребра, а из глины, как и сам Адам. Эта Лилит была прекрасна и бессмертна, но она не была замешана в историю с запретным яблоком и потому так и не узнала, что такое любовь. Она жила бесконечно, многие любили ее страстно, а она оставалась холодна.

Я понимал, что по отношению к Бемби это не совсем справедливо, но все равно повторял мстительно:

— Лилита!

И мое единственное спасение было в том, чтобы не видеть больше Лилиту. Забыть.

Встречались мы всегда у выхода из института. Когда мои занятия кончались раньше, я бесцельно слонялся два часа, потому что все равно ничем не мог заняться; когда раньше кончала она, то шла в читалку, и я находил ее там. Она поступала разумнее, мне бы тоже было полезно посидеть лишние два часа в читалке, но науки не лезли мне в голову. Мы никогда специально не улавливались о следующей встрече, просто сам собой установился такой порядок.

На другой день после катания в ЦПКиО я как раз кончал раньше. И я ушел.

Мне было очень плохо. Я ходил — по Невскому, по Садовой, свернул зачем-то к цирку, вышел по Фонтанке к Неве...

Я шел медленно, но это было бегство. Вся жизнь сосредоточилась в стрелке часов: она сейчас на лабораторных, ничего не знает; вот начался перерыв, она села в стороне немного пожевать — у нее манера не обедать как следует, а почти каждый час что-нибудь жевать понемногу; перерыв окончился; вот всего пятнадцать минут до конца...

Еще не поздно успеть вернуться: только вскочить в автобус! Правда, их Лебединский часто отпускает с лабораторных

немного раньше — сам куда-то торопится; но она подождет, она подумает, что я не знаю, что их отпустили раньше, она подумает, что я появлюсь у входа к самому концу занятий. Всего только вскочить в автобус!

И автобус словно нарочно показался.

Но я отвернулся к газете у стены и так простоял, пока автобус не отъехал. Все, теперь не успеть, даже если бы захотел. И оттого, что исчезла свобода выбора, стало словно легче.

И стало невыносимо жалко ее.

Вот занятия кончились. Спускается. Ищет глазами. Удивляется. Надька, ее подруга, настоящая змея, смеется:

— Как это сегодня нет твоего оруженосца?

Одевается. Делает вид, что ей все равно. Что и не ждала никого.

Уходит. Все еще оглядывается тайком.

Так невыносимо жалко!

Первый раз я понял тогда, что слова *сердце болит от любви* — не метафора. Сердце болело, болело в самом медицинском смысле, хоть принимай таблетку. (Что принимают при болях в сердце? Я тогда не знал.) Потом оно еще много раз болело, от боли хотелось кататься по полу, а таблетки, как выяснилось, при этом не помогают.

Я предал ее, я!

И уже ни малейшей мысли о ее жестокости, о том, что она думает только о себе.

Я предал ее!

Трахнул бы головой об угол, если бы за это не забрали куда-нибудь добрые люди!

Спасаться я пошел в Публичку. Наверное, просто для того, чтобы быть на людях.

Странно сближаются в жизни события: ведь именно тогда я первый раз прочитал про люминесцентные стекла. Почему-то мне в руки попался оптический журнал, почему-то я стал его читать, хотя накопилось слишком много непрочитанного по моей родной радиотехнике. Прочитал — и большого впечатления это не произвело. Но потом оказалось, что именно в тот день я посеял семя, давшее через пару лет всходы. И даже слишком буйные.

Иногда мне кажется, что память меня обманывает, что про люминесцентные стекла я прочитал в другой раз, — уж слишком складно получается, словно не реальная жизнь, а киносюжет. Но потом я думаю, что случайности, в сущности, за-

кономерны, что потому и попались мне тогда эти стекла, что только они смогли хоть как-то помочь мне выбраться из безнадёжного тупика.

... У Лилиты интересная манера шутить. Она говорила:

— Знаешь, почему я за тебя замуж не вышла? Потому что у тебя лестница ужасная. Если ребяенок, как он будет по такой лестнице ходить?

Квартира у нас отгорожена от большой и выходит на черную лестницу.

Еще она говорила:

— Знаешь, почему я за тебя замуж не вышла? Потому что у тебя кровать узкая.

Я начинал всерьез доказывать, что можно и квартиру обменять, и кровать купить, а она смеялась и объявляла:

— У тебя нет чувства юмора и нет чувства, что у тебя нет чувства юмора.

Эту фразу она очень любила.

Я обижался, потому что считаю, что чувство юмора у меня есть, просто чувство не *такого* юмора.

Но это позже. Сначала предстояло первое примирение после первой ссоры.

Формально ссоры не было, просто я ее не встретил, но ведь мы вслух и не договаривались, что я ее встречу. И все-таки мы оба знали, что ссора была, даже хуже, чем ссора: попытка к бегству.

На другой день я встречал ее на обычном месте. Встречал с цветами. С первыми моими цветами для нее.

Пришлось до института зайти на базар, вызвать всеобщее оживление среди торговцев, которые наперебой перевозносили мою невесту. Я купил три розы — по два рубля за штуку! — чем пробил заметную брешь в своем бюджете. Розы я спрятал в портфель, благо в современные портфели можно уместить содержимое самой большой хозяйственной сумки. Сделал я это, чтобы избежать насмешливого любопытства одноклассников, но зато во время всех занятий томился, что розы у меня чахнут и вянут.

И вот наконец она появилась. Бемби!

Она обрадовалась, когда увидела меня, — честное слово, обрадовалась, я видел по глазам.

Она сказала:

— Я уж боялась, что ты заболел.

— Нужно было по срочному делу, — буркнул я.

Мы вышли на Мойку. Я раскрыл портфель.

— Вот тут тебе.

Я не зря волновался: розы выглядели не очень. Но Бемби все равно была рада:

— Какие хорошие. И зимой! Только куда же я их дену?

— Домой отнесешь.

— Нет, домой нельзя. Давай ты их возьмешь себе, но они все равно будут мои. Нет, правда.

— Какие же твои, если ты их не увидишь больше? Если бы хоть в гости зашла.

— А я зайду.

Придет! Ко мне!

— Пойдем сейчас!

— Уж тебе прямо все сразу! Нет, сейчас не могу. Сегодня тороплюсь. В другой раз.

Осчастливленный, я проводил ее до дому. Даже заставил взять розы. На другой день узнал их судьбу:

— Я их сунула нижней соседке в почтовый ящик. Хорошая такая бабуся. Пусть гадает, от кого. Ей не дарили уже лет пятьдесят, даже жалко, правда?

Прощаясь, с розами в руках, она сказала:

— Все-таки ты злой. Не предупредил, исчез. А что перед этим говорил?

— Ты же рассердилась.

— И правильно. Но ты все-таки говорил! Говори: говорил?

— Ну, говорил.

— Вот видишь, сначала говорил, потом убежал. Как тебе верить?

— Так ведь я!.. Так ведь ты!.. Потому что ты сама...

— Нет, правда: сначала говорил, объяснился, можно сказать, а потом убежал. А теперь зовешь. Где логика?

— Но я же только тебя и жду! Значит, придешь?

— Я не такая, как ты: я слово держу!

Она засмеялась и убежала.

Так издевается она или любит, черт побери?!

Я купил бутылку токая и стал держать дома: чтобы быть наготове, когда придет Бемби. Так началось мое *первое большое ожидание*.

Тянулось оно месяца два.

За это время мы посмотрели множество ужасных фильмов, я предпринял — с тем же результатом — еще две или три попытки к бегству. И наконец она пришла ко мне в гости!

Этому предшествовала ссора, о которой очень тяжело вспоминать.

В тот несчастный день Лилита торопилась. Сразу после занятий мы бросились бегом к остановке, вскочили в двадцать второй. Я говорил что-то развлекательное, она почти не слушала. К слову упомянула, что у нее сегодня масса дел: и прачечная, и магазины, и еще что-то. И когда она скрылась в своем подъезде, меня осенила идея: подождать ее и помочь — в прачечной, в магазинах.

Довольный собой, я ждал. Там недалеко от ее парадной очень удобная скамейка.

Она показалась через полчаса. Я бросился навстречу, еще на ходу объясняя:

— Понимаешь, Бемби, давай вместе. . .

Но она недослушала:

— Да отвяжись ты наконец!

Словно получил плевков в лицо.

Я отшатнулся.

Потом повернулся и побежал.

Она, видно, опомнилась:

— Подожди! Постой, Стрельцов!

Дурацкая у нее манера звать по фамилии. Точно имени нет.

Я бежал, как от погони. Увидел трамвай на остановке. Вскочил, не разбирая номера. Это был конец. Это должен был быть конец.

«Да отвяжись ты наконец!»

Отвяжусь!

Если хоть немного уважаю себя — отвяжусь!

Она меня не любит, это предельно ясно. Зачем-то немного поощряла. Но вот у нее важные дела, и я докучаю, словно дворняжка, не вовремя пристающая со своими собачьими восторгами. Больше никогда не видеть! Забыть! Как-нибудь переживу!

Выживу! Хватит быть верным псом!

Эти слова стали заклинанием: «Хватит быть верным псом!» Я твердил их весь вечер, всю ночь, утром. Больше никогда не стану ее ждать. А если случайно встречу — отвернусь! Хватит быть верным псом!

А боль. . . Если бы можно было вызвать «скорую помощь»!

Она меня разыскала в первый же перерыв. Я и на самом деле отвернулся, когда увидел ее.

— Сердишься?

— Нет, радуюсь.

— Ну прости. Я вовсе не на тебя. Просто вышла из дому такая. Злая как собака. Не соображала. А как сообразила, что это я на тебя накричала, так просто не знаю. Так бы себя и отхлестала! Ну, простишь?

— Я бы на тебя не смог кричать. Что бы ни случилось.

— Я гадкая. Я сама знаю. Но все-таки прости, а? Ну правда, я не хотела.

Она взяла меня за руку и прижалась подбородком к плечу.

— Забудем?

— Забудем.

У нее неприязности дома! Она теперь к тому же мучается, что обидела меня! Мне уже было ее жалко.

— А я как раз хотела сегодня к тебе зайти.

И вот она поднимается по моей лестнице. О, если бы это была мраморная лестница! Но нет, совсем нет.

Дома, правда, лучше: двухкомнатная квартирка, и у меня отдельная комната. Какое счастье — отдельная комната! Мы вдвоем с Бемби, и больше никого.

— Так вот, значит, как ты живешь. И потолки высокие.

— Ты тоже в любой момент можешь поселиться под высокими потолками.

Я все же говорил немного отчужденно: обида не прошла.

— Ох, Стрельцов, если бы все так просто!

— А все просто, если любить.

— Да, тебя послушать. . .

Любишь — иди к любимому, нет — не встречайся вовсе! Мне все казалось простым. (И тоже не совсем: ведь я старался ее видеть, не мог не видеть, хоть и знал, что она меня не любила вовсе.)

Бемби сидела грустная.

— Что у тебя дома? Чем ты была расстроена?

Теперь я уверен: не нужно было об этом спрашивать. Не нужно было интересоваться тем, другим ее домом. Нет у нее другого дома, кроме моего! Твердить ей это, непрерывно твердить!

А я встал в позу сочувствующего друга:

— Чем ты была расстроена?

Она не должна быть расстроена, раз я ее люблю!

— Да всякое. Отец к Мише приехал. Тяжелый человек. Зануда.

Миша — муж.

— Что же — насовсем?

Друг дома, ну в точности друг дома!

— С ленинградскими специалистами советоваться. С врачами. А с ними можно целый год советоваться.

Она первый раз у меня. Любимая! Единственная! А мы беседуем о ее свекре!

Я подошел сзади, взял за плечи и осторожно поцеловал в затылок.

— Перестань, — сказала она.

Я раздвигал волосы, обнажая тонкую шею, тыкался носом во впадинку на затылке.

— Перестань. Я тебе уже объяснила: ты все портишь.

Возмущалась бы она, вырывалась — а то это спокойное «перестань». Хуже всего в такие минуты действует спокойный тон.

Я выпустил ее плечи.

— Ну давай выпьем вина.

Вот наконец и пришло время токаю.

— Только каплю. А то мне уже уходить скоро.

— Только же пришла!

— Пора. Вы, мужчины, никогда не представляете, сколько у нас дел по дому.

Я снова поцеловал ее в затылок. Она поежилась, словно ей плеснули воды за шиворот.

— Хитрый. Думаешь, уже опьянела?

Я продолжал.

Тогда она отстранилась, встала.

— Подожди. Тебе бы только целоваться. Давай лучше поговорим. О тебе.

Я не совсем представлял, как могу служить темой разговора. Поговорить бы о нас с нею вдвоем! Но обо мне?

— Ты в каком-нибудь СНО занимаешься?

Да что она — старшая сестра?

Целовать сразу расхотелось. Буркнул неохотно:

— Занимаюсь. На кафедре ТВ.

Врал я.

То есть до знакомства с Бемби занимался. Не блистал, но все-таки. А теперь — какие теперь занятия, когда каждый день ее провожаю, и как раз в такое время, когда нужно оставаться на СНО. Да мне сейчас до этого СНО как до Юпитера.

— У Шмакова?

— Ну, Шмакова мы раз в год видим. Там с нами больше Юркевич.

Бемби посмотрела проницательно:

— Врешь, наверное. Не тем ты все время занят. А я бы хотела, чтобы ты у меня стал классным ученым.

«Ты у меня» — это я услышал прежде всего.

И самое ее желание — чтобы я стал ученым — истолковал чисто практически: чтобы решиться уйти от мужа ко мне, она должна поверить, что из меня выйдет толк! Ее-то муж считается многообещающим, скоро защитится. Простая мысль, что Бемби желает мне успехов ради меня самого, — нет, такая мысль мне тогда в голову не приходила.

Оказалось, и разговоры о СНО могут воспалять. Ободренный тем, что она надеется увидеть во мне достойного мужа, я снова полез целоваться. На этот раз я попытался достать ее губы. Бемби уклонялась. Я попадал лишь в щеки и подбородок.

— Ну хватит, мне пора.

И я был почти счастлив, шагая рядом с ней по улице. Я ее целовал! Не очень пока удачно, но все-таки. Во всяком случае, мои домогательства ее не возмутили. И она меня обнадежила! Действительно, не только в объятиях и поцелуях любовь. Чтобы быть любимым, нужно что-то собой представлять.

Теперь-то я думаю, что вовсе не нужно что-то собой представлять, чтобы быть любимым. Любят не за что-то. Любовь — не награда за прилежание. Но тогда я думал иначе — и это к лучшему.

Такие короткие посещения повторились еще несколько раз, с интервалами в месяц-полтора. Снова разговоры, немного вина, мои невинные поцелуи, во время которых Бемби старательно отводила губы.

Мне было хорошо с нею на улице, в кино — везде. Я умел жить минутой, я забывал, что через полчаса мы расстанемся. Сейчас она со мной — чего ж еще?

И все-таки я стал снова посещать СНО, даже в ущерб некоторым нашим походам в кино, — зарабатывал право быть любимым.

Но иногда случались приступы жестокой меланхолии. Вдруг становилось предельно ясно, что Лилита меня не любит, что она просто играет мной, что ее редкие визиты ко мне объясняются только тем, что она все же не хочет меня потерять. «Пора понять!» — твердил я себе. Что — понять? Да то,

что она меня не любит. Оказывается, понять это невозможно. Потому что когда любишь сам, непостижимо, чтобы на любовь любимая не ответила любовью. Все кажется, мешают какие-то недоразумения, что вот-вот все прояснится. . .

Вскоре к прежним мучениям прибавились новые: уж больно непринужденно обращались с нею мальчики из ее группы.

Я заходил к ней на занятия и видел: Валька Травников — есть там такой профсоюзный деятель — то и дело таскает ее на руках; Генка Поздняков, баскетболист, сажает на колени. Обнимались они там дружески, целовались тоже дружески — слишком уж дружественная атмосфера! А она только смеялась. Я делал вид, что ничего особенного, что так и должно быть, и вообще, я же не ревнивый муж! Я улыбался. Думаю, у меня получались мученические гримасы. И смешные.

Я не ревнивый муж. Но репутация счастливого любовника у меня сложилась совершенно невольно. Как иначе могли объяснить окружающие то, что мы постоянно вместе? Тем более раз она замужем.

Ленька сказал с завистью:

— Ну, ты не теряешься, старик! А я бы на тебя не поставил, думал, ты лопух. Ведь и до тебя ходки пытались, но — пустой номер. — И убежденно повторил свое определение: — Клевая девочка.

Я постарался изобразить на лице самодовольство. Не объяснять же ему весь мой безнадежный платонизм. Да и смешно.

Тем более когда постоянно слышишь истории:

— Заклеил вчера кадра. Пошли на хату.

А посмотришь на этих *кадров* — часто хорошие девочки, при других обстоятельствах я бы в них и влюбился. А их, оказывается, сразу ведут *на хату*. Интересно, сколько в этих историях процентов правды?

Приближалось лето, но оно меня не радовало: ведь оно означало неизбежную разлуку. Я уезжал со стройотрядом, она оставалась на производственную практику, а потом собиралась куда-нибудь отдыхать. Разумеется, с мужем. У того в августе отпуск.

Последняя встреча перед разлукой всегда рubeж. Бемби зашла ко мне. И не противилась, когда я обнял ее и первый раз поцеловал в губы. Очень уж я был грустный — наверное, поэтому.

Она сказала:

— Брось, не кисни. Встретишь какую-нибудь сибирячку.

— Ну что ты, Бемби!

— А что тут такого? Я хочу, чтобы ты у меня был красивым, чтобы девушки тебя любили. А меня чтобы всегда чуть-чуть помнил.

— Интересно, как мне понравится сибирячка, если я буду помнить тебя?

— Значит, хочешь забыть?! А я-то, дура...

— Я хочу, чтобы мне не нужно было ни на кого смотреть, кроме тебя!

Теперь она меня сама поцеловала.

— Ах ты бедненький. Сколько тебе говорить, что у тебя нет чувства юмора. Может быть, этим ты мне и нравишься.

Я было ободрился от такого признания, но она засобира-лась домой.

Так я и уехал, *унося на губах вкус ее поцелуев*. Фраза звучит пародийно, но она отражает самую суть дела: я чувствовал своими губами ее губы, все время чувствовал.

Бемби пообещала мне написать. Каждый раз, возвращаясь с работы, я бросался к столу, на котором раскладывали письма. Но письма приходили только от мамы. И часто. Скоро я на мамин почерк смотрел с досадой.

Я уехал в конце июня — и вот наконец дождался счастливого дня: 20 августа пришло письмо от Нее! За неделю до нашего отъезда.

«Здравствуй, дорогой друг и товарищ Стрельцов!

Наконец пошел дождь и появилась у меня возможность написать письма. Сейчас же тебе и отписываю.

Покинула я наш город 25/VII и добралась до города Владикавказа. Прекрасно и со всеми удобствами и благами прожила в нем до 2/VIII. А там потянуло в большие горы. И пошла я туда, несмотря на всяческие страхи, которые порассказывали местные жители. Компания моя состоит из 4-х человек, и все мы преодолели трудности похода и перевалили через Мамиссонский перевал на высоте 2,8 км.

Восторгам моим нет предела до сих пор, хотя вот уже 5-й день, как мы проживаем в солнечной Грузии, близ Батуми, в местечке Уреки. Выбрали его случайно, но оно оказалось прекрасным. Чудесное море, восхитительный целебный пляж, еще дикий, где люди встречаются через 200—300 метров. Хозяева также исключительные люди и не дерут с нас

диких денег, которые изымают с отдыхающих, остальные местные жители.

Вот, пожалуй, и все, что я хотела сказать тебе сегодня, дорогой друг и товарищ.

При встрече всякие мелкие и крупные подробности.

Нежно целую, только ты от этого не зазнавайся.

Л.

9.VIII.66».

Я переживал письмо.

«Нежно целую» — это самое главное.

А что за компания из четырех человек?

«Наконец пошел дождь и появилась у меня возможность написать письма». Неужели нельзя было выкроить полчаса раньше? А если бы дождь не пошел?

Обычный конверт — могла бы послать авиа, тогда бы не тащилось одиннадцать дней.

«Мелкие и крупные подробности» — все-таки, может быть, разочаровалась она в своем Мише?!

Каким-то образом по нашему отряду пронесся слух, что я получил любовное письмо. Это вызвало легкую сенсацию, меня поздравляли, девицы шушукались уважительно, я слышал слова:

— Настоящее чувство.

Дело в том, что все эти два месяца среди природы (мы рубили домики нового поселка), когда обстановка так благоприятствовала любви, я держался стонком и аскетом, чем заслужил репутацию отчасти гамлетовскую.

Встреча — тоже этап. Еще более важный этап.

Мне казалось, произойдет нечто удивительное. *Мы бросимся друг к другу, не в силах от волнения и радости сказать ни слова*, — ну, в общем, что-то в этом роде.

Первое, что я сделал в институте: посмотрел по расписанию, где их группа. Вот, наконец, и перерыв. Вот и она, загорелая и такая красивая, какой я ее еще никогда не видел!

Она сказала:

— Привет! Хорошо, что ты зашел, мне нужно предупредить: меня сегодня встретит муж, так что ты не маячь. Ой, я так рада тебя видеть! Хочется поговорить — но в другой раз. Извини, сейчас бегу.

Вот и бросились друг к другу в волнении и радости.

Все-таки я решил помаячить: хотелось хоть издали посмотреть на мужа, многообещающего счастливецца.

Да, впечатление он мог произвести — на тех, кто любит мужчин такого сорта. Вылитый профессор Челленджер! Маленького роста, но с широкой грудью и мощными руками, весь в курчавой дремучей бороде. Мне такие типы никогда не нравились, а в дремучей бороде чудится что-то посконное, допетровское.

Он по-хозяйски взял Бемби под руку и увел.

Вот и встретились.

А через неделю мы оказались с Бемби в одной компании. Уж не помню, что отмечали. Большинство ребят было из ее группы, а меня пригласили ради нее — я же пользовался статусом признанного поклонника.

Всем налили, но она не выпила. Как тут стали изощряться, особенно Валька Травников:

— Лилька, ты чего?

— Завязала?

— В монастырь собралась?

А мне сразу стало холодно: я-то сразу понял, в чем дело.

Она ушла рано. Я, естественно, с нею. Мы долго молчали.

Мне было трудно выговорить простые слова вопроса, но в конце концов я решился. Я люблю ясность. Конечно, я и так все понимал, но вдруг она просто нездорова?

— Ты беременна?

— Да.

— Поздравляю. Когда собираешься родить?

— Обещают в марте.

Ну вот, теперь все постепенно и кончится. Ребенок укрепит семью. А забот будет столько, что не останется времени на дурацкие фильмы.

А в августе, когда она ходила по горам, когда писала мне письмо, она уже знала. Вот и *мелкая подробность*.

Мы по-прежнему уходили из института вместе, но теперь каждая наша прогулка была окрашена грустью прощания.

А Бемби хорошела. Никаких пятен не появилось у нее на коже, никаких отеков.

Однажды мы зашли в мороженицу. Свободного столика не нашлось, мы сели рядом с пожилой женщиной. Та смотрела на нас умиленно и наконец не выдержала:

— Какие вы оба молоденькие, хорошенькие. Сами дети, а уже ребеночка хотят иметь.

Вот уж я не считал себя ребенком! Но все равно приятно — приятно, что нас объединяют в комплименте.

Вообще нам везло на соседок в мороженицах. Другой раз я удостоился персонального комплимента. Когда я отошел к стойке, старушка соседка сказала Бемби:

— Какие у твоего мужа, деточка, красивые зубы.

Бемби рассказала со смехом, я вздохнул, услышав «у твоего мужа, деточка».

Зашла Бемби и ко мне. Я бережно с нею разговаривал и не пытался целоваться: ведь теперь она окончательно принадлежит другому.

Зимнюю сессию она сдала, а после каникул уже не появлялась в институте. Значит, кончилось наконец затянувшееся прощание. Увидимся ли когда-нибудь? И как?

Снова в голове у меня зазвучали диалоги, никогда не произнесенные в жизни. Я больше не упрекал. Почти не упрекал. Просто я пытался представить, как будет дальше. Это стало манией. Я сидел над книгой, а в голове снова и снова разыгрывалась та же сцена.

Двадцать лет спустя.

Я сижу один в квартире. Вечерний уют: приглушенный свет, интересная книга, рюмка вина. Жена ушла к подруге. Я женат уже лет пятнадцать. Жена — полноватая добрая женщина, носит яркие халаты, хорошо готовит, любит меня...

Да, так, значит, я читаю, пью понемногу вино.

Звонок.

Кто бы это? Жены дома нет, придется самому с чайником возиться... Открываю. На лестнице у нас темно, как всегда. Худенькая невысокая женщина. Лица не разобрать.

«Здравствуй, Стрельцов».

Голос не изменился за двадцать лет.

«Бемби! Вот это да! Бемби!»

«Что же, зайти можно?»

«Ну что ты, еще спрашиваешь! Сюда. Слушай: я тебя поцелую. Вот так. Какая же ты прежняя!»

«Ты, Стрельцов, все с комплиментами. Я уже старая».

«Да нет же! Ну конечно... Но все равно прежняя».

«И ты не меняешься. И лестница все та же, из-за которой я за тебя не вышла».

«Бемби!»

«И по-прежнему у тебя нет чувства, что у тебя нет чувства юмора».

«Бемби! Ты в командировке?»

«Я уже год здесь снова. Мишка мой отпрофессорствовал в Перми, получил кафедру здесь».

«Год? И ты только сейчас зашла?!»

«Жизнь такая: кручусь все время. Да и храбрости надо было набраться».

«Почему храбрости?»

«Все потому же. Потому что мы уже под гору. В суете этого почти не замечаешь, а тут сразу. Мы не виделись, и для тебя я оставалась молодой. Нет, правда... Ну ладно, расскажи, как ты прожил. Потом я расскажу».

«Обычный инженер в обычном институте... Черт знает, каждый день какие-то события, а в результате рассказывать нечего. Несколько мелких изобретений. Недавно назначили старшим группы. Вот веришь, нечего больше рассказывать. А ведь двадцать лет! День за днем, день за днем... Ничего живу, доволен».

«Где твоя жена?»

«Откуда ты знаешь, что я женат?»

«Не помню, рассказывал кто-то. Да и по обстановке видно».

«Пошла к подруге».

«Счастлив?»

«Да, нормально».

«Дети?»

«Детей не было. А ты?»

«Обычный инженер, как ты выразился. В Перми. Теперь вот здесь. Ваське уже двадцать скоро. Тоже в нашем институте. Представляешь, в тех же коридорах. Ухаживает за кем-то. В тех же коридорах!»

«Да, в тех же коридорах... Как твой муж? Уж он-то добился, да?»

«Профессор университета, дальше куда уж. Да я и не сомневалась никогда».

«И я не сомневался... А помнишь, ты меня ругала, что я за тобой бегаю, вместо того чтоб наукой заниматься?»

«Правильно ругала: хотела вывести в люди. А то бегают недоросль: у мамы на шее, а туда же — замуж зовет!»

«Я и теперь не знаю, вышел в люди или нет».

«Если откровенно, я тебе, Стрельцов, желала большего. Ты ведь у нас считался талантом. Ты не обижайся, конечно».

«Чего ж обижаться, правильно. Я сам тогда думал, что к сорока буду по крайней мере членкорром. Несколько крупных изобретений. Смешно теперь. Понимаешь, всю жизнь работал честно, но сверх положенного не лез. Внутренней пружины не было, которая, знаешь, толкает все время. Да я и не пожалел об этом ни разу, сейчас только вдруг... Да, твой муж добился большего... О, черт!»

«Кашляешь? Наверное, так и не научился шарф носить. Вечно шея голая, пальто нараспашку. Куда жена смотрит?»

«Ерунда... Но все равно я ни за что не верил, что ты любишь мужа».

«Знаешь, Стрельцов, теперь можно признаться: я Мишу очень-очень уважаю и ценю как человека, и тогда, и сейчас; тебя вполовину так не уважала и не ценила. Но по-девичьи, без причин, просто за красивые глаза, я любила тебя».

«И ты?! Ты — МЕНЯ?! Дура... Какая дура! Молчала бы теперь, раз тогда... Молчала бы...»

«Ну что ты, Стрельцов. Взрослый мужчина — и плакать. А помнишь, как мы целовались в этой же комнате?»

«Уйди!.. Мы же могли... ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО УЖЕ НИЧЕГО НЕ ВЕРНУТЬ?! Мы же могли... Бемби мой...»

На этом месте сцена всегда обрывалась. Мне и на самом деле хотелось плакать.

«ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО УЖЕ НИЧЕГО НЕ ВЕРНУТЬ?!» — вот что страшно.

И вдруг абсолютно неожиданно Бемби позвонила. В одиннадцатом часу вечера.

— Стрельцов? Слушай, приезжай скорей! Увези меня. К маме. Больше не могу. Приезжай!

— Сейчас еду! Квартира у тебя какая?

— Что?

— Номер квартиры! Я же не был ни разу!

— Тридцать восьмая. Приезжай!

Наконец-то! Ну теперь-то уж мы не расстанемся.

— Приехал? Наконец-то! Ты на такси? Помоги, вот тут два чемодана.

В углу комнаты сжавшись сидел маленький старичок и смотрел на меня. Мне хотелось увериться, что он смотрит со злобой, но все же во взгляде его было больше растерянности.

Я надеялся, мы поедем ко мне. Но Бемби, едва села,

произнесла адрес своей матери, точно торопилась опередить меня. Потом всю дорогу рыдала у меня на плече:

— Я с ним больше не могу... Скрипит и скрипит в углу, как филин... А Миша в командировке... Лечиться приехал. От него самого скоро надо будет лечиться.

— Чего ж ты мужу не скажешь? Хотя бы место у вас было. А если все время торчит на глазах...

Я уже забыл, что мои надежды оказались пустыми, что везу Бемби не к себе, а к ее матери. Я был весь в сочувствии. Еще немного, и я бы предложил поселить старика у меня.

Больше эгоизма! Вот что мне нужно было пожелать когда-то. Чтобы быть любимым, нужно, чтобы ее любовь имела точку приложения: меня, мою личность, мое Я. А если я все время тороплюсь стусеваться, если ее боль для меня большей моей собственной, если мое Я как бы растворяется все время, как же она могла меня полюбить?! Кого любить, если я сам словно старался уменьшиться, свестись к нулю?! Больше эгоизма! Пусть увидит и оценит *меня*: *мои* таланты, *мои* странности, *мои* страдания! Тогда и полюбит. Больше эгоизма! Но слишком поздно даю я себе этот совет.

Мать ее при нашем внезапном полуночном появлении растерялась, засуетилась попусту, так что мне пришлось и чемоданы раскрывать, и стол отодвигать, чтобы освободить место для раскладушки. В комнате, кроме Бемби, было четверо.

А мать ее смотрела на меня с испугом и спрашивала у Бемби:

— А где же Миша?

Ну что ж, я снова сыграл роль друга, на которого всегда можно положиться.

Бемби родила мальчика. Свекор ее, пока она была в роддоме, уехал, и она благополучно вернулась домой — к мужу.

Да, перспектив у меня не было никаких. Нужно было спастись.

Идея всплыла из подсознания под утро. Я лежал, измученный бесконечными мыслями о Лилите, и внезапно без всякой связи вспомнил читанную больше года назад статью о люминесцентных стеклах. Их основное свойство в том, что они начинают светиться, когда на них попадает пучок электронов. До сих пор я имел дело с такими трубками, на которые светящийся слой — люминофор — наносился сверху; так устроены телевизоры, ну и все осциллографы, локаторы. *Но если ис-*

пользовать для трубки люминесцентное стекло, то можно обойтись без нанесения светящегося слоя!

Выслушав мои восторженные проекты, Юркевич огорошил меня вопросом:

— А зачем?

— То есть как? Ведь так еще не делали!

— Ну и зачем делать? Чем плохи люминофоры?

— Надо попробовать! По ходу дела выявятся преимущества! Заранее не скажешь!

— Всего не перепробуешь. Надо заранее представить, чего хочешь. На том и строится наука: на теоретических представлениях.

Я не понимал, почему не попробовать другой путь. Такой очевидный путь! Но трудно третьекурснику переспорить доцента. Все же я решил попытаться сделать свою трубку.

Это оказалось крайне сложно организационно: потому что там, где варили люминесцентные стекла, не умели и не хотели делать трубки и вообще возиться с электроникой; а там, где делали трубки, не хотели связываться с неизвестным стеклом.

Я так закрутился в этом замкнутом круге, что стал даже меньше думать о Бемби, честное слово! И если не излечился совсем, то, во всяком случае, был на верном пути к излечению.

А в лаборатории, где варили люминесцентное стекло, познакомился с Галей.

Галя не то что была похожа на Бемби— ничего общего, если положить рядом фотографии, — но представляла тот же тип: худенькая, невысокая, легкая в движениях. Началось у нас с того, что она стала моей единомышленницей.

Симпатичной, восхищенно слушающей женщине объясняешь свои идеи с особенным подъемом. И каким чувствуешь себя сильным, талантливым, когда слышишь в ответ:

— Как вы удивительно придумали! Это же новая эра! Какая у вас голова!

А я уже тогда представлял преимущества моих экранов перед теми, которыми довольствуется нынче весь мир: во-первых, четкость, не уступающая кино и фотографии, потому что развертка не ограничена пятью-шестью сотнями строк; во-вторых (вытекающее из предыдущего) — неограниченные размеры экранов, хоть во всю стену. Вот доводы, которые я сразу не смог предъявить Юркевичу, а теперь и не собирался

предъявлять, потому что основную работу со мной брались сделать стекловары, понукаемые и воодушевляемые Галей. Сама она уже три года как кончила ЛИТМО и была, я прикинул примерно, старше меня лет на шесть.

Постепенно мы сближались. Я почти не замечал, как это происходило, потому что не было и сотой доли тех страданий, сомнений, восторгов, только что пережитых мною с Бемби. По крайней мере с моей стороны не было. Мои чувства словно истощились, как энергия в аккумуляторе.

Несколько раз мы сходили в кино, в театр. Съездили за город. С Галей было легко. И я еще находился в том возрасте, когда внимание более взрослой женщины лестно. А главное, мне было все равно, все женщины мира делились для меня на две неравные части: в одной — Бемби, в другой — все остальные.

А Бемби — Бемби я несколько раз навестил. Днем, когда муж на работе. Обычно она сразу посылала меня в магазин, потом я помогал ей выкручивать пленки. Я не докучал ей своей любовью, не лез с поцелуями, мы весело болтали, — и в эти минуты я был счастлив, забывал, что через полчаса мне уходить.

С гордостью — в люди выхожу! — рассказал я ей о своем изобретательстве. Бемби сначала отнеслась с некоторым недоверием:

— Почему же никто не сделал раньше, если так просто?

Меня и самого это смущало.

— Ну знаешь, стекла эти получили недавно, а телевизоры в каждом доме, все довольны, производство налажено. Ну и когда уже изобретешь, все кажется простым. Радио разве сложно? Почему же его не изобрел еще Герц?

— Вот и обиделся! Я же просто так. Я рада. Давай выдумывай, — она потрепала меня по голове. — Сделаешь свой телевизор, подаришь нам, а то у нас нет до сих пор. Правда.

Я давно уже слышал, что они не заводят телевизора из принципа: не хотят быть рабами ящика. Это сказала Бемби, но мне слышался голос мужа Миши. Она иногда повторяла его мнения.

Галя восхищалась моей идеей выше всякой меры, но мне было дороже мимолетное поощрение Бемби.

А у Гали как раз подошел день рождения. Она меня позвала — и я оказался единственным гостем. Мы танцевали при

свечах, и было бы величайшей невежливостью ее не поцеловать. А когда она ответила на поцелуй, было бы величайшей невежливостью не пойти дальше. Тем более мне и самому этого хотелось. Да и вообще — надо же иметь любовницу, черт побери!

И еще у меня было чувство, что я мщу Лилите: не захотела меня полюбить — так вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Немного я все-таки был смущен, когда Галя шептала:

— Я сразу поняла, с первого взгляда! Вошел — и словно музыка заиграла.

Ведь я сам мечтал шептать такие слова Бемби.

Летом я опять уехал со стройотрядом, а вернувшись, на второй день побежал днем к Бемби. Она меня увидела в дверях, ахнула — и первый раз мы целовались по-настоящему.

И тут я понял, что ничего не стоили все мои прежние поцелуи, что только она создана для меня. Одета она была наспех, по-домашнему, из-под халата выглядывала рубашка — и скоро эти легкие покровы стали мне мешать. Я попытался от них избавиться, но Бемби зашептала испуганно:

— Что ты, что ты, не здесь, Васька смотрит!

И я сразу подчинился, потому что ничего не хотел делать против ее желания. А семимесячный Васька лежал в кроватке и бессмысленно, как мне казалось, смотрел в потолок.

Уходя, я спросил, почти потребовал:

— Ты придешь ко мне? Приходи, как раньше!

И она ответила:

— Постараюсь. Когда смогу.

Я счел это обещанием. И стал ждать.

Так началось мое *второе большое ожидание*.

Как неохотно я теперь уходил из дому и как торопился назад! Но все равно меня постоянно преследовал кошмар, что у Бемби выдалось время, она позвонила — и не застала. Поэтому я теперь подробно инструктировал маму, когда вернусь, чтобы она могла, если понадобится, объяснить по телефону.

Мы с мамой всегда жили вдвоем. Отец мой то ли умер до моего рождения, то ли предпочел исчезнуть: еще в детстве мне была сообщена версия на этот счет, и с тех пор у меня не возникало желания уточнить. Но постоянная жизнь вдвоем отнюдь не способствовала взаимопониманию. Наверное, потому, что мама слишком меня любила как средоточие всех своих помыслов и надежд; и эта болезненная любовь выражалась в том, что она надо мной тряслась, стараясь устранить все, что

может грозить единственному сыну малейшей опасностью: от простуд до дурных знакомств.

— Перестраховаться никогда не поздно, — любила она повторять.

И еще:

— В минуту ошибешься — всю жизнь не исправишь.

Очень рано я осознал, что тягочусь столь односторонней докучной любовью.

Я завидовал сверстникам, родители которых их чему-то учили, большей частью отцы: кто плавать, кто столярничать, кто водить машину, кто различать растения в лесу — каждый учил тому, что умел сам. Мне же всем полезным умениям всегда приходилось учиться самому — с бóльшими усилиями и худшим результатом. Мама преподавала в Институте культуры хоровое пение, но этому я решительно не хотел учиться. Больше того, я долгое время с подозрением относился к культуре вообще, как к чему-то ненастоящему, жеманному, дамскому, и уж во всяком случае, сколько себя помнил, видел свое будущее только в технике.

Вдобавок мама говорила знакомым при удобном случае:

— Я так жалею, что не родилась мужчиной!

Странное ощущение: быть сыном женщины, которая предпочла бы родиться мужчиной.

Итак, между нами не царил дух взаимопонимания. Бывали жалкие сцены, когда мама упрекала меня в черствости, восклицала:

— Я же вложила в тебя всю душу!

Что на это скажешь? Любовь не питается благодарностью. Мольбы о любви способны эту любовь только спугнуть. Я это так хорошо понимал — по отношению к маме.

До сих пор я редко рассказывал ей о своих делах. (Пропадает охота рассказывать, когда в ответ на сообщение, что поступил в СНО при кафедре телевидения, слышишь: «А там нет радиации? Говорят, от экранов радиация!»)

Поэтому теперь, когда я стал подробно объяснять, когда вернусь домой, мама была приятно поражена.

С Бемби мама не была знакома: ведь немногие посещения происходили днем, когда мама в институте. Зато с Галей мама была знакома очень хорошо. Галя старалась моей маме понравиться, ошибочно считая, что это облегчит ей путь в наш дом. Сначала маму пугала разница в возрасте, но вскоре она с Галей примирилась, постоянно слыша от нее панегирики

моим дарованиям. Кроме того, благодаря Гале мама оказалась в курсе моей «научно-изыскательной деятельности», по удачному маминому выражению. Она это ценила.

Я сидел дома. Я старался избежать Галиных посещений: вдруг придет Бемби и застанет Галю?!

Лучшими мгновениями были секунды между звонком телефона и снятием трубки, ибо в эти секунды я верил, что звонит Бемби, что она сейчас будет у меня!

Но она не шла.

Я был у нее еще несколько раз. Снова мы бешено целовались, снова она шептала, что Васька смотрит, снова говорила:

— Постараюсь. Если смогу.

И я ждал. Господи, есть ли что-нибудь изнурительнее ожидания!

Конечно, за это время происходили события. И важные. Но у меня они вызывали только досаду, потому что приходилось уходить из дому.

Сделали мы первый маленький осциллограф с люминесцентным стеклом. А поскольку такого аппарата раньше не существовало, то послали заявку на изобретение. Авторами значились трое: кроме меня еще Галя и один старший научный, который нашей работе покровительствовал. Ну, это нормально.

Связь наша с Галей, хотя все время была готова незаметно угаснуть, все же тянулась. Приглашать ее к себе я тщательно избегал, но изредка принимал ее приглашения, если она бывала дома одна. И потому, что ее было жалко: она своей преданностью заслужила гораздо лучшего отношения. И потому, что сам не выдерживал лютого одиночества.

Она мучилась. Говорила не раз:

— Я же вижу, что тебе просто удобно со мной! Тут и работа, тут и забота! Не бойся, помогать я тебе буду и так, без любовной милостыни.

Я ее успокаивал, но ведь она говорила правду.

А я ждал.

И прождал полгода. Даже, если точнее, шесть с половиной месяцев. Но наконец Бемби ко мне пришла.

Я открывал ей дверь, и мне казалось, что *ангелы трубят на небесах*.

Не сказав и слова, мы бросились друг к другу в объятия.

— Подожди, — шептала она, — подожди!

А я каждой своей клеткой чувствовал, что вот она, женщина, созданная для меня!

— А мы одни? — шептала она. — Мамы дома нет?

Я был счастлив.

Но скоро я со смущением почувствовал, что мой порыв неполон. Как обрисовал подобную ситуацию Мопассан: «И когда настала пора пропеть любовную песню, я почувствовал, что у меня пропал голос...»

Так прошло часа два. Потом она шепнула:

— Мне пора.

И у меня не хватило решимости ее удерживать. Да и зачем?

В молчании провожал я ее. И не мог сказать на прощание: «Приходи снова».

Она сказала:

— Ну пока. Не забывай нас с Васькой.

Вот когда я испытал худшее. Дома я катался по полу, колотил себя. Вспоминал! Если бы я мог лишиться памяти! Но я вспоминал. И жизнь не имела смысла.

Стыд, достигающий степени острейшей боли, пронизывающий все существо. Презрение к себе. Любовь, теперь уже окончательно безнадежная... Самоубийство отталкивало меня своим безобразием, но жизнь не имела смысла. Если бы можно было просто исчезнуть, раствориться!

Я стал обдумывать способы исчезновения: провалиться в глубокую шахту, куда никто не заглядывает... выпасть из лодки, навесив на себя несколько тяжелых камней, чтобы никогда не всплыть... заблудиться в нехоженой тайге...

Все это были лишь истерические мечтания: я боялся смерти и хотел жить. Но что-то должно было произойти, что-то, что заглушило бы непереносимый стыд.

Я поехал на залив, нашел брошенную прогнившую лодку, стащил ее в воду и поплыл, загребая доской. Стояла середина мая, вода в заливе была градусов двенадцать — четырнадцать. Условие я себе поставил такое: отплыть подальше, прыгну в воду и поплыву. Если выплыву — значит, достоин жизни, нет — так мне и надо.

Был штиль. Плоское, блеклое даже в солнечный день пространство воды окружало меня. Прекрасен был суровый северный берег, медленно удалявшийся. Полны жизни крикливые чайки.

Вода хлестала из щелей. Лодка оседала. Вот уже ноги по щиколотку ушли в воду. Какая же она холодная! Вообще, как холодно в мире.

Я медленно отгребал. Сколько до берега? Два километра? Или пять? Я не умел определять расстояния на воде. Море пустынно. Ни одной лодки.

А моя лодка неумолимо погружалась. Все это было сначала немного игрой, в глубине души я надеялся, что всегда смогу прекратить, повернуть назад. Но я заигрался. Я и на самом деле дошел до края гибели. Предстояло выплыть в ледяной воде — или погибнуть.

А вода уже почти сравнялась с бортами. Пора. Стараясь не замочить головы, я плавно соскользнул в воду.

Обжигающий жуткий холод! Потеряв стиль, я заколотил ногами и руками. Настоящая агония. Только бы согреться, что угодно, чтобы согреться!

Чуть привыкнув к холоду, я понял, что мое единственное спасение в том, чтобы плыть быстро, а значит, плыть правильно. Плыть, не замечая температуры воды.

И я поплыл. Или привык, или согрелся в движении, но холод постепенно становился терпимым. Я плыл подобием кроля — так быстро, — опуская в воду голову. И скоро голова стала мучительно мерзнуть. Только голова. На ней не было работающих мышц.

Я плыл. Я не думал ни о чем: ни о любви, ни о позоре, ни о прошлом, ни о будущем — я боролся за жизнь. Был даже момент, когда наступило равновесие между опасностью и моими силами, — момент счастья, как ни странно это звучит, — потому что я чувствовал себя победителем стихии.

Но сил в холодной воде, видимо, тратилось гораздо больше, чем обычно. Руки стали подниматься с трудом, сердце билось тяжело. А берег казался почти так же далеко, как при последнем взгляде с лодки. Вот я и дошел до предела. Но руки машинально продолжали работать. Плохо сознавая себя, я все же плыл. Не было страха, не было уже никаких чувств — так постепенно тупеют замерзающие. Но я продолжал работать, продолжал двигаться к берегу, пока не врезался головой в какую-то преграду.

Я поднял голову. Путь мне преграждала белая лодка с крупной надписью на борту: «СПАСАТЕЛЬНАЯ». (До сих пор не могу понять, как она оказалась там, ведь до начала купального сезона оставалось не меньше месяца.)

Сбившись с ритма, я сразу потерял плавучесть, ноги пошли вниз... и коснулись дна. Я встал. Воды было по грудь.

— Лезь в лодку, — приказал спасатель.

— Зачем?

— На берегу поговорим. Заплатишь вот. И по месту работы.

Я доплыл! Я спасся! Буду жить! Со всем прошлым... Торжество мое смешалось с ожившими мучительными воспоминаниями. И эта смесь дала вспышку:

— Кто ты такой?! Чего ты пристал?! Что я, плавать не могу?! На мелком месте! Пристают тут! Отвали!

— Лезь в лодку! Я тебе объясню, кто я такой!

— Слушай, если я влезу, ты вылетишь! Отвали, пока цел! Паразит поганый! Отвали!

Дикая первобытная ярость поднималась с неведомых мне до сих пор глубин. Я был опасен.

И он это понял. Он был один и счел разумным удалиться. Что-то кричал мне издали. А я хохотал и ругался в ответ.

А до берега было еще далеко. Да здравствует пологое дно Маркизовой лужи!

Разделся я в лодке, поэтому был в одних плавках. Пришлось стучаться в какой-то дом отдыха, объяснять, что во время купания у меня украли одежду... Но это уже водевиль.

Теперь, вспоминая свое приключение, я краснею. Очень стыдно. Истерично и не по-мужски. Но что было, то было. Благо тем, кто обо всех своих поступках вспоминает с гордостью. Единственное, что меня хоть отчасти оправдывает: то, что я никогда и никому о своем заплыве не рассказывал.

И все-таки свою роль заплыв сыграл: воспоминание мое потеряло остроту, во взгляде на позорную неудачу появилась некая отстраненность.

Прощаясь, Бемби сказала: «Не забывай нас с Васькой». И теперь я смог к ней зайти.

По пути я твердил себе: «Неужели это — единственное мерило любви, единственная кульминация? Мы были близки, мы любили друг друга, а это — оно придет естественно, надо только, чтобы ты поняла мое состояние». Конечно, сказать ей это я и не надеялся, но я мечтал, что она сама ободрит меня.

Встретила Бемби меня очень радушно. Мы болтали дружески. Целовать ее я не пытался. Вот если бы она первая... Но нет.

На пятом курсе распределяли темы дипломов. Я предья-

вил свой прибор, и его приняли как дипломную работу. Тут кстати пришел ответ из Комитета по делам изобретений. В общем благоприятный, хотя просили некоторых уточнений. А как раз к защите подоспело и официальное свидетельство. Я стал официально признанным изобретателем, и мой диплом вызвал оживление и даже легкую сенсацию — на уровне институтской многотиражки. Но я-то мечтал о телевизоре, а не об осциллографе!

Бемби вернулась из «академки» и теперь отставала от меня на курс. Виделись мы дай бог раз в неделю — все же диплом есть диплом, — но моего положения это не меняло. Для того чтобы думать о ней, мне не нужно было ее видеть. Отвлекала только работа — и потому работа была спасением. Я оформлял диплом, а меня одолевали новые идеи, более заманчивые!

Ну ладно, черно-белый телевизор, он и в нынешнем виде удовлетворителен. Но цветной! Цветной плох, — я и американские видел, и японские, так что не только о наших говорю. У всех систем общий недостаток, притом органический: цветные люминофоры имеют инерцию, они гаснут не мгновенно после прекращения воздействия пучка электронов, а примерно через 0,3 секунды, — поэтому, если показывают быстродвижущийся предмет, изображение получается нечетким. Хоккей по цветному телевизору смотреть тягостно. А если сделать кинескоп трехслойным, употребив люминесцентные стекла с красным, синим и желтым свечением, получится цветной телевизор, дающий идеальную четкость. Вот над чем стоило работать!

..Я иногда думаю, что Бемби не вышла за меня замуж потому, что я не приспособлен к семейной жизни, и она это поняла интуитивно. Сейчас и социологи считают, что лучшими семьянинами становятся такие люди, чье детство прошло в дружной семье. Они словно учатся семейной жизни у родителей. А те, кто вырос в детдоме, испытывают трудности: им не у кого было учиться. Мне тоже.

..Но о цветном телевизоре. Я изложил идею самому Шмакову. Он меня отечески увещевал:

— Телевидение — общественная область, где окончательное решение принимает не изобретатель. Мы вот на кафедре тоже разработали одну цветную систему, а приняли у нас в стране другую. Вы теперь предлагаете третью, а вернее — десятую. Это же промышленность, это передающие станции,

камеры, это сотни тысяч аппаратов в домах — по шестьсот с чем-то рубликов каждый. Что же со всем этим делать? Выкидывать, потому что юноша Стрельцов придумал лучшую конструкцию? Система «промышленность — потребитель» имеет колоссальную инерцию. Так что не советую, не советую.

...А еще мне Бемби однажды сказала. Позже, года через три после того, как я закончил институт:

— Понимаешь, ну как я уйду от Миши, если мне его не в чем упрекнуть? Плохо бы он ко мне относился, пил бы, изменял. А так... за что?

— Но любовь — не награда за примерное поведение! Я тебя люблю, и если ты меня тоже...

— Нет, я так не могу. Глупо устроена, но не могу. Как я ему скажу? Он всегда такой хороший со мной. Нет, правда.

Проклятие Мишиной добродетели! Сколько народу пьет — ну почему именно он трезвенник?! Или я опять не сознаю, что у меня нет чувства юмора?

...Но о цветном телевизоре. Знаю я эту кафедральную систему. Также на люминофорах. Также изображение нечеткое при быстрых движениях. Так что не заслуживает она лучшей участи. У меня же совсем не то! У меня вариант, может быть, идеальный для современного уровня техники. Кстати, не только изображение четче, но и устройство гораздо дешевле, проще. Решил не заниматься бесплодными спорами, а сразу послал заявку на новое изобретение: «Использование люминесцентных стекол для цветного телевидения».

С Галей мы продолжали иногда бывать вместе. Благодаря ее терпению и снисходительности. Но наконец не выдержала и она. Мы должны были с нею идти в одну компанию на Новый год. Я сам ее пригласил, уверенный, что уж в новогоднюю-то ночь у меня нет ни малейших шансов увидеть Бемби. И вдруг Бемби позвонила двадцать восьмого числа.

— Ты меня еще помнишь?

Я чуть не захлебнулся в восклицаниях.

— А я свободна в Новый год. Хочешь, пойдем вместе в один дом?

Снова восторженные восклицания с моей стороны.

Где муж Миша? Куда она денет Ваську? Да не все ли равно! Первый раз я встречу с нею Новый год! Первый раз появлюсь с нею у ее знакомых! Не предвещает ли все это счастливых перемен?

Все же я не сказал Гале правды. Что-то соврал. Но она высказала все сама:

— Думаешь, я не понимаю? Я все понимаю! Я для тебя удобная кукла, которую когда хочешь — достанешь, когда хочешь — спрячешь в коробку!

Она еще много говорила. Я почти не слушал. И почти не оправдывался.

А тридцатого Лилита позвонила снова:

— Ты знаешь, ты, пожалуйста, извини, ты только не сердись, но завтра я не смогу. Я очень хотела, но что поделаешь.

— А что случилось? — тупо спросил я.

— Ну, понимаешь, Миша сейчас в Москве. Я сначала хотела ехать встречать к нему, но не было денег. А теперь достала деньги. И билет. Так повезло! Ужасно же трудно с билетами.

Вот так прямо. Хоть бы догадалась соврать. Сказала бы, что заболел Васька.

— Ну понятно.

— Ты только не кисни! Я по голосу слышу, что ты киснешь. Я вернусь и тебе позвоню, хорошо?

— Звони.

— Я позвоню, если ты не будешь киснуть. А то зачем звонить, если ты киснешь? Ну скажи, что ты не обиделся.

— Я не обиделся.

— Вот и умница.

На Новый год я не пошел никуда. Лег спать в десять часов.

Лилита теперь тоже работала, и заходить к ней днем, когда муж Миша на службе, стало невозможно. При встречах она много говорила о своем заводе. Как на нее навалили воз работы, потому что она безответная и согласна везти. Как у них там одни мужики и все бессовестные, поняли, что на ней можно ездить. Удачно только, что начальник к ней очень хорошо относится, заступается. Я мрачнел: не хватало мне только начальника с очень хорошим отношением к ней.

Однажды случайно встретили на улице Надьку, лучшую институтскую подругу, с которой Лилита не виделась года три.

Надька бросилась обниматься:

— Ой, здравствуй, Красноперова!

Потом отстранилась, посмотрела на меня опасливо:

— Или ты теперь Стрельцова?

Лилита рассмеялась:

— Ну что ты! Если бы я решилась, так еще бы в институте.

— Правда? А девчонки говорили...

Она замолчала. Я приятно улыбался.

Ответ на мою заявку по поводу цветного телевизора пришел через год. Отказ. Мотивировка: не содержится элемента нового, поскольку на аналогичные темы выданы такие-то авторские свидетельства, — и перечислены свидетельства на люминесцентные стекла разных цветов и наше — на осциллограф. Да, по частям все известно. Но ведь никто до меня не предложил объединить эти части так, чтобы получился цветной телевизор!

Ну что ж, получив официальный отказ, я мог опубликовать свою идею в журнальной статье, тем самым хоть как-то обозначив свой приоритет. Что я и сделал.

Чувства автора отвергнутого изобретения очень сходны с чувствами отвергнутого влюбленного — могу удостоверить абсолютно авторитетно. Влюбленный переполнен нежностью, которая оказалась никому не нужной; он знает, что мог бы быть необыкновенно счастлив и дать необыкновенное счастье своей любимой, но его способность давать и брать счастье пропадает, как перегорелое молоко у недоенной коровы. Изобретатель переполнен своей идеей, он знает, что принес бы людям огромную пользу, может быть, стал бы подлинным благодетелем человечества, — но человечество не заинтересовалось, и идея, не найдя выхода, прожигает изнутри, как кислота. И все же есть разница: у изобретателя впереди хотя и не вечность, но по крайней мере много времени, если изобретение такое, о котором стоит говорить. У влюбленных времени меньше. Обидно же соединиться в шестьдесят лет и горевать о погибшей без любви молодости.

У меня больше не было Гали, и в компаниях я появлялся один. Это унижительно — приходиться одному туда, где все парами. Выслушивать сочувствия и всевозможные намеки.

От одиночества я дичал. Самый прискорбный случай произошел на даче у Леньки, того самого, что познакомил меня когда-то с Лилитой.

Я, как обычно, приехал один. А танцевал больше всего с хорошенькой Веренькой Шевелевой. Когда я кончал институт, она как раз поступила на первый курс, и случайно мы были немного знакомы. Теперь, впрочем, она была не Шewe-

лева, а Грушева, и муж ее праздновал вместе с нами. Ему было трудно. Самый старший в компании — Веренька моложе его лет на пятнадцать, — он старался не выделяться, быть как все, но это выходило немного натужно. Толстый, откровенно влюбленный в юную Вереньку, он казался нам комичным.

Я ухаживал за Веренькой, меня поощряли, потому что что такое муж, если не мишень для насмешек? Веренька веселилась.

Я, естественно, выпил, но ведь закон считает это не оправданием, а, наоборот, отягчающим обстоятельством.

Мы прижались друг к другу во время медленных танцев, и наконец я позвал Вереньку спуститься к озеру. Там как раз нашлась скамейка.

На воздухе я немного протрезвел. Начали мы праздновать рано, и еще не стемнело. Закат отражался в застывшей в безветрии воде. Надо было действовать смелее, но я смотрел на хорошенькую Вереньку и не находил в себе других чувств, кроме чисто приятельских. Спросил ее что-то о муже. Она ответила. Я еще спросил. Наконец Веренька сказала разочарованно:

— «Говорили мы, поверь, только о тебе», — процитировала Высоцкого.

На самом деле смешно: убежали, чтобы говорить о муже. Тогда я лениво посадил ее к себе на колени и начал целовать. Без увлечения.

И вдруг сзади затрещали кусты. Выскочил муж — растрепанный, потный и красный.

— Сволочь! — закричал он. — Мразь!

И убежал, ломая на пути ветки.

Веренька вскочила и убежала тоже.

Сцена — словно из какого-то фарса, но мне не было весело.

«Сволочь! Мразь!» — слова, не имеющие рода, так что он мог иметь в виду и ее, и меня.

Если бы я действительно ее любил! Тогда не имело бы значения ничто — ни муж, ни общественное мнение. Но от скуки, из подлого желания посмеяться над слишком откровенным преданным влюбленным!

И кто это сделал? Я! Сам много лет страдающий от превратностей любви. Казалось, должен был бы понимать другого влюбленного.

Как скверно! всю жизнь сам был о себе лучшего мнения. Компания веселилась. Пытались поздравлять меня, смеялись над исчезнувшим мужем. Я поспешно уехал.

Оставалось утешиться тем, что у каждого бывают свои падения. Сомнительное утешение.

Работал я в организации, занимающейся отнюдь не телевидением. Разрабатывал приставку к ЭВМ, выдающую информацию сразу в виде графиков на экран. И довольно успешно внедрял люминесцентные стекла. А цветное телевидение стало мечтой, вечерней домашней работой. Сейчас я разрабатываю такой приемник, который имел бы мой идеальный кинескоп, но работал бы на сигналах, посылаемых существующей станцией: чтобы не нужна была большая ломка, чтобы не обижены были те, кто поспешил купить нынешние «Радуги». Вот когда я поставлю рядом два аппарата — мой и промышленный, — тогда я послушаю, что мне смогут возразить.

Я уверен, что, если бы не жила на свете Бемби, мне бы работалось хуже. Можно удовлетвориться стандартной формулой: она меня вдохновляет. Но на самом деле все сложнее. Когда я работаю, когда чувствую, что получается, я начинаю выше ценить себя, появляется достоинство, я сознаю, что меня есть за что любить, — и верю поэтому, что Бемби меня уже любит. А появившееся достоинство, уверенность в себе в свою очередь помогают работе. Получается круг, но не порочный, а, наоборот, круг удач, — вдохновение разгоняется, словно протон в ускорителе, и любовь действует как магнитное поле.

Много говорят о первой любви: мол, не забывается, остается на всю жизнь и все такое. А вот у меня были, как у всех, и первая, и вторая, и третья, но, честное слово, вспоминаются теперь безо всякого волнения. Вот если сказать: есть единственная, есть главная любовь в жизни — это будет правдой. С Бемби меня постигла главная — вот в чем беда.

Счастье это или несчастье? Конечно, любовь прекрасна сама по себе; кто-то сказал, что божество обитает в любящем, а не в любимом. И все-таки я чаще и чаще думаю, что неразделенная любовь — несчастье, почти болезнь. Нужно иметь силу и мужество, чтобы вовремя уйти и забыть! А я не смог.

Теперь я иногда провожаю ее с работы домой. Встречаю у проходной и провожаю. Сколько раз я ее провожал — еще из института. Поистине *главный провожатый*. Вероятно, здесь кроется моя ошибка.

Однажды я провожал ее на первом году нашего знакомства. Настроенные у меня было хорошее, уверенность в себе появилась. Я сказал:

— Пойдем сейчас ко мне.

(Значит, дело было до ее первого визита, до незабываемого «Да отвяжись ты!».)

Она не соглашалась. Но я просто крепко взял ее за руку и повел.

Она говорила:

— Пусти, люди смотрят!

Она говорила:

— Я сейчас закричу. Позову милиционера.

Она говорила:

— Я не терплю насилия.

Она говорила:

— Со мной так еще никто не обращался. Нет, правда.

Я ее вел. Я чувствовал себя победителем.

Но я не выдержал до конца. Я начал ее уговаривать. Мое дело было проиграно.

Она же все-таки шла, когда я вел ее *якобы насильно*. Шла добровольно в конце концов, потому что легко могла вырваться. Но мне нужно было формальное словесное согласие, словно удостоверение с печатью. Ну и поделом мне.

И вот новое провожание спустя много лет. Традиционное и безнадежное. Она только что вернулась из отпуска, шла рядом загорелая и особенно прекрасная. Мы долго молчали.

— Ну скажи что-нибудь. Скажи, что до сих пор меня любишь. Ты мне давно этого не говорил.

— Ну конечно, я тебя люблю.

— Если бы ты знал, как мне необходимо это слышать время от времени.

— Вот и шла бы за меня замуж.

— Молчи.

Мы помолчали.

Перед домом Бемби остановилась. Легко мгновенно прижалась ко мне и шепнула:

— Хорошо, что ты есть.

И убежала.

Тонкая, как девочка. Наделенная врожденным совершенством движений.

Я стоял счастливый и готовый впасть в отчаяние одновременно.

«Хорошо, что ты есть».

Стоит жить, чтобы слышать такое. Нет, правда.

Но если разобраться: у нее есть семья — муж, сын. И еще есть я. Образец непоколебимой верности, проверен десятилетним беспорочным стажем. Более стойкую верность найдешь разве что в «Тристане и Изольде».

Раз в два-три месяца мы сидим около часа в каком-нибудь кафе или мороженнице («Какие у твоего мужа, деточка, красивые зубы»), потом я ее провожаю. Сейчас они живут в кооперативе на проспекте Космонавтов, туда, к моему счастью, так же далеко, как до Охты. Несколько раз — в хорошую погоду — мы даже ходили пешком. Сидели у пруда в парке Победы.

Но каково мне в эти двухмесячные промежутки?! Когда каждый телефонный звонок может означать, что звонит она. Но звонят все, кто угодно, кроме нее.

«Хорошо, что ты есть».

Непрерывное ожидание, ежедневное напрасное ожидание — вот что такое *аз есмь*.

И невозможно же выдержать такое постоянное напряжение! Есть же предел выносливости, как есть предел боли. И если боль становится нестерпимой — наступает бесчувствие, болевой шок.

Вот я и проснулся на исходе одиннадцатого года нашего знакомства, утром в воскресенье, успокоенный и свободный.

Ну вот все и прошло.

Тишина. Необычно легко на душе.

Она меня не любит?! А мне все равно.

Она, может быть, с другим?! А мне все равно.

Она прекрасна! А мне все равно.

Хорошо.

Но все-таки,

все-таки даже сейчас, уже без чрезмерных чувств, холодным умом, —

все-таки даже сейчас я не могу представить себе, что наши жизни так и пройдут независимо и параллельно, так и окончатся врозь.

Видно, просто есть вещи, недоступные человеческому воображению,

как недоступно ему представление о небытии,

как недоступно ему представление о бесконечности Вселенной.

Олег Великосельский

ПЯТЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ

Моей маме

Что написать о солнце?
(Желтый я взял фломастер.)
Что написать о небе?
(Синий я взял фломастер.)
Что написать о жизни?
(Красный я взял фломастер.)
Что написать о смерти?
(Черный я взял фломастер.)
Какой же мне взять фломастер,
чтоб написать о маме?
.. Желтым писать я буду
о сердце ее горячем
величиною с солнце!
Синим писать я буду
о сумрачных расставаньях,
зыбких, как небосвод.
Красным писать я буду
о смехе ее недолгом
величиною с жизнь!
Зеленым писать я буду
о песнях ее и сказках,
живых и во мне звенящих,
как смешанные леса!

Коричневым напишу я
о прядях ее волнистых,
руках ее загрубелых,
о добрых ее глазах...
А черный фломастер не трону.
Я черный фломастер заброшу!..

СИРЕНЬ

Я сломил у куста сирени ветвь.
Сирень не обиделась —
обрадовалась;
Сломил я вторую —
засмеялась;
Сломил я третью —
заплакала.
Спросил я у сирени,
что с ней.
Ответила она:
— В первый раз подумала я:
понравилась!
Во второй раз решила:
влюбился!
В третий раз поняла:
не мне цветы!

Анатолий Иванен

* * *

Грущу — потому и грузчик,
Гружу — потому и грустно.
Умора с тобой у моря,
Трагический мой рассудок.
Нетрудно тебя расстроить,
Труднее взойти на судно.
Но все-таки интересней,
Когда давлю под пятою
Не горло собственной песни,
А слабости горло литое.
Когда эту грусть-обузу,
В которой одно упрямство,
Бросаю с тяжелым грузом
В подпалубное пространство.

Вадим Круговов

ОБРЕТЕНИЕ ЗРЕЛОСТИ

ПОВЕСТЬ

Глава первая

Шесть личностей в шапках-ушанках, серых шинелях и сапогах, бригоголовые, смотрят на мои локоны, развевающиеся на ветру, и хохочут.

— Курсант Шатурнов, снять головной убор! — командует сержант Осинин.

Я снимаю шапку-ушанку с приклеенными к ней прядями своих волос.

Пряжки поясных ремней в строю заходили ходуном. Только сержанту не смешно.

Он сообщает:

— И это было, Шатурнов.

И снова топчем ногами землю плаца.

— Выше ногу! Держать равнение!

— Шатурнов, слушать команду! Раз, раз, раз!

Нас трудностями не запугаешь.

— Расчет, стой! О чем думаете, Шатурнов?

— О жизни, товарищ сержант!

— Лучше подумайте о своем внешнем виде.

Сержант берет отвисшую пряжку моего ремня и проворачивает ее несколько раз.

— Дышать трудно! — докладываю ему.

— Зато грудь видна, — отвечает он невозмутимо.

Я до сих пор не понимаю, почему надо торопиться спать? Подъем — понятно, на случай тревоги. Самолеты противника летят со сверхзвуковой скоростью. Но зачем торопиться спать? Зачем как ошпаренному выскакивать из сапог?!

— Поторопитесь! — командует сержант.

А, черт! Портянка сползла с голенища. Она должна обматывать его, чтобы сапог проветривался. В армии все продумано!

— Шатурнов, поторопитесь!

Но я не тороплюсь.

— Расчет, подъем! — вдруг командует он.

И улыбается. Присутствие юмора — признак хорошего нрава.

Морошкин кисло морщится. У него пальцы гибкие. Бегают по пуговицам, будто «Камаринскую» играют на баяне. Он укладывал голову на подушку первым. Поэтому первый не выдержал:

— Слушай, прекрати! Спать хочется, — это он говорит мне.

Только Кашнов бесстрастен. Он понимает, что творится в моей душе. Он ждет, когда я буду умным, как он. Терпеливый человек, и я его за это люблю.

— Шатурнов, вам не хочется спать? — интересуется сержант.

— Я люблю перед сном сыграть партию в бильярд, — отвечаю кратко.

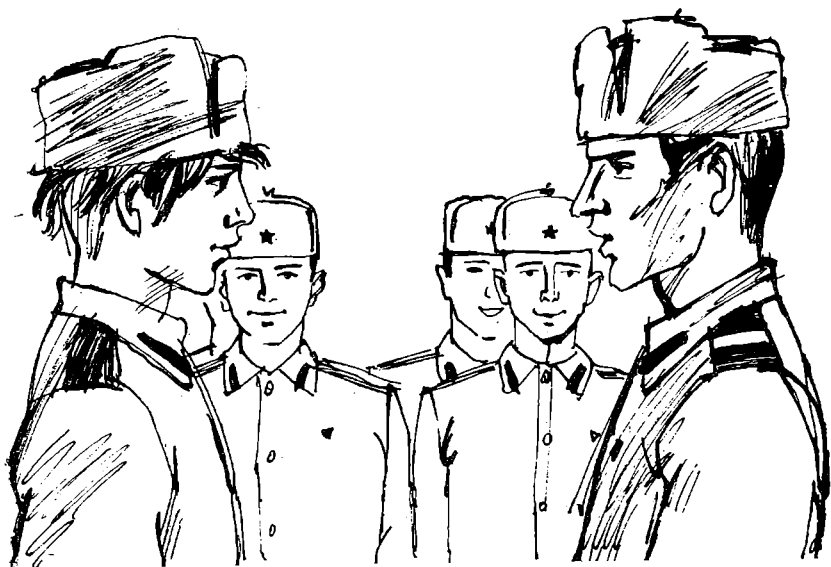
— Сыграем, — соглашается он и командует расчету: — Отбой!

— Хватит, — гудит Феликс Петров. Ему надоело напяливать и спяливать с огромного тела квадратные метры ха-бе. Сам знаю, что хватит.

Акулов, наш перворядник-спортсмен, лег и благодарно улыбнулся мне. Против такой улыбки не устоишь. Я быстро снял гимнастерку и штаны, бросился на кровать, как на амбразуру, и закрыл глаза.

— Зачем ты так? — шепотом спрашивает Коля Кашнов.

— Противно. Думал, в ученье, как в бою. А тут сплошная



самодеятельность. Кто первый снимет штаны. Тьфу! Какой-то бытовизм. И почему ты не пошел в авиацию?

Коля заворочался, засопел. Это его больной, трагический вопрос. Бывает, изменишь мечте — и на всю жизнь моральный калека.

— Так меня же не взяли в авиацию. Зрение подкачало.

— При чем тут зрение! При чем тут всякие причины! Если есть мечта, иди к ней напролом. Ты мог бы там чинить приборы в самолетах, сопла продувать, бетонную дорожку подметать. Ну как ты мог пойти вместо авиации в зенитную артиллерию! Теперь будешь сбивать свою мечту. Вот что, пиши рапорт. Еще не поздно быть там, где хочешь быть. Иначе я всю жизнь буду скорбеть по тебе.

— Не разговаривать! — голос сержанта.

Коля не прошел в авиационное училище по зрению. Я этого не понимаю! Если бы мне вдруг захотелось летать — в пенсне летал бы. Но, увы, мне ничего не хочется, кроме пряника. Пряник недалеко, в тумбочке. Но сейчас нельзя — увидят. А ночью не проснуться. Сон пряника слаще. Скорей бы завтрак! Организм растет, требует.

А утром до завтрака снова бег — пять километров туда и пять обратно. В любую погоду.

Прижал локти к туловищу, бегу.

Моросит, как из пульверизатора. Второе дыхание у меня наступает как раз после десяти километров, если оно у меня вообще имеется. Бегать свыше десяти километров еще не приходилось и, хочу думать, не придется. Легкие у меня плохие.

— Шатурнов, подтянитесь!

— Рад бы в рай. . .

— Дышите через нос.

— С меня довольно!

Схожу на обочину шоссе. От усталости грудь ходит ходунном, но воздух в нее почему-то не влезает.

— Кашнов, Петров, возьмите Шатурнова на руки и бегом! — приказывает сержант.

Это уж слишком! Как-нибудь добегу сам.

Наш расчет опаздывает на утренний осмотр из-за меня, и прапорщик выражает недовольство сержанту. Сержант покорно слушает и, отдав честь, подходит к нам и встает в строй.

Прапорщик в блеске значков, нашивок, колодок. Он демонстрирует построившейся школе выправку, оптимизм, образцово-показательную улыбку и, конечно же, остроумие. Мы для него послушная рать. Послушная в смысле послушать. Он догадывается, что нам нужна не только зарядка, но и разрядка. Наши души, как и тело, в постоянном напряжении. Мы здесь только и делаем, что преодолеваем себя. Поэтому прапорщик шутит с нами даже тогда, когда ему не до шуток.

— Сомов?! — Он всплескивает ладонями. — Как вам удается спать стоя? Не прикажете ли подушечки на уши повесить?

— Я же не сплю. . . — гудит Сомов.

Но цель достигнута! Мы хохочем, как на галерке. Нас веселит возможность выдохотаться.

Перед Гариком прапорщик замер и, подметив, как тот морщится от зубной боли, спросил:

— Хорошо болят?

— Качественно болят, товарищ прапорщик! — доложил Гарик.

— И вам никуда не хочется?

— Боюсь.

Прапорщик осмотрел стены казармы и произнес:

— Такого слова они еще не слышали. Они могут покраснеть, и никакой масляной краской их не закрасишь. Как вы, будущий отличник боевой и политической подготовки, могли произнести такое слово! Идите, товарищ курсант, в медсанчасть и возвращайтесь оттуда красивым. Шагом арш!

И пошел Гарик строевым шагом на собственную казнь.

А прапорщик приближался ко мне, и его цепкий взгляд — работающий взгляд! — противоречил беззаботной улыбке.

Моя грудь ширилась. Самодовольному сердцу билось в ней все легче и легче — я снял здоровьем, чистотой обмундирования и души.

— Шатурнов, вы меня огорчаете!

— Никак нет!

— Где ваши пуговицы?

— Глядят на вас!

— А надо, чтобы я глядел на них. Как вы пойдете в атаку? Ваши пуговицы окись съела!

— Я чистил их щеточкой.

— Не острите. — Устало: — Наряд вне очереди за пятно на пуговице.

— Слушаюсь, наряд вне очереди!

После завтрака улучаю момент и прошу сержанта извинить меня.

Он удивлен.

Я объяснил:

— Старшина вас ругал из-за меня. И будет ругать каждое утро. Вся причина в моих легких. Они у меня слабенькие. Понимаете, у меня совесть проснулась... — Сержант вдвойне удивлен. Ему не верится, что совесть именно так просыпается. — Но и вы немножко виноваты, — говорю вкрадчиво. — Зачем быть таким прямолинейным? Оставьте меня завтра на обочине, а на обратном пути я к вам примкну. Таким образом мы сохранили бы ваше хорошее настроение. Еще раз повторяю, мои легкие рассчитаны на езду в автомобиле, а не на бесцельное преодоление бесконечного пространства. Силы организма имеют свой генетический порог или предел. Давайте договоримся, и я вас никогда не подведу. На обочине.

— Я постараюсь, Шатурнов, чтобы вы бегали хорошо, — ответил он примитивно. Разгадал!

Коля Кашнов тоже получил наряд вне очереди.

— За что, Коля? Образцовее тебя природа еще не рожала. Значит, наказан несправедливо?

Он принес мешок с опилками, вытряхнул опилки на пол и неохотно ответил:

— К сожалению, справедливо.

Он оросил опилки водой из ведра так, будто сделал главное дело в жизни.

— Лесом запахло, — произнес он.

— Через полчаса потом запахнет.

Мы подмяли подошвами сапог опилки и стали тереть ими крашенные доски пола, чтобы через полчаса его запачкали грязные сапоги курсантов.

— Лучше выметай опилки из щелей. По-новой заставят тереть, — указывает Коля.

Напарничек у меня — мастер.

Прапорщик запретил ребятам входить в казарму, прошелся по надраенным половицам, пощурился на них, как зритель в картинной галерее, и обратился ко мне:

— Шатурнов, а наша школа идет вам на пользу.

— Ой, не льстите!

— Seriously.

— Товарищ прапорщик, должен вас огорчить. Этот шедевр, — указал на пол, — я сделал под руководством курсанта Кашнова.

— Вот и чудесно! Наконец-то поверили, что есть люди, достойные командовать вами.

Коля встает дежурить к тумбочке с ножом на поясе и красной повязкой на руке, а я топаю по раскисшему от дождей глинозему к столовой.

Интерьер столовой, как все в армии, без излишеств в архитектурном плане и гастрономическом. Ряды столов, колонны, поддерживающие крышу, в торце — амбразура для выдачи мисок и бачков. Икра (кабачковая) украшает столы только по праздникам.

Морошкин, дежурный по кухне, просовывает мне миску с кашей так, будто делает одолжение, будто пищеблок — его частное владение.

— Ешь, но с условием: за мое здоровье, — говорит он.

— Мама привила мне хороший вкус к еде. А папа — достоинство. Поэтому лопай эту кашу сам и обязательно за свое здоровье.

— Так ты протянешь ноги! — пугается Морошка.

Родители меня любят. Если протяну, то по другой причине.

Разворачиваю пакет с салом, вскрываю баночку шпрот и

с казенным хлебом, запивая чаем из пол-литровой алюминиевой кружки, вполне сносно набиваю желудок. А затем беру сигарету и на короткое время забываюсь.

— Дай закурить! — просит Морошка. Знает, что у меня табак только высшего качества.

Дилемма: или слыть добрым, или быть без сигарет. Спрашиваю:

— А ты какие куришь обычно?

— «Аврору», — отвечает Морошкин.

— Так и кури ее.

— Да вот беда — нету. Кончились.

— Нету, и хорошо. Табак подрывает обороноспособность. Табак — зло. В интересах противовоздушных сил ты должен бросить курить. Сегодня же.

Надо напомнить родителям, чтобы присылали пачки сигарет не вроссыпь, а блоками.

На Морошкина форма села безупречно. Ему она к лицу. Есть разряд людей, которые умеют быстро вживаться в любую среду. Она их не жмет, как тесные ботинки.

Мне стыдно в век научно-технической революции, в век блестящих упаковок и долгоиграющих пластов, в век стекла и бетона изучать и обслуживать архаизм — пушку! Обыкновенную стомиллиметрового калибра пушку. И пусть мне внушают, что она «многоцелевая, бьет в цель с помощью локаторов без промаха», но я-то вижу пушку. Пошлите меня служить в ракетные войска, в авиацию, используйте мой мозг на сто процентов.

Возвращаюсь в казарму с плохим предчувствием. Сейчас за что-нибудь влетит. Осматриваю пуговицы, ремень плотно обтянул живот, налитый чаем. Ворот гимнастерки застегнут.

— Почему сапоги грязные? — делает замечание дежурный по школе.

— Так неблагоприятно сложились пласты земли на территории нашего полка. Они оказались из глинозема, который имеет тенденцию раскисать от дождя. . .

— Не разговаривать! Почему не насажена швабра?

— Навыка не приобрел еще. . .

— Не разговаривать! Через полчаса туалет должен быть чистым. О выполнении работ доложите.

— Слушаюсь!

У нормальных людей, вернее курсантов, сейчас личное вре-

мя. Они могут делать все, что хотят, в пределах территории полка и в рамках уставов.

Жизнь — борьба личности с обстоятельствами. В том числе борьба с окурками на полу, с обрызганным кафелем, ржавчиной на кранах. После такой борьбы невольно хочется покурить.

И сразу же голос дежурного сержанта:

— Почему курите, Шатурнов?

— По привычке.

— Почему уборка не сделана?

— Как не сделана! Я же драил все, что дранится.

Он указывает на пол так, будто там не вещь что лежит. Всматриваюсь в щель между кафельными плитками и вижу обыкновенную спичку. Чтобы заметить ее, надо иметь соколиный взгляд.

Через несколько дней мое терпение подходит к концу. Чувствую, надо срочно улепетывать из школы. С меня достаточно. Для рапорта вполне хватит десятилетки с математическим отклонением и года работы в ЖЭКе младшим экономистом. Я написал и отправил рапорт немедленно. И на следующий день был вызван к замполиту школы.

— Товарищ майор, курсант Шатурнов по вашему приказанию прибыл!

Майор всегда при нас улыбается. Будто все, что он видит, — самодеятельное творчество. Не скрою, улыбка его мне нравится. Наверно, он побывал в таких передрягах, что наши передряги кажутся ему смешными. Он невольно вызывает такое уважение, что убивает желание поделиться всем, что накипело.

— Долго собираешься шалить? — спросил он.

— Никак нет!

— Служить трудно?

— Трудности меня не пугают. Я их переживу. . .

— С помощью посылок от родителей, — вставляет он.

— Я их переживу без помощи посылок от родителей. Но я обнаружил полную свою неспособность быть командиром. Генералом не смогу быть, а сержантом подавно. И к тому же у меня с Осининым психологическая несовместимость. Нам вредно быть даже в одном помещении.

Майор встал из-за стола и, поскрипывая сапогами, прошелся по кабинету, снова сел и, не погасив улыбки, заговорил:

— Вас учат быть защитниками Родины, и это, разумеется, дается нелегко. Что было бы с армией, Родиной, если бы мы, командиры, не умели воспитывать вас? Вам кажется, что вы слабый, неспособный, а мы обязаны вашу неуверенность в расчет не принимать. Вы не привыкли к духовному и физическому напряжению, мы вас приучим к этому. До армии вы были специалистом, а после армии выйдете гражданином Советского Союза с полной мерой обязанностей. И, пожалуйста, не хнычьте, это некрасиво. И не выпрашивайте снисхождений к своим слабостям, это недостойно. Поверьте моему опыту, из вас сделают хорошего командира. Мы просто обязаны это делать. Сержанта Осинина вы оцените позже. Обещаю. — Он протянул мне мой рапорт и разрешил: — Можете идти.

Майор вышел из-за стола, прошелся по кабинету, встал передо мной.

— Не люблю разговаривать по душам. Не вижу смысла. Душевные качества и свойства воспитывают не разговоры, а дела. Верно? — Он ждал от меня ответа так, будто я замполит, а он курсант.

— Может быть, вы правы.

— А когда чего-либо не знаете, надо проверить, — ловит он меня на слове. — Я предлагаю вам проверить себя. Мы же со своей стороны постараемся. — В его улыбке и голосе появилась таинственная многозначительность.

Чего они постараются?

— Можете идти, — разрешает он.

— Да, но...

— Идите, — требует он.

Я щелкнул каблуками. Аудиенция окончена.

— Что он сказал? — поинтересовался Коля, кивнув на дверь кабинета.

— Сказал, что все идет как надо. Сказал, что мы не имеем права быть дохлыми. Пообещал, что добьется от нас всего, что посчитает нужным... И еще он пообещал мне создать персональные бытовые условия. Может быть, это будет личная ванная...

— Да ну?!

— Может быть, это будет спальная или кабинет. Вот ради таких благ я согласился остаться.

Коля поморгал своими куриными веками, посопел вечно забитым носом, все понял и одобрил:

— Вот и правильно, оставайся. Что, тебе трудно команды выполнять, что ли?

Глава вторая

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Мы поем. Сводный хор. Привели в клуб, поставили на сцену и приказали петь. И поем. И еще, может быть, победим другой полк по хоровому пению. У меня оказался баритон, у Коли тенор.

Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода-тревоги
Да сухой бурьян...

Руководит хором Феликс. Ему обещали отпуск домой за победу над школой соседнего полка, и поэтому он готов петь за каждого, порхать руками так, будто уже летит в родной Кременчуг.

Раньше, до хорового пения, мне казалось, что весь мир состоит из солистов. Теперь кажется другое...

— Шатурнов, врите! — кричит Феликс.

— А вы обманываете, что вру.

— Слушай, сейчас не до полемики.

— В отпуск торопишься?

— Если не хочешь петь, я отчислю.

— Нет уж, лучше петь, чем опилками пол тереть.

Он взмахивает руками, и наши глотки, слившиеся воедино, превращаются в многоголосый орган. Орган звучит так, что порой мурашки начинают ползти по спине снизу вверх, а потом сверху вниз.

На гражданке я слушал легкую музыку часами. Но слушать одно, а быть участником хора — другое.

Феликс, конечно, не авангардист. Репертуар его прост. Но ему, видимо, нравится мужской хор. Особенно басы и баритоны. Тенора у него выступают в роли лучей солнца на крепостных стенах или одинокой фигурки Ярославны у монументальной крепостной башни.

Итак, полчаса личного времени пропели, остальное уйдет на чтение писем, если получим, на подшивание свежих воротничков, на чтение, на игру в шахматы и домино.

Странная разворачивается картина в Красном уголке, когда по распорядку дня личное время. Крутоголовые мужики

в белых нательных рубашках сидят и пришивают воротнички. Акимов к тому же латает шаровары. Они у него лопаются на легкоатлетических тренировках. Морошкин, чтобы гимнастерка меньше изнашивалась, в личное время не надевает ее. Пришьет воротничок и сложит гимнастерку по всем правилам на табуретке рядом. Однажды Феликс на нее сел. Что было!..

— Вить, подкажи, — просит Морошкин и подсовывает под мой нос учебник. На странице — механизм отката орудия в разрезе.

Небрежно объясняю:

— Поршень, сальник, пружина, гидравлическая жидкость. До выстрела... После выстрела... — листаю дальше и привожу его в панику своим знанием материальной части.

— Как ты все запоминаешь? Расскажи! — просит он.

— У меня светлая память.

— А у меня — дерьмо, — признается он.

— Знаю.

— Такая махина! Я с такой техникой еще не сталкивался.

— Столкнешься. Скоро от теории перейдем к практике.

Все орудия разберем на части и, если что-нибудь ворона или воробей не унесут, соберем обратно.

— За практику я спокоен, — радуется Морошка. — Что руки пощупают, то ум вспомнит.

— Э, да таких, как ты, девушки не любят! — говорю ему.

— Каких таких? — живо интересуется он.

— Щупающих.

Он смеется и отмахивается от меня:

— Придумаешь!

Дверь в Красный уголок распахнулась, и на пороге встал вестник, любимец богов.

— Налетайте! — крикнул он и высыпал из почтовой сумки на длинный стол конверты, похожие на крылья чаек.

Приятно, конечно, весточку взять в руки, распечатать и узнать, что там, за сырым забором полка. Но в любой момент может вбежать дневальный и заорать еще громче: «Тревога!» И тогда вмиг весточка выпорхнет из памяти.

— Шатурнов, а ты чего не налетаешь? Тебе плясать надо. Смотри, какой брусок! — кричит Акулов и держит бандероль над головой.

Я пляшу, как умею, получаю бандероль и по весу ее понимаю, что это не блок сигарет. Краем глаза вижу, что у всех перехватило от любопытства дыхание. Мои бандероли всегда

вызывают восторг. Лиза вспомнила! Приятно. Девушки меня ценят гораздо объективнее, чем сержант. Ну что же, у меня от однополчан секретов нет!

Широкими взмахами рук вскрываю бандероль. Коля спрашивает:

— От нее, которая работает заместителем начальника лаборатории?

— От Лизаветы, — отвечаю так, чтобы слышали все.

Взрослые мужики, воины, как дети, со сверкающими глазами смотрят на мои руки и ждут, что же в них сейчас окажется. Нет, в армии обязательно надо иметь штатного волшебника, ну хотя бы в звании прапорщика. Работа у него будет нетрудной, солдаты — народ доверчивый. Говорю:

— Наконец-то поняла, что письма с выражениями соболезнований и глубокого уважения бесполезны. Солдату нужно присылать кое-что повесомее. . .

В это время фольга лопается и на пол летят, похожие на игральные карты, бумажные прямоугольники. Разумеется, их ловят на лету, их подбирают с пола и, прежде чем отдать мне, рассматривают и хохочут.

— Вот это фрау мадам! — кричит Морошка и протягивает мне одну фотографию, на которой Лиза в широкополой шляпе и с веером в руке.

Горет стоит гомерический. Все вокруг обмениваются фото-портретами смазливой девчонки в платьях и головных уборах всех времен и всех народов.

— Она артистка?! — с подозрительным румянцем на щеках спрашивает Коля.

— Жертва самодеятельности.

— Она мне нравится. Особенно здесь.

Коля показывает фотографию, где Лизу обмотал цветастый платок.

— Декорация. Запиши ее адрес. Текст писем продиктую позже. Главное — напиши, что она талантлива, и успех обеспечен.

— Не надо так, — просит Коля. — Она же человек. . .

Феликс хохочет.

Раздаю фотографии тем, кому не досталось, и советую хранить в нагрудных карманах с левой стороны.

— Ну, зачем так! . . — печалится за спиной Коля.

— Прикажешь снаряды фотопортретами оклеивать?

После вручения сувениров он просит рассказать о Лизе.

— Лаборантка. После работы пропадает в театральном кружке. Вот и все.

— Ты же говорил, что она заместитель начальника лаборатории! Отличный химик...

— Говорил. Но после такой бандероли я понизил ее в должности.

— Она красивая, — рассматривает фотографию Коля.

— У нее хорошие осветители и фотографы.

Коля закрыл глаза, подумал и выдал:

— Я увидел у нее добрый характер.

— Глупость не оправдывается добрым характером.

Как часто мы умеем произносить правильные фразы, а действуем наоборот. Что заставляет человека поступать наперекор разуму, наперекор Сенеке, Гоголю, Чернышевскому, всей плеяде мудрецов? Что?!

Ну зачем я бросил пост у бани, где моются беззащитные в своей наготе и веселости ребята? Зачем оставил у входа одного Колю, а сам увязался за девчонкой с лицом строгим и неподкупным? Ведь не ответишь потом командованию, что меня увлекла неведомая сила, что мне надоело быть только среди примитивных существ мужского пола. Мне хочется кому-то рассказать, что в детстве любил мармелад, обратить внимание на созвездие Большой Медведицы и сообщить, что перед ясной погодой созвездие блестит по-особенному и наводит на какие-то потусторонние мысли, вызывает какие-то несбыточные желания, будто ты хочешь вернуться туда, где не был...

Девушка всколыхнула во мне всю тину. Сознание помутнело, взгляд тоже. Я удалялся от бани, где мылась рота, так, как удаляется вода из раковины. Самоконтроль уповал на одно: «А вдруг обойдется».

— Я провожу вас.

— Зачем? — спрашивает она.

— Странный вопрос. Кто-то из великих сказал, что на свете самое ценное — это общение. Пообщаемся?

— Вам общение дороже поста, который оставили?

— Такое красивое лицо — и такие вопросы! Явно этот мир помешался на уставах! С женщинами что-то творится. Ненормальное. Они стали рассудочнее нас.

Она поворачивается ко мне своим монументальным лицом, очень похожим на кого-то, смотрит в упор и спрашивает спокойно:

— Вам хотелось, чтобы красивое лицо задавало только глупые вопросы?

— Я отправился за вами, чтобы отвлечься от служебных обязанностей. А вы! Неужели непонятно, каково нам? На свете самое женское дело — понимание.

— Ваших слабостей? — усмехнулась она.

Трудно совмещать глубокомысленный спор с запоминанием обратной дороги! К бане. Крыши домов, как перевернутые вверх дном лодки. Окна, огороды и штакетник. Из такого однообразия выбираться трудно. Лихорадочно ищущую легкую тему. Запоминается тон разговора, а не смысл его. Что смысл — он всегда постоянен. Только настроение, которое создашь, заставит ее ворочаться в постели и ждать новой встречи.

— Я скоро уезжаю, надолго. — Фраза рассчитана, она придаст нашим отношениям зыбкость и вынудит девушку к определенности.

— Скатертью дорога, — отвечает она.

Если бы я знал ее адрес, то повернулся бы и ушел. Поэтому проглотил пренебрежительный тон и шагаю по пружинящим под ее литыми ногами доскам. Доски проложены через болотистый участок. Впереди, на горизонте, в потоках нагретого воздуха колыхается заводик с одной высокой трубой. К нему тянется однокорейка с длинным составом из платформ.

Девушка подошла к дому на отшибе и деловито порылась в почтовом ящике, прибитом к столбу рядом с калиткой.

— Как вас зовут? — спрашиваю и запоминаю название улицы и номер дома.

— Надежда, — отвечает она, смотрит на свои громадные, как компас, ручные часы и советует: — Бежал бы, солдатик. По головке не поглядят.

Она права. Знание моих обязанностей делает ее обаятельной, как Кармен. Вот она чуть развернула торс, и на свободно сидящем платье образовались крупные, подчеркивающие крутые бедра складки.

Я порывисто обхватил ее и на прощание хотел поцеловать ее твердые, но улыбочные губы. Однако попал своими губами в мочку уха.

— Э! — произносит она и отодвигает мое натренированное физзарядкой тело на безопасное расстояние. — Много тут вашего брата бегают.

— Так до чего же мы договорились? — спрашиваю с придыханием.

— Что в огороде бузина, а в Киеве дядька, — улыбается она очень знакомой улыбкой...

— Я вам напишу.

— Беги, беги, — прохладно провожает меня, и я догадываюсь, что, наверно, у нее есть дружок. А это уже интересно! Это повод к ревности!

Я мчался в просветы между стволов. Мои ноги рвали кружева из тени и света. Парк длился бесконечно долго. Кроны дубов походили на застывшие разрывы фугасных бомб с осколками — листьями и желудями. Это был не бег! Это был гибрид полета с бегом. Что-то похожее на передвижение с помощью воздушной подушки, только у меня подъемной силой служит страх. С ходу я чуть не своротил головой одну из колонн бани и остановился.

Между колоннами Коли не оказалось. В мужском отделении бани стояла зловещая тишина. Только где-то в моечной капли из крана барабанили по пустому тазу.

Я выбежал на улицу и услышал далекую и бодрую строевую песню:

Эх, подружка,
Моя родная пушка,
Моя родимая,
Вперед!

За воротами, на территории полка, школа остановилась. Из ее рядов чеканным шагом вышел Коля и в сопровождении сержанта Осинина отправился на гауптвахту.

Таким решением прапорщик убил двух зайцев: заставил Колю подумать в одиночестве о проблеме, когда, где и кого можно и нельзя укрывать, а меня оставил на людях заниматься угрызениями совести и впитывать всеобщее презрение.

Гауптвахта — приземистое сооружение из серого силикатного кирпича с зарешеченными окнами-амбразурами и часовым у входа.

Я обошел памятник архитектуры и с риском быть услышанным охраной позвал:

— Кашнов! Кашнов!

Вдруг в одном окне появилась ладонь и замахала мне.

— Слышишь меня?

Ладонь сжалась в кулак, и кулак, будто голова, закивал.

— Как поживаешь?

Ладонь выбросила большой палец. Значит «мирово!», если уместь теорию относительности.

— Кто просил выгораживать меня? Открой окно, заброшу пачку вафель.

Кулак покрутился из стороны в сторону, что означало: «окно открыть невозможно».

— Постараюсь уговорить охрану. Что новенького в камере?

Кулак ответил — «ничего» и спросил, чем закончилась попытка знакомства с девушкой.

— Адресом! Теперь атакую письмами. Один том избранных отправил. Выйдешь, доложу подробности. А сейчас прощай. Скоро занятия у орудия. Поговорю с охраной. Может, передаст тебе вафли. До завтра!

Подхожу к часовому с шалопайским видом: руки в карманах, пряжка ремня на пупе болтается, пилотка поперек головы сидит. К шалопаям в армии особое отношение, их больше всех наказывают и любят. Они — живой экспонат, каким не должен быть солдат. Разумеется, если шалопай безобидный, а не разгильдяй, не хулиган и не хам. На погонах часового ефрейторские лычки. Это усложняет дело! Я к нему обращаюсь, а он смотрит сквозь меня, как сквозь витринное стекло.

— Послушай, там в застенках мой друг, ни за что. Первый в истории армии случай, когда человека посадили ни за что. Уникальный случай. — Вытаскиваю из кармана пачку вафель. Протягиваю: — Передай вафли. Пусть похрустит. Говорят, там, за стенками, очень тихо. Пусть похрустит.

Часовой продолжает смотреть сквозь меня на артиллерийский парк. Там солдаты и командиры чистят материальную часть.

— Себе возьмешь вафельку и тоже похрустишь. Ладно?

Часовой отдергивает свою руку и приказывает мне удалиться из расположения охраняемой им территории. Окаменелость, а не человек из плоти!

— Ладно, товарищ ефрейтор, только запомни, его зовут Коля, а фамилия Кашнов. И наблюдай, как я положу пачку вафель за тот камень. В свободное от дежурства время пачечку возьмишь и передашь Коле. Понял?!

Я положил вафли за камень и побежал в школу. И очень кстати! Только остановился передохнуть, как дневальный объявил:

— Школа, тревога!



В автопарке заурчали, а затем во всю мощь заревели тягачи. Это значит — тревога с выездом.

В полном боевом снаряжении наш расчет подбежал к орудю и быстро поставил его со станины на колесо.

Тягачи расползлись по автопарку и, резко крутанувшись на местах, с ревом попятнулись каждый к своему орудю.

— Шатурнов, все в порядке? — спрашивает Осинин.

— Так точно.

Моя обязанность — прицепить орудие к тягачу. Заклинить замок. А потом — в кузов. Под брезентовую крышу вместе с остальными. Докладываю:

— Прицеп готов!

— По местам! — командует Осинин.

Кузов рвануло, и начались качели. Нас бросало из угла в угол, как зеленый горошек. Сквозь слюдяное окошко были видны поляны, речушки, леса. Потом пошла болотная слякоть. Будет нам работенка чистить орудие!

— Куда мы едем?! — поинтересовался Феликс. Скоро его час руководить хором.

Я бы ответил, может быть, остроумно, однако с тех пор, как посадил Колю на губу, меня никто не хочет слушать. Будто я глухонемым стал для всех.

Осинин в кабине тягача. Там тепло и видимость в пределах света фар.

Оказывается, мы торопились на железнодорожную станцию.

У железнодорожной платформы, на которую мы должны были погрузить орудие, стоял Коля. Ребята поздравили его с амнистией, и он включился в работу.

Тягач осторожно толкал орудие на платформу. Дым отработанной солярки повис над станцией. Рев тягачей заглушал голоса людей. Казалось, люди здесь лишние, они слишком хрупкие, чтобы повлиять на ход погрузки многотонных орудий и станций наведения. Но люди управляли тягачами, кое-где собравшись расчётами, подталкивали орудия и, как только те становились вдоль платформы, быстро вставляли клинья под колеса и ломиками скручивали толстую проволоку, служившую растяжками.

Командир школы и замполит ходили вдоль железнодорожного состава и посматривали на часы. С момента объявления тревоги вся деятельность школы подвергалась строгому контролю по часам и минутам.

— Третье орудие готово! — доложил Осинин.

И сразу же слышались доклады остальных командиров орудий.

Что мы погрузились первыми, для меня было странным. Спокойные команды Осинина и его появления там, где надо, сыграли свою роль. Я не честолюбив, но быть в передовиках интереснее, чем в задовиках.

— По вагонам! — понеслась команда вдоль состава, и сержант повел нас к теплушке.

Вдруг с курсантами что-то произошло: кто находился в вагонах — заскулил, кто бежал — сбился с ноги, кто стоял на посту — вытянул шею. Вдоль состава шла Надя. Ее крупное лицо было невозмутимым.

Наш расчёт остановился перед теплушкой и от волнения не мог залезть в нее.

Я вышел вперед, и Надя остановилась. Она протянула руку, пожалала мою и сказала:

— Счастливой поездки.

— Спасибо, что пришли проводить.

Она усмехнулась и ничего не ответила. Только взглянула на мой расчет и подсказала движением подбородка, что пора лезть в вагон.

Глава третья

Сержант Осинин знакомил нас с чертежами противоатомного окопа в то время, когда у соседей комья земли вверх дтели. Мы же эти чертежи проходили в классе!

— Работайте без суеты, — говорил он неторопливо, — кто резво начинает, тот быстро выдыхает. Чертежи напомнил вам для того, чтобы лучше понимали мои команды. В таком соревновании, — Осинин улыбнулся и кивнул на соседей, — время надо экономить даже на командах. А теперь сделаем разметку.

Разметка контура окопа была произведена почти мгновенно. Феликс и Кашнов рисовали контур колышками, а остальные быстро по шнуру счищали дерн.

Сержант в работу вмешивался крайне редко. Он наблюдал за нами и, как только надо было приступить к новой операции, коротко приказывал:

— Шатурнов, носите жерди.

Мы зарывались глубже и глубже. Гимнастерки на спинах парили. Пот заливал глаза. И если бы не спокойные команды с бруствера, мы, наверно, добрались бы до центра земного шара, но окопа, как положено, не вырыли бы.

— Кашнов, Петров, Акулов, крепите стойки. Морошкин, забивайте.

Такую организацию работ я испытываю на собственной шкуре впервые. В ней нет ничего унижительного, как нет унижения работать на конвейере. Это самая рациональная организация по рытью противоатомных окопов! Один человек наблюдает за остальными и в нужный момент подает команду. Тот, кто ее получил, должен мгновенно перестроиться и ни о чем, кроме процесса работы, не думая, вкалывать. Вкалывать до изнеможения, до головокружения. Зачем? Ведь тревога не боевая? А вдруг боевая!

— Шатурнов, Кашнов — на дерн!

Это значит — края окопа замаскировать дерном.

Окоп был почти готов, но сержант медлил с докладом ко-

мандованию. Он требовал и требовал доделывать какие-то мелочи, просил подровнять стены... Напряжение росло, и вот над полигоном зазвенел голос:

— Пятое готово!

— Третье готово! — доложил Осинин, и мы упали на траву как подкошенные.

Земной шар плавно нес наши распластанные тела по космосу без остановок и разъездов.

— Встать! — скомандовал сержант. — Строиться!

Мы построились, и он доложил начальнику школы и комиссии из офицеров, что задание выполнено.

Комиссия тщательно изучила окоп и подвела итог поздно вечером.

На утренней линейке замполит объявил нашему расчету благодарность, и мы бодро произнесли:

— Служим Советскому Союзу!

Пятый расчет, оказалось, доложил-то о готовности окопа первым, а закончил доделки последним.

Палаточный городок стоял в сосновом бору. В жаркую погоду пахло смолой, в пасмурную — грибами. За городком, по дну ложбины, струился веселый и прозрачный ручей.

С утра мы уходили на полигон и там вели тренировочные стрельбы.

Иногда ночью нас поднимал сигнал тревоги, и мы, напялив противогазы, неслись к своим орудиям, будто соскучились. Прибежав, расчехляли их, тренировались и по сигналу «отбой» бежали досыпать ночь. Мужчина должен наращивать мускулатуру и знание материальной части. Он должен волноваться, доверят ему или не доверят стрелять по сверхзвуковому штурмовику «противника».

Мы знаем, начальство сейчас думает — какому расчету доверить стрельбу по штурмовику. Стрельба этого расчета повлияет на общую оценку школы. За отличную стрельбу даже приянок не угостят, но за плохую должное воздадут.

— Нам не доверят, — успокоил расчет Феликс. — У нас Шатурнов.

Он сказал это таким тоном, будто благодарил судьбу за то, что она свела его со мной. А может быть, и стоит благодарить. В то время, когда на другой расчет возложат ответственность, мы будем загорать на бруствере и думать, что если бы стреляли мы, то, конечно, на «отлично». Думать о себе хорошо приятнее, чем проверять это в деле.

Ночью снова бежали на свидание к орудиям. Мы все в противогазах и похожи на людей из сновидения. Над соснами качается луна, похожая на медаль «За отвагу». Наверно, я никогда не привыкну к бегу. Снова задыхаюсь. Вижу на стеклах Колиного противогаза тревожные блики. Он хотел бы помочь мне, но как?! Бежать человек должен сам. И сержант работает локтями рядом. Тоже хотел бы помочь. Второе дыхание придет у меня на полигоне. Надо прикрыть глаза. Зрение, оказывается, много отнимает энергии. Что толку скулить на луну? Наверно, ей это надоело.

Над полигоном ни огонька. В лунном серебристом свете поднимаются над землей стволы орудий и начинают, управляемые станцией наведения, тихо и синхронно шарить по звездам.

Передо мной шкала с подсветкой. Она показывает, что ствол стоит почти вертикально. И вдруг над тишиной, откуда-то сверху, голос:

— Залет боевой!

— Боевой снаряд на лоток! — командует с бруствера сержант.

Неужели будем стрелять? Страшновато.

Диски на шкале успокоились. Сейчас они подчинены оператору станции. Он обязан поймать локатором самолет «противника», вести его и в нужный момент дать орудиям команду «огонь».

Команды «отставить» не слышно.

Феликс стоит на платформе и держит руку на рукоятке, будто позирует перед лунной.

Акулов открывает запасной ящик с боевыми снарядами. Снаряды длинные и тяжелые.

— Внимание! — сержант поднимает флажок.

Странная война. Цели не видно и не слышно, а уже команда «внимание». Ты сидишь в кресле и в ловле «противника» никакого участия не принимаешь.

— Огонь! — командует сержант, и его шинель становится багровой от вспышек орудий.

— Огонь!

Орудие рыгает, подпрыгивает и снова рыгает и подпрыгивает. Звук бьет по ушам так, будто кто-то колотит тебя мешком, наполненным теплым зерном.

Шкала в порядке.

— Цель поражена! — голос над тишиной.

Цель поражена так далеко, что приходится довольствоваться победой абстрактно.

Молодец оператор на локационной станции!

Вылезаю из кресла, как мушкетер из седла. Приятное сознание обстрелянности. Нюхаю запах пороха. Луна в дыму переливается расплавленным оловом. Глажу горячий ствол. Молодец, что не разорвался!

На общее построение школы приехал генерал. Он прошелся вдоль строя и громко объявил нам благодарность за отличную стрельбу.

— Служим Советскому Союзу! — прокричал строй ровно в три часа семнадцать минут по московскому времени.

Тренировки до умопомрачения, до седьмого пота решают все! Так становятся олимпийскими чемпионами, так пишутся великие книги и картины, так становятся в армии младшими командирами.

А утром меня ждал сюрприз — говорящее письмо от Лизы.

Коля сиял от радости. Ему, оказывается, не хватало для полного счастья услышать голос Лизы. Я сказал ему:

— Какое счастье для тебя, что она меня не забывает.

Мы подошли к проигрывателю, рядом с которым сидел Феликс и играл на гитаре. Я выключил Феликса словами:

— Может быть, тебе интересно будет послушать в этом безжизненном городке женский голос?

Феликс величественно поднял руки и объявил всем, кто находился в палатке-клубе:

— Ша!

В палатке воцарилась тишина. И вот раздался по всем углам девичий голос:

— Привет, Виктор. Ты изменился со страшной силой. Кто на тебя так давит? Мне твои строгости ни к чему. И морали пиши белой медведице. А в остальном я тобой довольна. Собираюсь к тебе прилететь. Да, ты что-то темнишь насчет адреса. Ничего, узнаю через Министерство обороны и прилечу поболтать. У меня же отпуск. Письма — бумага, на ней что ни рисуй, все равно не похоже. Вчера на эстраду ходила. Одна. А скажи-ка мне по-честному — не завел ли там подружку периферийную? Только не скрывай. Я же помешать все равно не смогу. В таких делах правда нужна. Ты пишешь, чтобы я бросила фокусничать. Фотографии зря прислала? Не зря, если ребята посмеялись. Ну, мне пора закругляться. Пластинка кончается, а я толком ничего не наговорила. До встречи, воин.

Ребятам привет передай. Коле, другу твоему, особый. Привет всем, кто надо мной посмеялся. Пока...

Ребята помолчали, и Морошкин выдохнул:

— Сказка вся, сказка вся, сказка кончилась.

Мы выходим с Колей из палатки. Он настроен философски.

— Любит она тебя.

Я не менее глубокомысленно отвечаю:

— Ну и что.

— Любит она.

— Любить за любовь невозможно.

— И чего тебе надо? — удивляется Коля.

— Другой любви.

— Ты о Наде? Она не для тебя.

— Что так?!

— А вот то и так! — отрезал Коля. — Ты ей не пара. У нее фигура.

— А у меня скелет?

— У нее лицо.

— А у меня фото?

— Ты против нее осечка.

Такого образного сравнения я от Коли не ожидал! Честно говоря, мне нравится, когда он защищает Лизу.

Дождь умыл классную доску, и она блестит черным лаком. На сосне, рядом с которой классная доска, стучит дятел. Говорят, у него профессиональная болезнь — сотрясение мозга. Но это к делу не относится. Надо внимательно слушать, о чем говорит сержант...

— Вот видите, — радуется Морошкин, — он и у прицепа заснет!

— Мы о вас говорим, Шатурнов, — сообщает сержант.

— Спасибо, — отвечаю.

— Дело в том, — сержант обращается ко мне, — что стрелять по штурмовику будет наш расчет.

— А я считаю, — загудел Феликс, — что мы к этому не готовы! У нас нет нормального наводчика. У нас есть Шатурнов, но наводчика нет, хотя он числится им, но лучше бы не числился. Мы сорвем стрельбу, истратим народные деньги, в том числе собьем не «колбасу», а штурмовик, и все потому, что в ответственный момент Шатурнову захочется покурить, а может, и ромашку на бруствере понюхать. Да откуда я знаю, что ему в тот момент захочется!

— Бросьте, ребята, заниматься толкотней, — попробовал урезонить всех Акулов. — Шатурнов нормальный парень и наводчиком будет нормальным.

Акулов вернулся со сборов. Он завоевал грамоту по бегу на пятьсот метров, и слава еще укачивает его в своей колыбели. Он еще не вошел в интересы расчета, школы, да вряд ли войдет, если у него в ушах свистит от мечты пробежать пятисотку так, чтобы в сборную дивизии попасть.

Наконец даже Коля не выдержал. Он густо покраснел и с жаром замахал руками, а потом заговорил:

— Да что вы напали на одного! Поможем, если что. . .

— Ты вместе с ним будешь в одну трубу смотреть? — усмехнулся Феликс.

— У каждого есть чувство ответственности, — продолжал Коля. — Из тебя, Феликс, хороший бы кавалерист вышел.

— Это почему? — удивился Феликс.

— С плеча любишь рубить. Да и вообще, неужели вам не ясно, неужели не доходит, что мы оскорбляем человека, топчем его самолюбие!

— Да брось ты свою школьную философию, свой пятиклассный гуманизм, — отмахивается Феликс. — Тут вопрос жизни и смерти! Понял? А если бы штурмовик был не наш, если бы в войну, ты доверил бы прицел Шатурнову? Ну, что скажешь?

Коля упрямо не сдавался:

— Я доверил бы ему больше, чем тебе.

Я встал. Мне надоел культ личности. Скоро с моим именем на устах пойдут в атаку.

— Вот что, ребята, всех нас учили быть взаимозаменяемыми. Доверьте мне скромную роль установщика взрывателя, а наводчиком пусть становится любой из вас. Морошкин? Я уверен в нем больше, чем в себе. У Коли Кашнова вместо нервов тормозная жидкость. Акулов спортсмен. Его ничто не выбросит из седла. Феликс тоже мог бы стать наводчиком, только я не могу представить его красивую, даже эффектную фигуру сгорбленной перед прицелом. По-моему, он должен быть заряжающим, он должен быть на виду, чтобы позой убеждать начальство в том, что наш расчет не подведет, и наводить страх на противника.

Моя речь заставила всех подумать. Стало слышно, как дятел долбит сосну и где-то далеко-далеко кукует кукушка. И вдруг все звуки заглушил залп орудий на полигоне. И сно-

ва наступила тишина, только без стука дятла и кукования кукушки.

— А почему доверили стрелять нам? — растерянно задал вопрос Акулов. — Нам что, больше всех надо?

— Решения командования обсуждению не подлежат, — напомнил Осинин.

Его типичное, как дом из крупных блоков, лицо ничего не выражало. Да и что может выразить фасад из типовых крупных блоков, кроме прямолинейной решительности?

Оказывается, Осинин успел закончить архитектурный техникум. Судя по тому, как он использует свободные минуты, можно сказать, что свою специальность он любит, иначе не рисовал бы в карманном альбоме наши фигуры, лица, деревья, травинки с цветками и проекты каких-то необычных домов. Но показывать рисунки он не любит, — кухня, видите ли.

Он выслушал мнения расчета стоя, прислонившись плечом к сосне. И вот он сбил с плеча налипшие крошки коры и сказал невозмутимо:

— Наводчиком назначаю Шатурнова.

— Почему? — удивился Феликс.

— Когда станете командиром, поймете, — ответил Осинин и приказал мне составить план занятий расчета на завтра. Предупредил: — Меня могут «убить», и тогда автоматически командиром орудия станете вы. Методику тренировок стрельбы по низколетящим целям покажете завтра на утренней линейке.

Такова армия, и ничего с ней не поделаешь! Не удивлюсь, если однажды мне прикажут стать Туполевым или прапорщиком Лермонтовым.

Над методикой тренировок я бился целый день, вечер и — что самое любопытное — употребил личное время. Я учел в методике личные качества всех номеров орудия, их темперамент и чувство ответственности. Я нарисовал несколько схем орудия в окопе и расчленил работу каждого номера так, чтобы он, независимо от остальных и в то же время синхронно, выполнял свои обязанности в кратчайшие сроки. Все, что я делал и рисовал, было ново скорее для меня, чем для командования, которое по моим задумкам будет судить о состоянии тренировок.

Осинин внимательно просмотрел мои листы, улыбнулся и, помахав ими перед расчетом, сказал:

— По-моему, Шатурнов круто взял. Но это его метод, и пусть он испытывает его в деле. Кто составляет план, тот и должен организовывать его внедрение. Помните, не бумага потеет, а человек.

— Хорошенькие дела! — зароптал Морошкин. — Он бумажки сочиняет, а мы за них шкуркой отвечаем...

— Расчет, смирно! — командует сержант. — Направо!

И он повел нас на полигон.

Моя задача не только ходошо прицелиться, но главное — создать ансамбль из четких, целесообразных движений всех номеров. Перед погибшими не оправдаешься, что чего-то не учел. И остальные в таком же ответе за меня. Вот и выходит, без них нет тебя, без тебя — их. Теперь наступила пора эти общие рассуждения внедрять в жизнь.

Сержант отдал расчет в мое распоряжение, лег вблизи окопа на траву, сорвал травинку и стал надкусывать ее стебелек.

Я объяснил план занятий на сегодня и скомандовал:

— Расчет, к орудию! Орудие в походное положение!

Многотонная машина не может стрелять стоя на резиновых колесах. Она подпрыгнула бы при выстреле, как резиновый мячик. Поэтому ее выставляют на четырех опорах — домкраты.

Привести орудие в походное положение не просто: надо убрать домкраты, навалиться изо всех сил на ваги (ломы из полых труб) и поставить на колеса. Затем зачехлить орудие брезентовым чехлом и подцепить его к тягачу.

И такая работенка предстоит нам целый день! Мы будем приводить орудие из боевого положения в походное и обратно. Мы это делали уже сотни, если не тысячи раз, но команду стрелять по штурмовику мы можем получить неожиданно.

Много раз машина из отличной стали с кабелями и розетками, с приборами, умная, как координатно-расточной станок, садилась на домкраты и вставала на колеса. С каждым разом она делала эти приседания и вставания все плавнее и элегантнее. И с каждым разом мое тело, как и остальных членов расчета, наливалось таким свинцовым грузом, что, казалось, не будет сил подать команду и ответить на нее. Однообразная работа, на пределе сил (так было задумано по методике тренировок), должна довести наши навыки до автоматизма. Мы не должны помнить ничего, наши головы пригодятся для другого, мы должны довести знания своих обязанностей до границы инстинкта.

— В чем дело, Петров?! Почему в вашем домкрате пузырек в уровне смещен? Нам придется стрелять не по воробьям.

— Ушел пузырек. Это Акулович свой домкрат приподнял!

Ну вот, ушел пузырек! Если орудие стоит не по уровню, будь я семи глаз во лбу, а в штурмовик не попаду. Такая мелочь, пузырек, может испортить всю игру.

Даю команду:

— Орудие в походное положение!

— Перекурить пора, — подсказывает Акулов, вращая рукоятку домкрата. Его гимнастерка мокра насквозь, как и у остальных.

Мы приводим орудие в походное положение и по команде «отбой» валимся на землю. Суем носы в прохладные корневища трав и вдыхаем спокойный запах зелени. Солнце давно поднялось над лесом и своими лучами старается обсушить гимнастерки на наших спинах. По лезвию травинки, навстречу моим глазам, ползет божья коровка. Такая маленькая в океане трав и такая уверенность! Она залезает на самую вершину стебля, расставляет панцирь красных крылышек с черными точками, машет под ними нежными перепончатыми крылышками, будто нижним кружевным бельем, и улетает.

— Ну, даешь, — утирая рукавом гимнастерки пот с лица, говорит Морошкин и снова опускает лицо в траву.

В конце дня Феликс снял гимнастерку и демонстративно выжал из нее пот. Капли застучали по доскам ящика с тренировочными снарядами. Зато наши пальцы научились видеть и помнить то, что обязаны сделать.

— Стараемся, стараемся и промахнемся, — высказывает общую затаенную тревогу Акулов.

И стало тихо. Только мухи звенят, как мысли. Почувяв пот, они слетелись к нам и надоедливо кружат вокруг лиц и рук. Даже оса прибыла. Будто мы для нее лютики, будто наполнены нектаром и требуем опыления.

Коля подставил осе ладонь и стал терпеливо ждать, когда она перестанет щекотать кожу лапками и хоботком.

Глава четвертая

Телеграмма пришла неожиданная и сумбурная: «ЛЕЧУ ВСТРЕЧАЙ ГДЕ УГОДНО ЛИЗА». Наверно, вместо «удобно» надо читать «удобно». Однако от этого смысл телеграммы не проясняется. Во-первых, ближний аэродром в сорока кило-

метра от лагеря и на него ли она приземлится — неясно. Может быть, на тот, что в шестидесяти километрах. Во-вторых, в армии насчет «угодно» и «удобно» говорить не приходится. Тем более когда со дня на день растет напряжение, когда где-то в штабе, в графике стрельб, над твоим именем записали дату. Но ты узнаешь ее только в момент, когда объявят: «Залет боевой».

Тем временем Лиза освоила все виды современного и древнего транспорта и наконец встала перед дежурным по КПП. Она так заморочила ему голову насчет цели приезда, что он был вынужден позвать на помощь меня.

Расчет только что вернулся с полигона на обед. Хотелось быстрее пообедать и завалиться спать. И вдруг вызов на КПП. Товарищ Лиза приехала. Вот Надя понимает, что такое служба, поэтому на письма не отвечает и на КПП не появляется. Чтобы злей был.

Я пригласил на свидание с Лизой Колю, и мы пошли. Сказал ему:

— Жаль, на встрече не будет аккредитованных журналистов.

Наверно, потратилась, а с деньгами у них в семье не густо. Отец пьяница. Лучше купила бы зимнее пальто. Ходит зимой, как пигалица, в лохматой и короткой синтетической шубенке.

А Коля благородно жужжит в мою сторону:

— Не нравится мне твое отношение к Лизе.

Старший лейтенант, дежурный по КПП, взглянул на меня с интересом — еще бы, я владелец такого оригинального Лизиного сердца. Он проинструктировал, что мы должны находиться в пределах слышимости и желательно видимости.

Мы с Колей ответили «слушаюсь», открыли дверь, и хотя воздух не имеет границ, но на КПП он почему-то стал слаще.

Не успел я расправить грудь, как на нее что-то навалилось. По губам саданула медная пряжка сумочки, в нос ударил запах французских духов, а уши обожгли слова:

— Витенька! Милый!

Она висела на моей шее до тех пор, пока я не почувствовал кислородное голодание.

— Лизок, — целуя ее в темечко, успокаивал я, — Лизок. — Она уткнулась лицом в гимнастерку и орошала ее слезами. — Думал, не доберешься, крылья обломаются, рельсы лопнут, колеса расколются... Долетела, пигалица.

Мы вошли в молоденький соснячок и расположились

с Лизой на сдвоенных пнях, а Коля сел напротив. Он несколько раз порывался уйти, чтобы не мешать нам, но мы удерживали его изо всех сил. У нас в отношениях ничего стыдного не было. Например, что стыдного в том, что она смотрит на меня своими громадными зеленоватыми глазами и молчит: насмотреться не может.

— Ой, да что это я задумалась! — спохватилась она и стыдливо спрятала глаза, полные сострадания ко мне.

Неужели я так плохо выгляжу? Наверно, заметила усталость, выступившую соль на гимнастерке.

Она раскрыла сумку и быстро вытащила из нее жареную курицу. За курицей разложила на пеньках банки с солеными грибами, пирожки с повидлом, яблоки, апельсины, колбаски охотничьи и бутылку водки.

— Лиза, а пить нам нельзя.

У нее навернулись на глаза слезы. Она смахнула их и затараторила весело:

— И хорошо, что пить нельзя! Что толку в ней? Нам будет весело без нее. Вы покушаете, потом поговорим. Без водки можно совсем обойтись.

Мы с Колей прыгали от пенька к пеньку, чавкали так, что с елочек шишки опадали, облизывали собственные уши и поскуливали от удовольствия.

Мы не заметили, как невдалеке остановился полевой гаик и шофер стал ждать, когда мы напрыгаемся между пнями.

— Эй! — крикнул он.

— Что надо? — спросил Коля.

— Давайте сюда девушку!

— Зачем? — удивился я.

— Увезу ее я в тундру, — рассмеялся шофер и сообщил: — Замполит советовал отправить. До станции тридцать километров. Поторопитесь, ребята, если не хотите, чтобы она спала на вокзале.

— Да что это такое?! — возмутился Коля. — Человек приехал поговорить, а его выпроваживают. Это даже негостеприимно и для армии некрасиво. Кому она помешала бы?

Шофер внимательно и даже понимающе выслушал речь Коли, улыбнулся и сказал:

— Выходит, я поговорю с ней дольше, чем вы.

— Ты-то при чем?

— Садитесь, девушка, — пригласил шофер. — Следующий поезд будет через сутки.

Лиза посмотрела в мои глаза и непроизвольно потянулась ко мне. В ее облике и поведении была покорность перед громадной и непонятной силой армии. Она выполняла приказ не нашего замполита, которого она просто не видела, она подчинялась всему, что знала и слышала об армии.

— Так надо, да? — спросила, прижавшись щекой к моей груди.

— Поезжай, Лизонька. Спасибо, что навестила. Этим приездом ты мне очень помогла.

— Правда? — обрадовалась она. — Значит, не зря...

— Не зря, не зря потратилась.

— Боже, разве я о деньгах говорю! — отпрянула она и нахмурила брови.

— И я не о деньгах говорю! — подняв ее над собой, смеюсь я.

Она машет руками, будто парит, и серьезно требует:

— Вечно с тобой не поговоришь. У меня столько накопилось... Мне же не с кем, кроме тебя, поговорить.

Я опустил ее на землю и подхватил пустую хозяйственную сумку. Шофер выражал свое нетерпение сигналами автомобиля.

Лиза уехала кстати.

Тучка, зависшая на темечке неба, разрослась в громадную шевелюру. Космы этой шевелюры опустились до вершин сосен, и кое-где стали мелькать молнии.

Во время дождя голову кружит запах грибов и хвои.

В трубах оркестра, провожающего нас в караул, булькает вода. Ливень, судя по пузырям в луже, надолго. Хорошо, что Лиза смотрит на этот потоп из окна цельнометаллического вагона.

Наш расчет идет к полигону охранять технику. Заодно передохнет от тренировок у орудия. Надоело изо дня в день крутить маховики горизонтальной и вертикальной наводок, ловить в оптический прицел летящего воробья и вести его, повторяя за ним скачкообразный график полета. Наверно, фраза «Стрелять из пушки по воробьям» пошла от самих артиллеристов. Воробей — наш самый лучший тренер. Для того чтобы не выпустить этот серый комочек из перекрестия, надо слиться со штурвалами в одно целое. Сержант, например, не выпустил летящего воробья из прицела даже с закрытыми глазами. В прошлом году он, как и я, был наводчиком и стрелял по пикирующему самолету. Говорят, стрелял отлично.

Самолет, конечно, не может маневрировать, как воробей, но в момент выстрела пламя из ствола, дым закрывают цель. Значит, надо какое-то время вести ее на догадке. Притом сила отката отталкивает голову от прицела. Эти помехи надо преодолеть, чтобы не выпустить цель. Она ведь сверхзвуковая.

Мы остановились перед палаткой, где должны отдыхать в свободное от поста время, и задумались. Палатка стояла в центре большой лужи. Отдых обещал быть хорошим.

Феликс влез в палатку и стал ворочаться в ней, как медведь. Он будто не знал, что там, где прикоснулся к брезенту, будут капать крупные капли!

— Тащите ветки, иначе в воде будем спать! — крикнул он из палатки.

Резьята пошли ломать ветки, а меня сержант повел на пост.

Кому понадобится орудие в такой ливень! А пойти в такую ночь с целью испортить материальную часть — значит, схватить воспаление легких. Но эти рассуждения не мешают сержанту инструктировать меня серьезно.

Хочется спросить его: «Ну для чего мы играем в такую игру?!» Но я не спрошу. Ответ прозвучит так: «К чему расслабляться? Можно довести себя до такого состояния, когда не сможешь сделать то, что вдруг потребуется».

Темнело. Близкая опушка леса превратилась в бесформенную черную массу. Исчезли окопы с орудиями. Шумные лужи потеряли свой блеск. Постепенно я оказался наедине с собой и стуком капель о плащ-палатку. Тьма замаскировала меня. Разводящего сержанта я нахожу по сигналам фонарика.

Вернувшись с поста, осторожно ложусь на еловые ветки, уложенные по деревянному настилу. Под настилом от движения клокочет вода. Сверху бьют по лицу тяжелые капли. В такой обстановке быстро не заснешь, поэтому говорю сержанту, лежащему где-то невдалеке:

— Я все думаю: а вдруг глупая случайность испортит нам стрельбу?

— Мне кажется, глупых случайностей не должно быть, — отвечает он. Интересная деталь — можно всегда почувствовать, с открытыми или закрытыми глазами разговаривает с тобой человек в кромешной тьме. У сержанта сейчас открытые. — Глупые случайности мы обязаны предусмотреть. Вот умные — предусмотреть сложнее.

— Ведь еще никто не отменил закона паскудности.

— Стоит в него поверить, и ты расслабишься, — отвечает сержант с открытыми глазами.

— Меня раздражает человеческая нескромность. С каких-то пор в двадцатом веке человечество охватила эпидемия нескромности. Каждый пуп стал считать себя если не богом, то исполняющим его обязанности на земле. Эти и. о. валят лес, перелопачивают землю, отравляют воздух, поганят воду с лихим криком: «Переделаем природу!» Или еще хлестче: «Подчиним ее себе!» Будто подчиненный воздух будет слаще, а гриб вкуснее. У этих и. о. выветрилось из сознания то, что они рождены природой и поэтому встать над ней им невозможно. Поэтому я считаю ожидание неожиданного самым волнующим чувством в этом мире. А неожиданное, по диалектике, может быть хорошим и плохим. Меня не устраивает розовый оптимизм и. о.

Здорово подытожил! Даже стало приятно. Сержант задумался и, как видно, крепко. Произнес:

— Ваша теория в целом верна. А в частности даже малейшая неуверенность в себе и других на пользу врагу. Выстрел — итог нашей работы, нашего мышления.

— В войну от глупых случайностей погибали даже очень опытные воины.

— Значит, случайность недооценили. Бывает такое. Опытный же солдат заставляет случай работать на себя. Вся тонкость, по-моему, в том, что неопытный погибает от простого, а опытный от сложного случая. Хотя сложный случай можно назвать глупым. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы враг был опытнее меня и вас.

— Но может, например, заклинить снаряд.

Кто-то заворочался так, что вода зашлепала под настлом, и послышался возмущенный голос Феликса:

— Не каркай. Если у меня заклинит снаряд, я его ногтями выдеру, понял?

— Вот видите, — спокойный голос сержанта. — Вы не один работаете у орудия. Ваше дело вести цель, и ведите ее хорошо. Другие ответят за свою работу. Мало того, в любой момент вам могут объявить, что вы «убиты». Поэтому я заставил исправить в вашей методике упор на себя. Все номера расчета, кроме вас, должны хорошо вести цель. Вы же обязаны вести ее отлично.

Всегда он так, убивает самолюбие. Мне было приятно, что цель поражаю только я. О роли самолюбия написано доста-

точно, и никто эту роль не хаял. Где же кончается общее и начинается частное? Феликс будет посылать снаряд в ствол и производить выстрел. Кашнов Коля будет ставить поправки на ветер, плотность атмосферы, скорость самой цели. Морошка установит время взрыва снаряда в воздухе, Акулов будет бегом подносить снаряды, а я поведу цель. Сержант будет следить за слаженностью нашей работы, командир батареи будет следить за сержантом, за командиром батареи будет наблюдать начальник школы, а начальника школы проверят высшие начальники, а высших — самые высшие, и в конце концов обороноспособность проверяет народ; народ — это мы все, и начальство в том числе. Интересная структура! И если бы меня в ней не существовало, у прицела сидел бы другой. Но я есть и, следовательно, должен взять свою меру ответственности. Если не возьму, на кого-то ляжет двойная.

В четвертом часу я крепко спал. После хлопанья по грязи и незащитности перед проливным дождем спалось на еловых ветках сладко и без отвлекающих снов.

Вдруг что-то затрещало, и на меня упал сгусток тьмы. Он оказался таким тяжелым, что я с трудом свалил его с себя, вскочил на ноги, ничего не понимая, где я и что со мной. Сержант тоже вскочил на ноги, фонариком осветил большую дыру в стене палатки и что-то пятнистое, пытающееся встать на ноги. Через дыру в палатке Феликс прижимал пятнистое существо к полу и гудел:

— Я тебе покажу, как со мной приемы проделывать. Учти, против лома нет приема, кроме другого лома. Тебе еще расти и полнеть, чтобы меня голыми руками взять.

— Курсант Петров! — закричал Осинин. — Кто это?

— Десантник, кто же еще. — Заламывая руки парню в маскировочном костюме, больше разукрашенном грязью, чем краской, Феликс доложил: — Пойман «диверсант». Получил задание снять часового. Меня, значит.

— Почему не дали сигнал тревоги? — спросил Осинин.

— А зачем? Я же скрутил его. Сначала хожу и сквозь дождь не могу понять, откуда появилась кочка. Нагнулся, на кочке растут цветочки. Вдруг кочка цап меня за ногу. Да, видно, не та весовая категория попалась. Я эту кочку за шиворот схватил и давай полоскать в грязи.

Сержант не дослушал рассказ Феликса, подскочил к телефону и быстро сообщил начальнику караула о случившемся.

— Ну, а зачем палатку рвать? — спросил Коля Феликса. — Взял в плен и держи.

— Так он попытался со мной ихний прием сделать. Пришлось против приема меры принять. Вот он и влетел в палатку.

Пленный молчал. Ему, конечно, влетит за плохое качество работы. Может быть, из десанта выгонят за то, что стал «языком».

Полигон начал оживать. Несколько осветительных ракет повисли в струнах дождя и зыбким светом очертили контуры леса и поднимающиеся вверх стволы орудий соседнего батальона. Пространство пробили прямые лучи прожекторов. Все мощнее и ритмичнее заработали многие виды оружия. Воздух заколебался и завыл от натуги. Трассирующие пули неслись длинной строкой азбуки Морзе.

Мы сдали пленного начальнику караула и подцепили орудие к тягачу. Тягач забормотал (звук команды лишил его голоса) и, бросая комья грязи на зачехленное орудие, поплыл на правый фланг, где из катавасии звуков уже вырисовывались ритм и своя, особенная, мелодия.

Мы проскочили огненный шквал «наших» и выскочили в долину. Тягачи остановились, и по колонне прозвучал приказ: «Орудия, к бою!» Дождь прошел вдруг. Туча с прямым краем, будто оттяпанным ножом, быстро удалялась за горизонт, а стало подниматься похужее на золотую каску солнце.

Сержант прибежал с командного пункта и объявил, что будем стрелять по пикирующей цели.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — произнес Феликс распухшими от ночной встречи с десантником губами и нежно протер тряпочкой лежащий на лотке боевой снаряд.

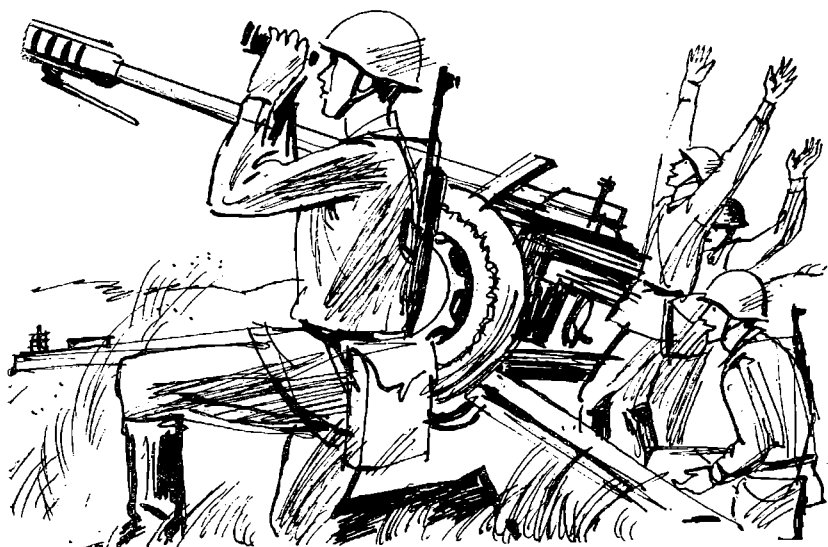
Пикирующая цель — это сброшенный с самолета макет. Макет надо распотрошить так, чтобы из него «потекла» рыжая пыль. Она будет сигналом о выполнении задания.

Акулов снял ремень, опоясывающий гимнастерку, и повесил его через плечо. Так будет удобнее бегать со снарядами.

Коля насупился над приборами поправок.

Морошкин до команды сержанта «залет боевой» улыбался и от волнения позабыл установить губы в исходное положение.

Мы, как профессионалы, протираем свои рабочие механизмы, полагая, что и пылинка сможет повредить стрельбе.



Самолета еще не видно. Его ждут на командном пункте, ждут расчеты, не участвующие в стрельбе, — наши болельщики. Самолет будет лететь высоко. Чтобы осколок не повредил его, нельзя торопиться с командой «огонь».

Я возбужден и спокоен одновременно. Парадокс? Мое возбуждение деловое. Оно предназначено для решения непредвиденных задач. А спокоен я потому, что обстановка не отличается от полигонной, где мы тренировались.

К орудию подошел замполит. На его форме ни вмятины, ни капли грязи. Сапоги блестят. Вот как надо использовать уют и гуталин! Для дела. Мы невольно расправляем гимнастерки, становимся строже к себе.

— Знаю, что не хотите подвести ни себя, ни школу, — сказал он с улыбкой и спросил: — Какие свойства отличают солдата от остальных граждан? — Он подождал, пока мы туго соображали, улыбнулся и ответил: — Думаю, умение сделать то, что надо. Солдат даже в сказках всегда делает что надо, а не что ему хочется. Наверно, давно не читали сказок? — Мы киваем. — Советую почитать. А теперь вам ни пуха ни пера.

— К черту! — отвечаем мы и встаем на свои рабочие места.

— Цель в воздухе, — сообщают с командного пункта.

Ищу в синем небе самолет и нахожу его. В оптической трубе он значительно ближе и крупнее.

Резиновый наглазник мгновенно отсырел от пота.

Перекрестие веду под брюхом самолета, из которого должен вывалиться пикирующий макет.

И вот из люка вылетел продолговатый предмет с крылышками и под крутым углом помчался в направлении нашего орудия. Докладываю:

— Цель поймана. — Ставлю перекрестие чуть-чуть впереди пикирующего макета и командую: — Огонь!

Орудие подпрыгнуло. Резиновый наглазник с силой отталкивает мою голову, но я работаю штурвалами в заданном темпе. Приникаю к наглазнику — цель в перекрестии. Докладываю:

— Цель поймана! — Ставлю перекрестие чуть-чуть впереди цели и командую: — Огонь!

И снова подпрыгнуло орудие, вспыхнуло перед дульным тормозом и пропало оранжевое полотнище.

— Цель поймана! Огонь!

После третьего выстрела к оптическому прицелу не приникаю. Ясно, что цель поражена. С первого выстрела из нее заструилась рыжая пыль. После второго пыль пошла потоком. А после третьего выстрела в небе повис пышный хвост лисицы.

— Ура! — закричали болельщики и стали бросать вверх пилотки.

Начальник школы явился к нашему орудью с лихо посаженной набок фуражкой и веселым, озорным лицом. Он пожал нам руки, не скрывая своей радости, приказал построить нас и объявил звонким голосом:

— Благодарю за отлично выполненное задание!

— Служим Советскому Союзу!

Не успели мы, да и остальные, остыть от боевого и радостного напряжения, как проверяющему стрельбы инспектору захотелось проверить, а не случайно ли был так хорошо сбит пикирующий макет.

— Орудие к бою!

По команде сержанта мы мгновенно проверили готовность орудия, подвинули домкраты, забили клинья, проверили приборы и встали на рабочие места.

— Залет боевой! — повторил команду сержант. — Приготовиться к стрельбе по штурмовику.

Штурмовик появился в восходящих парах, как мираж. В оптическом прицеле мираж стал реальностью, но не совсем. Мы привыкли воспринимать летящий самолет вместе со звуком. А этот надвигался молча. За ним тянулся трос, к которому была привязана сетка, похожая на авоську, — «колбаса».

Подвел перекрестие к передней части «колбасы», повел ее и скомандовал:

— Огонь!

Сзади щелкнул досылатель снаряда, орудие рыгнуло пламенем и подпрыгнуло.

— Цель поймана!

Но разве это цель? Какие-то невообразимые ошметки крутятся на лету. Веду ошметки и команду:

— Огонь!

После второго выстрела приникаю к оптическому прибору, чтобы сделать третий, решающий, выстрел, и не вижу цели. Неужели упустил?!

Чем ближе подлетает самолет, тем быстрее изменяется угол вертикальной наводки. Задыхаясь, вращаю маховик — нет цели! Почему?

Так и знал, что-то произойдет! Что-то не позволило сделать третий выстрел.

Рев турбин пролетевшего самолета накрыл нас таким гулом, что орудие задрожало, а ребята походили с ума. Они бросали вверх пилотки и что-то орали.

Я отвалился на спинку кресла. Взглянул в сторону сержанта и развел руками — мол, не понимаю, почему упустил цель, ведь все делал как надо.

Сержант улыбнулся и указал рукой в сторону, откуда летел штурмовик. Там над равниной кувыркалась разодранная в клочья «колбаса».

— Ты перебил трос! — кричит Коля в мое тугое от выстрелов ухо.

Я посмотрел в сторону самолета. Он летел без «колбасы», голенький.

Орудие дышало порохом и разогретой краской. Его изящный, как бильярдный кий, ствол остывал медленно — наверно, потому, что я его гладил.

С неба, чистого, без паринки, какое бывает сразу же после проливного дождя, нашу радость наблюдало невозмутимое солнце. Оно знало, что за одной радостью следуют другие, но с большим интервалом на подготовку. . .

Скоро наши погоны украсили оранжевые лычки. Мы стали сержантами.

Лагерное лето подходило к концу. Зарумянились березы и осины. Кусты над ручьем покрылись багровыми пятнами. Вода в их тени стала синей и задумчивой. Пора в полк, на зимние квартиры, где нас, младших командиров, ждут молодые солдаты.

На станцию назначения эшелон прибыл рано утром. Мы выгрузили орудие с платформы без прежней суеты. Теперь, после длительного знакомства, оно стало легким и податливым.

Когда, подцепив орудие к тягачу, мы встали в общую колонну, Коля подтолкнул меня к слюдяному окошку, и я увидел Надю, шагающую рядом с замполитом. Так вот на кого она похожа! А я-то мучился.

— Га-га-га! — захохотал Феликс. — Они тебя, Шатурнов, позовут сейчас. Что ни говори, зять прибыл.

Надя и замполит подошли к газику, сели в него, и колонна двинулась. И у меня вдруг возникло такое чувство, что это Надя ведет железную колонну за собой, ведет твердой волей и рукой. Ее целеустремленность настолько велика, что я пропадаю в ней, как раковина в море. А это для любого мужчины не лестно.

Мы с Колей получили по шесть новобранцев. Это наши будущие расчеты. Коля — командир! Трудно представить. Еще труднее представить командиром себя. Мне порой кажется, что я всего лишь жертва эксперимента Осинина. Ему, видите ли, захотелось сделать из меня отличного артиллериста. И сделал — путное из безнадежного. Так ли это, покажет время.

Мы с Колей остановились перед казармой. Во всех окнах горел свет. Он слабо освещал ряды зачехленных орудий с поднятыми стволами.

В казарме салажата. Они не знают, что делать без нас, командиров, собираются в кучки, сидят сложив руки на коленях, тихо переговариваются, строчат и строчат письма домой.

Чувства — новобранцы, а разум — их командир. Я шагаю вдоль рядов коек в угол казармы, где расположился мой рас-

чет. Новобранцы приветствуют меня, вставая с табуреток. Только один не встает и не приветствует. Фомичев. Он выше меня и широк в плечах. Будет заряжающим.

Я останавливаюсь перед Фомичевым и жду. Он сидит и смотрит в мои глаза с иронией. Ребятишки за спиной ждут, чем кончится эта демонстрация... Проглатываю накопившуюся слюну и спокойно приказываю:

— Фомичев, встать!

Уверен, он у меня обретет дар понимания вещей. И зрелость — настоящую, а не записанную в аттестате.

Слова —
как хвороста охалка
у догоревшего костра. . .

РОЖДЕНИЕ СТИХА

А ветер нес издалека,
откуда-то с излуки,
еще неясные пока
и запахи, и звуки.
Сквозила первая листва —
разрозненные звенья,
сквозили первые слова —
предвестники прозренья.
И затаилась чуть дыша
в своем святом наитии
вдруг заробевшая душа,
предчувствуя открытие.

Александр Скоков

ДОДОНОВ

РАССКАЗ

1

Эту привычку я привил себе давно, еще в восьмом классе, когда отец вдруг ушел от нас и я поневоле почувствовал себя взрослым. Сейчас мне двадцать два, я окончил училище, работаю по специальности. Изменился, конечно, капитально, а может, вообще ничего от прежнего во мне не осталось, кроме этой твердой привычки.

Где бы я ни засыпал — у себя в каюте или в гостиничном номере, в чужой постели или где-нибудь в аэропорту на ленте транспортера с шапкой под головой, — несколько минут уходит у меня на размышления, что я хотел сегодня сделать, что успел и что предстоит сделать завтра. В самом деле, разве это жизнь, если обстоятельства без конца играют тобой, ты подчиняешься им, идешь у них на поводу и в конце концов перестаешь распоряжаться собственной жизнью, самим собой? С нашими я не говорю на эту тему. Каждый плывет по своей статье, как говорит наш второй механик.

Сегодня с утра я рассчитывал сорваться в город. На судне делать мне было совершенно нечего, и до вечернего прогноза, то есть до восемнадцати часов, я был свободен.

Я прихватил журнал с утренним прогнозом и пошел на завтрак. В кают-компании сидели двое — старпом и напро-

тив него тучный, хмурый второй механик, мой сосед по столу.

— Сколько? — спросил старпом, делая себе бутерброд.

— Западный, семь-восемь баллов, — сказал я.

Старпом взял журнал и, полуобернувшись, бросил его на телевизор.

На завтрак была кабачковая икра, масло и чай. Старпом и второй механик жевали свои бутерброды с такими постными лицами, лучше не смотреть. Я чувствовал, что уж сегодня они не упустят такой выигрышный случай.

Начал механик. Такой уж стандартный розыгрыш позиций.

— Ту же камбалу, — пробурчал он, — сушняком подать или с каким мазутиком...

Камбала была у нас вчера на ужин. Насчет кабачковой икры он, наверно, прошелся, как только сел за стол.

Додоновская белобрсыая физиономия тут же моментально высунулась из камбуза. Как же, разве он промолчит!

— Правильно, Коля, совершенно правильно, — весело подхватил он. — Соусы — громадное дело. Однажды в «Приморском» я выдал такой соусец...

Механик смотрел в свой стакан. Лицо у него было апостольское.

— Про соусы я молчу. Тут хотя бы самую простенькую подливку.

Додонов рассмеялся.

— А простенькую — что, из забортной воды? В провизионке томатной пасты ни грамма. Борщ нечем закрасить. Спроси вон у Виктора Иваныча, спроси...

Старпом поморщился:

— А, брось... Все у тебя не слава богу. Сказал бы честно: да, ребята, работаю не прикладая рук. Задушил ведь толпу гуляшами!

Додонов скрылся на миг — там у него под краном стояла кастрюля, — кран перекрыл, кастрюлю перебросил на плиту и снова возник в дверях.

— А как вы думаете — мне самому не надоел этот гнусный гуляш? Вот так! Но при всем моем мастерстве, — Виктор Иваныч, вы же знаете, я три года стоял в «Приморском» на вторых блюдах — котлета «арктическая», шашлык по-карски! — при всем моем мастерстве, чтобы подать вам лан-

жет или тот же ромштекс под сложным гарниром, надо как минимум филейную вырезку, картофель.

— Тебе что, двух мешков мало? — как-то уж очень спокойно спросил старпом.

— Гнилая ведь, Виктор Иванович.

— Что? Пес ты наглый! — взорвался старпом. — Вот этими руками отбирал — картошечку к картошечке...

— Картошечка к картошечке, а внутри вся черная.

— Компот пьешь — на зубах песок, — заметил второй механик, присаливая свой бутерброд.

— А кто ее покупал, эту сабзу с мусором? — Кок посмотрел на меня, посмотрел на второго, затем перевел взгляд на старпома, поясняя глазами, кто ее покупал, эту сабзу с мусором.

— Вчера полпервого сели обедать, — еще капнул механик.

— Полпервого, — саркастически повторил старпом. — Спросите лучше, когда он вообще вчера заявился на судно. Без четверти девять! Вахтенный утром и чай грел, и консервы открывал.

— При чем здесь когда заявился? На нормальной плите два часа — и готов обед. Стармеху и мотористам долдонил сто раз: сделайте что-нибудь с плитой, мучаюсь ведь. Разве это форсунка? Вы же видите — чтобы к двенадцати приготовить обед, с шести утра конодыбюсь, весь в саже, как черт!

Старпом с ядовитой улыбочкой смотрел на него, смотрел и вдруг хлопнул ладонью:

— Лады! Вот такой вариант: форсунку на камбузе тебе сменят, продукты все под рукой. Приличный обед сготовишь?

— Вполне! — весело отрезал Додонов. — Дайте мне только немного грибков, томатной пасты, майонезу...

Я встал из-за стола и пошел к себе в каюту одеваться. По официальной версии, я ехал в город по делу, в навигационную камеру. Мне действительно нужно было выписать там комплект кристаллов для локатора. Это займет час. В одиннадцать откроется читальный зал, и я нырну туда часов до двух. Пообедаю в «Приморском», потом схожу на какой-нибудь новый фильм. За всю навигацию я только пару раз и бывал в кино. Так совсем одичаешь. А в семнадцать позвоню на радиоцентр. Если штормовое не снимут — снова в читальный или в бильярдную. Попозже я хотел заглянуть к одному пареньку. Он давно приглашал меня послушать но-

вые записи группы «Кемл», «Снежный гусь» и еще что-то в этом роде.

— Сережа! — позвал меня старпом, когда я, поскрипывая ботинками, проходил по коридору мимо его каюты.

Я зашел к нему.

— Вот десятка, — сказал он, протягивая мне бумажку, — зайди с кандеем на рынок. Потом уж иди по своим делам.

Я взял деньги.

— На руки ему ни рубля.

— Ясно, — сказал я.

Додонов объяснил вахтенному матросу, как тушить мясо — первое у него было почти готово, — и мы пошли.

Наш буксирчик был ошвартован возле угольного причала. Впереди валетом стояли под разгрузкой два теплохода. Тяжелый ковш с высоты ухал в трюм. Кран крутился как заводной между причалом и судном.

Додонов вышагивал в расстегнутом плаще, размахивая клетчатой хозяйственной сумкой. Ветер наскакивал и рвал полы его заношенной болоньи.

— Пусть, пусть! — с вызовом кричал он, имея в виду старпома и второго механика. — Я им завтра выдам! На первое суп-рагу. По болгарскому рецепту. На второе рулеты. На десерт мусс...

Повар он действительно классный, что говорить. И по первым блюдам, и по мясу, и по выпечным изделиям; только все что-то ему мешает, чего-то ему не хватает, и он попеременно выдает нам то гуляш, то рагу, то макароны по-флотски. Потом вдруг — бенц! — выдаст какие-нибудь брезоли. Вот поэтому наши и ворчат — дескать, работаешь не прикладая рук. А вообще-то, я думаю, мнение о человеке обычно зависит от того, как сам себя поставишь. Тот же второй механик. Спец он слабый, курсовик, но держится с апломбом, кое-что делает по общественной линии — и никто ему ни слова...

Мы пересекли колею. Наверху под кабиной крана звякнул звоночек. Мы глянули вверх. Переднее стекло было приподнято, оттуда нам ухмылялась веселая круглая физиономия.

— Здоров, мореход! — крикнул крановщик. — Где же твой корвет?

Додонов моментально изобразил на лице высшую почтительность:

— О, почет орденосцу, почет! — Он подкрепил слова

жестом — приложил руку к груди и сделал что-то вроде полупоклона.

Крановщик захохотал:

— Пронюхал?

— Как же, Степа, журналы читаем, газетки... И портрет ваш видали. Порадовались. Хоть ты у нас вознесся, а мы все внизу да внизу. Никак не сподобимся. Мне бы хоть какую-нибудь грамотку...

— А чего ж так?

— Работа у меня, Степ, хитрая. Ну никаких следов. Никаких! Компот выпили, тарелки в раковину, и начинай поновой. Да еще бочку катят, все им не так. Вот на рынок бегу с казначеем. Нет мне доверия.

— Да, внешность у тебя ушлая. В пятьдесят лет мужик должен быть о-го-го! — Крановщик откинул голову, приосанился, как будто через секунду его должны были снова щелкнуть для журнала.

От ворот порта бежали мы на пределе. Автобус как будто специально нас поджидал, а потом вдруг и покатился.

— Але! — гаркнул Додонов. Его черный болоньевый хвост захлопал, как парус. Я приотстал. Задняя дверь автобуса была открыта, но в ней плотно стояли ребята. Додонов каким-то образом закрепился носком на ступеньке и грудью прижался к тем ребятам, как самый близкий им родственник.

Одна створка лязгнула, распрямилась, вторая тоже пошла.

— ...Портовой... — долетел до меня додоновский неунывающий голос. Значит, будет он ждать у себя дома, на Портовой. Я так понял его.

2

У Додонова я был всего один раз, к тому же приехали и уехали мы тогда на такси, но так, визуально, я себе представлял, где его дом, если идти от «Планеты». В «Планете» показывали «Дам и господ». Я взял билет на 15 часов, вышел, осмотрелся и пошел через серый массив панельных пятиэтажек с плоскими крышами. Я проскочил через этот правильный, как шахматная доска, микрорайончик. Едва ли я вообще нашел бы этот дом, если бы не повстречался додоновский малый. Он был с оравой таких же мальцов. Узнал я его по шапочке. Синяя лыжная шапочка с белым бубен-

чиком. В этой самой шапочке однажды он шастал по судну. В радиорубку ко мне тоже заглянул. Додонов на камбузе тогда блины жарил, а он пользовался случаем, лазал по надстройке.

— Андрей! — крикнул я.

Он оглянулся. Мальцы тоже. Наверно, он не узнал меня. Я подошел к нему. На шпагате у него крутился щенок, неуклюжий, толстый.

— Твой? — спросил я.

Малый смутился, насупился. А один его кореш, посмелее, закричал:

— Дяденька, это не Андрей. Это Герасим. А это Муму. Она укусила за палец барыню.

— И не барыню, — засопел малый, — а Тургенева. Понял? Мне папа так читал.

Он взял щенка на руки. Тот заскулил, дернулся. Также ведь что-то хотел этим выразить.

— Отец дома? — спросил я.

— Дома.

Я взбежал на третий этаж, позвонил. На филенке навечно ножом было вырезано: «Проба пера». Тут дверью не ошибешься, сразу видно, что в квартире есть пацаны.

За дверью какая-то жестянка упала, рассыпались гвозди. Открыл Додонов. В прихожей стояла стремянка, а вокруг нее на полу был разбросан плотничий инструмент.

— Разруха кругом, — пожаловался он, стаскивая с меня куртку. — Третий день не могу кончить антресоль. Разве это работа — две доски прибил и беги на судно. Вчера полдевятого пришел, видел, какой кипеж подняли. — Он втолкнул меня в комнату. — Что, долго автобуса не было?

— В навигационную камеру заходил.

— Посиди, — бросил он, выбегая. — Сейчас супца тебе налью.

Он не дал мне рта раскрыть. Появилась хлебница, прибор, потом кастрюльки и сковородка. Додонов выскочил в прихожую, собрал инструмент, сложил стремянку, влетел в комнату и заметался с наволочкой из угла в угол, выхватывая какие-то шторы, простыни, рассматривая метки и запихивая все в наволочку.

— Зин! — крикнул он. — Скатерти в прачечную или в химчистку?

Голос из ванной распорядился:

— В стирку. — Там опять заурчала стиральная машина. Додонов стал набивать вторую наволочку.

— Завал, — кудахтал он, — полный завал! А что она может одна? Обстирай, накорми, заштопай. Слуга своей семьи. Сегодня взяла отгул за праздники и вот с утра колбасится. И этим обалдуям надо же уделить какое-то внимание. Самый рост, характер прорезается. А сколько дней в году я дома бываю? То-то. Андрей еще пацан, ладно, распевает: «Первый класс купил колбас». Или прочитал я ему «Муму», он и раскручивает фантазию, на неделю теперь хватит. А вот Валерка отмочил — да! Представляешь, восьмой класс с одной четверкой закончил, а тут только пошел учебный год — второй дневник у него. Хватанул единицу по алгебре. Какая алгебра! Вчера иду с ним из ателье — уже в ателье ему шьем, — говорит: «Пап, я знаю, какие мужчины нравятся девчонкам». — «Какие же?» — «Атлетического сложения, с римским профилем и светлыми глазами». — «Прочитал где-нибудь?» — «Нет, Оля сказала». Глянул я на него сбоку — прямо до ушей краской залился. Ну что ж, и на том спасибо, хоть чем-то делится с отцом. Вон у старпома отпрыск — вообще дикарь, близко к душе не подпускает.

Додонов выскочил на кухню. Там загремело стекло — бутылки, наверно.

— Ну, подкрепился? — Додонов вбежал в комнату и схватил свои узлы. — Порядок. Сейчас по ходу два дела с тобой провернем. А потом уж на рынок. Я побегу в прачечную, а ты сдавай посуду. Проклятье! Куда ни ткнишь, везде бутылки, как будто только и делаем, что пьем. Вот, целый рюкзак. Подымешь?

Я поднял одной рукой.

— Ну-ну, не усердствуй. Руку сорвешь... Зин, — крикнул он, — мы двинули! А там уж по обстоятельствам: если шторное снимут — значит, уйдем...

Мы сбежали вниз. Мальцы толпились возле подъезда. Додонов зорко посмотрел на своего.

— А чего ботинок расшнурован?

— Шнурок порвался.

Додонов хлопнул себя по виску:

— С ума сойти! Прямо горит все на них!

Мы перешли через дорогу и по той стороне дошли до перекрестка. Додонов с узлами в прачечную побежал, а я свернул в подворотню. Из подворотни был вход в приемный

пункт. Очередь стояла на ступеньках. Небольшая очередь, человек пять. Я занял за молодым мужиком с пацанчиком, а еще ниже стоял дедок в зеленой не по сезону шляпенке. Пацанчик был дошкольник, головастый такой, как додоновский.

— Пап, я могу звонить по телефону, — похвастался он.

— Серьезно? — нудновато откликнулся мужик. — Это прогресс.

Дедок тут же обернулся, встретился взглядом со мной и мигнул. «Ты слушай, слушай» — так я понял его.

— Прогресс? — не унимался пацанчик.

— Ну. Раньше ведь ты не умел.

— Эй! — крикнул парень из-за прилавка. — Следующий.

Дедок поспешно выставил свою тару, в основном из-под «Эссентуков» и «Тальской». Парень быстро работал — дзинь-дзинь, бутылки сами выстроились в прямоугольник, и растопыренные ловкие пальцы забегали по стеклу.

— Рубль восемьдесят, — сказал парень.

Дедок коварно улыбнулся:

— А не семьдесят две?

Парень раз-раз прикинул на счетах.

— О, — изумился он, — точно!

— Еще бы! — хихикнул дедок. — Не всю жизнь, надо думать, таскаюсь с бутылками по подвалам. Тридцать лет сидел на самостоятельном балансе. Десять в промторге и двадцать в морском порту.

Додоновскую тару я сдал всю, кроме одной бутылки. Эту одну из-под финской водки я подарил приемщику. Он обмахнул ее полой халата и выставил себе на полочку. Там у него целая коллекция собралась — хобби, значит, такое у него.

Я выбрался из подвала и сразу увидел Додонова. Он стоял недалеко от подворотни с тем самым дедком — и так уж они восклицали, такой восторг был у них на лицах!

— Ага, вот он, мой казначей, — Додонов развел руки, как бы подталкивая меня к дедку.

— Пахомыч, — дедок долго-долго не выпускал мою руку из своей, все всматривался в меня и все улыбался. — Эх, кабы мне вечером лечь да утречком встать молодым! Эх, раскрутил бы...

— Тебе куда сейчас? — спросил Додонов Пахомыча. — Нам на рынок надо забежать.

— Прекрасно! Я тоже с вами. Семечек куплю своим кенарям.

— Каким кенарям? — опешил Додонов.

— О, Лень, теперь у меня хозяйство. Кенарей держу. Сдаю в «Природу».

— Партиями? — уточнил Додонов.

— Не, Лень, на полном серьезе. Вот вчера Гришу сдал, в двенадцать рублей оценили. Такой тариф: обучен, поет — не меньше десятки.

— И не моргнет, и не моргнет! — закричал в восторге Додонов.

Лицо у Пахомыча стало смиренное.

— Пойдем, убедишься, — кратко сказал он. — Только условие. С тебя полбанки. Можешь сразу покупать.

— Пойдем, пойдем! — воспламенился Додонов. — Только полбанки, чувствую, выставишь ты. — Он повернулся ко мне: — Сереж, зайдем? Пятнадцать минут, тут рядом.

Веселая идея вдруг возникла у меня. Могу же я потерять один свой денек, подумал я, прожив его с Додоновым рядом от и до, чтобы посмотреть хоть раз, чем же в конце концов кончаются эти комедии?

— Зайдем, — весело согласился я.

3

Пахомыч действительно не сочинял. Он держал кенарей. Клетки с птичками мы увидели еще с улицы. Взрослые кенари заливались один чище другого, и даже ученик их что-то там невразумительное цвиркнул.

Посидели мы у Пахомыча с полчаса, Додонов рассказал ему портовские новости, и пошли на рынок. По пути зашли в обувной — Додонов вспомнил про Андреевы шнурки.

В кассе он выбил чек и пошел с ним в отдел. Напротив кассы в салоне самообслуживания толпился вокруг примерочного кресла какой-то приезжий коллектив. Ребята все плечистые, в болоньевых куртках одного завоза.

— Мишут! — наседали они на беднягу в примерочном кресле. — Бери. Туфлятки шедевр. Вот, английскими буквами выбито: «Мэйд ин Кимры»!

— Да я же сорок первый ношу, Петрович. А тут сорок третий пробит, ты соображаешь?

— Ерунда! На шерстяной носок будет в самый раз, а то

и портянки подмотаешь. Бери, Мишут, бери, на приске пижоны так и ахнут!

Додонов вдруг присмотрелся.

— Ван момент! — бросил он нам. — Кажется, Грызлов Мишута выступает. Он, клянусь!

— Гражданин, а шнурки? — крикнула ему вслед продавщица. Пахомыч взял у нее пакетик.

Додонов уже поднырнул под бархатный канат и боком впился в стальную стену. Стена расступилась.

— Миш! — взвизгнул Додонов. — Бес комолый!

Парень в примерочном кресле обернулся, сделал попытку вскочить, но те, в курточках, не зевали, мигом, как втулку, снова впрессовали его в кресло.

— Будешь брать или нет? — свирепо гаркнул один. — Полчаса морочишь нам голову.

Мишута махнул рукой:

— А, ерунда, главное — прочные подметки... Девушка, стоп-стоп, пожалуйста, старые в коробочку. В новых пойду. Надо же и мне поблестеть в областном центре, как считаете?

Его наконец выпустили, он вскочил, обхватил Додонова ручищами и даже попытался его приподнять.

— Мужики! — Он скользнул по лицам ребят восторженным взглядом. — Это же Леня Додонов. Я с ним еще на «Мерлузе» ходил. Как бесподобный. А человек, а человек...

Коллектив шумно повалил через зал на выход.

— Але! — позвал нас с Пахомычем Додонов. Мы присоединились.

На улице коллектив раскололся. Дружки Мишуты двинули на почтамт заказывать переговоры с материком, Мишута обхватил за плечи меня и Додонова, и Пахомыча тоже захватил, и потащил нас к себе в гостиницу.

Мы прошли через мокрый гудящий сквер, вышли на центральный проспект и пошли по нему, по бетонным шестигранным плитам.

— Помнишь, с «Мерлузы» по какой статье списал меня Клус? — Мишута поддел бетонную плиту лаковым носком, он не под ноги себе смотрел, а на сияющую додоновскую физиономию. — Помнишь? Он думал, что я все вниз да вниз и вообще не выйду из штопора. Ну, не чума? А я, представь, через тот поворот взглянул на себя новым глазом. Поехал на присек, закончил курсы бульдозеристов и вот повел новый

отсчет. Второй сезон карточка на доске. Командировали на слет как рационализатора.

— А как в личном плане? — поинтересовался Додонов. Мишута нахмурился.

— Развелся я с ней, Лень. Через полгода. Ты был прав.

— Еще бы! Я да не разгляжу такую бестию. . . Помнишь, в «Приморском» наш разговор? Что я тебе говорил? Только тогда все это шло не в твои уши. — Другим голосом, спокойнее, он спросил: — А Валентина замуж не вышла? Лисицына Валентина?

— Вроде бы нет.

— И у тебя нет переписки с ней? Нет, посмотрите на него, посмотрите! — снова закричал Додонов. — Женщина ждет его пятый год. . .

— Лень, ты так говоришь. . .

— Пятый год его ждет, он кругом виноват и еще хочет, чтобы она сделала первый шаг!

В номере Мишуты было свежо, но Додонов подошел к окну и дернул за шнур, привязанный к фрамуге. Посвистывал ветер, ревели внизу грузовики. Додонов взял со стола бутылку пива, ловко скovyрнул ножом жестянку и налил себе и Пахомычу. В номере было только два стакана. Додонов выпил и налил Мишуте. Тот покачал головой. Он стоял возле тумбочки с телефоном и глядел в окно. Вид у него был отключенный.

Додонов подскочил к нему и сам снял трубку.

— Ван момент, — сказал он, — какой номер?

Мишута сел на койку. Додонов стал набирать.

— Але, бухгалтерия? — кокетливо спросил он. — Доброе утро. Что? Ах, простите. Совсем ты, Додонов, затрепался. . . Нет-нет, ради бога, это я себе «ты» сказал. В общем, пригласите к аппарату Лисицыну Валентину. Будьте добры. Это из СМУ-46, по срочному вопросу.

Додонов взглянул на меня. Его мучила жажда. Он открыл рот и для притока воздуха помахал туда рукой. Я подал ему Мишутин стакан. Он глотнул.

— Але, Валенька! Здравствуй, родная. Да нет, какое там СМУ. Это товарищ Миши Грызлова. Помнишь, мы как-то заходили к тебе с грейпфрутами? Ты в бигудях была. . . Во-во! Да, он рядом. . . — Мишута мгновенно вскочил и ребром ладони угостил Додонова по шее. Тот вжал голову и хихикнул. — Здесь, здесь. На слет приехал. Вот, вырывает у меня трубку. . . Валенька, так как мы договоримся? В семь устроит тебя?

Прекрасно, жди нас в семь. Коллективчик в размере четырех мужиков. Все, все, передаю ему трубку. . .

Додонов решил так: на рынок он пойдет с Мишутой. Закупит все, что нужно для команды, и еще кое-что — не идти же в гости с пустыми руками. А мы с Пахомычем должны раздобыть приличный букет.

Отправились мы с Пахомычем в цветочный.

4

— Говорю ей — в гости идем, к женщине, а она мне герань предлагает. Что я, совсем балда, не понимаю что к чему? На новоселье — другое дело. . .

— На Энергетиков есть еще цветочный, — вспомнил я.

Пахомыч горестно отмахнулся:

— Одна контора. . . Давай-ка съездим по одному адреску. Но если и там нет — просто ума не приложу. . .

Навстречу нам ехал свободный таксомотор. Мы перемахнули через низкую оградку, выскочили на проезжую часть, помахали.

Шофер врубил счетчик. Замелькали киоски, краны за щитовыми заборами, потом все дома, дома. Пошел частный сектор.

— Вчера я с одним чудачком тоже за цветами гонял, — сказал шофер. — На Олу мотались, в теплицу. И там глухо. . . Сидеть! — вдруг цыкнул он и поглядел себе под ноги. — Сидеть! — прикрикнул он еще строже, но черная лохматая собачонка уже восседала рядом с ним и с любопытством крутила головой. Таксист попытался пригнуть ее, чтобы она легла на сиденье, но собачонка упрямо вывернула голову из-под его руки.

— Славная собачка, — Пахомыч перегнулся и умильно потрепал собачонку за ухо.

— Славная, — передразнил таксист. — Навязалась мне на горе. И ведь не выставишь за порог.

— А что? — Пахомыч озабоченно заглянул таксисту в лицо.

— Теща умерла, пацана пришлось отдать в садик. А ей, видишь, не сидится дома одной, компания ей нужна, такая она компанейская. . .

Собачонка посматривала по сторонам, блестела глазками и держалась независимо, будто речь шла вовсе не о ней.

— Попробовали для эксперимента оставить ее одну в квартире — такой выдала концерт, соседей чуть не хватил кондратий. Пенсионеры. А она, видишь ли, воеет, угнетает их дух, мысли о смерти навеивает.

Пахомыч беззвучно залился смехом, покраснел, как будто ему пятки шекотали. Потом он высморкался, отдышался.

— Отдай ее мне, — попросил он. — Поверишь, дом не дом без собачки.

Таксист покосился на него.

— Бери, если без. . .

— Без, без, — испуганно заверил Пахомыч. — Что я, змей? Животных я люблю. . . Ты заезжай ко мне. — Он сказал адрес, и таксист кивнул. Запомнил.

Прокатились мы зря. Тот частник с цветами покончил, на овощи перешел. Стояли мы возле его двора. Пахомыч поглаживал собачонку, соображал.

Таксист повернулся к нам.

— Есть еще один вариант, — сказал он. — В аэропорту в перевозках у меня дама есть. . . так, знакомая. Не гарантирую, но шанс есть. Бортпроводницы частенько с цветами прилетают. Если сейчас поедем — как раз к московскому борту и подрулим.

Машина у него была новая, никакого стука и тарактения, а когда из города выскользнули в лощину, он выжал все сто. Протекторы у него были в порядке, быстро в аэропорт доехали.

5

В маленькой прихожей стоял гвалт. Голова у меня раскалывалась, я никак не мог найти свой шарф, под ногами шныряла Муха, кто-то из Мишутиных дружков затянул «Ах, перекаты, ах, перекаты. . .». Потом я увидел свой шарф на Пахомыче, одной рукой он держал хозяйку за кофту, а другой махал у нее перед носом.

— Два раза я выводил ему отрицательный баланс! Валенька, молчу! Ты — бухгалтер и прекрасно меня понимаешь. Он меня на ковер. . .

— Ты дашь ей одеться? — Додонов, применяя физическую силу, оторвал Пахомыча от Лисицыной Валентины. Хозяйка наконец надела пальто.

Шурша куртками и плащами, мы все высыпали на лестничную площадку и ухнули вниз, как гравий из кузова самосвала.

Лисицына Валентина, Мишута, его приисковые дружки, несмотря на ночь, готовы были идти с нами хоть до порта, но возле стройплощадки Додонов их придержал.

— Мужички! — кричал Мишута. — Мужички! Не на почве газа, клянусь, нет. . . Столько у меня тут к вам благодарности и добра. . . — Он жажнул себя ладонью по куртке, слева.

Додонов тронул его за плечо.

— Миш, о чем речь! . .

— Муха, Муха. . . — запричитал вдруг Пахомыч и потрусил за собачонкой, нырнувшей на территорию стройки.

Додонов подтолкнул меня.

— Лови, чего смотришь. . .

Я побежал. Да разве словишь такую шустрянку? В жуткой темноте шарахался я между штабелями панелей по кучам гравия, трубам, кирпичам, споткнулся, плащ разодрал — тут везде торчали арматурные прутья, — а когда выбрался обратно на дорогу, Пахомыч был уже среди народа и шkodливая собачонка вертелась возле него.

— А, вот я с кем еще не простился! — Мишута с ходу облобызал меня в скулу, потом повернулся к Додонову и взял его в такой жестокий захват, что тот заорал:

— Ой, шею ломаешь!

Он даже сумку свою уронил. Я поднял ее. Не было в ней ни майонеза, ни грибков, сумка была пустая.

Лисицына Валентина тоже пожалала мне руку. Вообще-то она в этот вечер говорила мало. Человек с характером. Такие ждут и пять лет, и больше. . .

Кран того орденосца все еще выгребал из трюмов уголек, только крановщик, понятно, был другой. Вокруг было светло, как днем, свет лился сверху, с высоких металлических опор, разбросанных по всему грузовому району. Додоновская рука лежала у меня на плечах. Он рассуждал о том, что значит человеческая старость и одиночество. Не кенарей же в самом деле он пошел смотреть! Просто увидел по глазам Пахомыча, как хочется тому залучить его, потолковать, излить душу — в общем, хоть на час почувствовать рядом с собой живого человека. . .

Наш буксир был уже рядом, все палубное освещение, как на заказ, было включено. Я прикинул, как бы незаметнее про-

скользнуть к себе в каюту, чтобы не нарваться на старпома или кепы.

Старпом поджидал нас в коридоре. Наверное, он специально крутился на ходовом мостике и сверху видел, как мы с Додоновым враскачку брели по пирсу. Он подозрительно посмотрел на меня.

— Тебя что, львы драли?

Додонову он ничего не сказал, с ним разговор будет завтра.

В каюте я бросил плащ на кресло, разделся, ополоснул лицо и повалился на койку, не имея сил поискать в столе сигареты.

Внизу в салоне возмущенно разглагольствовал старпом — похоже, он не дождался утра и распекал Додонова по горячему следу.

Потом внизу стихло, к моей двери кто-то подошел.

— Не спишь?

Додонов постоял, пока его глаза привыкли к темноте, подошел к креслу, вздохнул, сел и закурил.

Минуты через три он стал всхрапывать. Он потянулся ткнуть папиросу в пепельницу и так, скособочившись, вмиг заснул. Меня тоже вдруг повело в сон, я расслабился и полетел в глубину, как якорная цепь летит за якорем.

Ирина Дружинина

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧУДО

В детстве мне изрядно портили настроение мамины возгласы:

— Не понимаю, в кого она уродилась такая некрасивая!

— Может, потом все утрясется, — успокаивал ее отец и хватался за спасительную газету.

— Если случится чудо! — с сомнением отвечала мама.

И каждое утро, зажмурив глаза и затаив дыхание, я со скакивала с кровати и босиком неслась к зеркалу. Я с надеждой распахивала глаза, ожидая чуда. Но чуда не получалось. На меня по-прежнему глядело что-то худющее с огромным ртом и растерянным взглядом. Я грустно плелась обратно.

Шли годы. Я стала студенткой, но, как прежде, ждала чуда.

Все началось в библиотеке. Сначала с конспектами лекций устроилась у окна я. Потом с кипой книг подошел он. Мои лекции его заинтересовали.

— Выручишь? — с надеждой спросил он.

— Конечно! — охотно пообещала я.

Домой мы шли вместе. С тех пор мы часто были вместе. Он не был красив, не был талантлив, не был даже трудолюбив — теперь он пользовался только моими записями лекций. Зато у него была такая улыбка, на которую просто невозможно

было не ответить. И мне так хотелось ему нравиться. Я даже не меняла прическу и синее платье, в котором я была, когда мы познакомились, чтобы не разонравиться ему в другом виде. Он считал меня верным товарищем и не скупился на эпитеты — называл умницей, лобастой, головастой, интеллектуальной женщиной, даже мыслящей субстанцией. . .

Как-то мы забрели с Сергеем на концерт зарубежных актеров.

Я была все в том же синем платье, с той же прической. А вокруг порхали «нейлоновые» и «кримпленовые» девушки, лихо поводили плечами парадные мужчины. Но вот шум стал затихать, мигнул и растаял верхний свет, и тут же сцену осветили слепящие лучи прожекторов. Из-за кулис вылетело что-то легкое, быстрое, слегка завернутое в кусок яркой материи. Тонкие руки впились в микрофон, блестящий глаз подмигнул нам, а низкий, чуть хрипловатый голос все ширился, набирал силу и вдруг обрушился на зал всей мощью и яростью молодости.

Зал замер, затих. Погасли легкие шумы в углах. Я посмотрела на Сережу. Он не отрывал глаз от эстрады. Я выдернула локоть из его руки. Он даже не заметил. Мне почему-то стало скучно и неинтересно, и я вдруг увидела, какие белесые швы на моем платье.

— Ничего особенного в певиче нет, — попыталась я охладить его пыл.

Шум аплодисментов заглушил мои слова.

Всю дорогу домой Сережа говорил восклицательными знаками.

— Красивая она! — восторженно выдохнул он у самой моей двери.

Я поскорее захлопнула дверь.

А потом, как в детстве, одним прыжком подскочила к зеркалу и затаила дыхание. На меня глядело слишком бледное лицо. Я увидела слишком старое и немодное платье. Я провела ладонью по затылку — слишком короткий ежик защекол ладонь. Я безнадежно вздохнула, представив очаровательную копну волос певички и восхищенный взгляд Сережи. И тогда я распахнула дверцы шкафа. . . Теперь я твердо знала, что мне делать.

И я сделала все возможное перед встречей с Сергеем у привычных угловых часов. Когда я пробежала мимо отца, он удивленно поднял брови.

— Я же говорил, все утрясется! — довольно сказал он маме.

— Чудо! — изумленно прошептала она мне вслед.

Увидев меня издали, Сережа замахал рукой и улыбнулся своей самой широкой улыбкой. Когда он подошел ближе, то вдруг замедлил шаги и перестал улыбаться. Взгляд его растерянно прыгал с моей тщательно уложенной прически на яркое, натянутое, как перчатка, платье. Я напряженно переступала на непривычных каблуках, словно гарцевала на арене. Наконец он остановился в двух шагах от меня, не решаясь подойти ближе.

— Какая ты... — замороженно сказал он и не закончил фразу.

Но я и так все поняла. Для этого не обязательно быть мыслящей субстанцией. Сердце мое ликующе ринулось вверх, щеки и шея вспыхнули, будто меня опалило горячее солнце. Я сама шагнула ему навстречу, я сама взяла его под руку, я улыбнулась, заглядывая ему в лицо...

— Пойдем в кино! — теребила я его за рукав.

Он кивнул, не отрывая от меня восторженного взгляда.

Я ликовала. Наконец-то совершилось чудо!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Когда он увидел ее, сердце его мучительно сжалось. Ему всегда нравились рыжие, с крапинками веснушек на носу. Это выглядит так мило! Правда, у него была своя точка зрения на женщин. Он считал, что ни одной из них нельзя верить. И все-таки он сделал осторожный шаг к знакомству.

— Простите, — почтительно наклонился он к ней. — Я художник. У вас лицо, как у мадонны Боттичелли. Вы не могли бы мне позировать?

Она секунду помедлила с ответом. У нее тоже была своя точка зрения на мужчин. Она считала, что все мужчины — бессовестные лгуны!

«Меня не проведешь!» — подумала она, но вслух сказала:

— К сожалению, я сейчас очень занята — готовлю диссертацию.

«Ври, да не завирайся!» — мысленно усмехнулся он. — Не

диссертацию ты готовишь, а обеды для своей бабушки!» Однако вслух с жаром возразил:

— Значит, не судьба!

Они с сожалением вздохнули, еще раз посмотрели друг на друга и решительно разошлись в разные стороны.

Через час он зашел в овощной магазин и увидел ее за прилавком. Взглянув на него, она ярко вспыхнула и радостно улыбнулась. Но он сделал вид, что не узнал ее.

«Я так и знал, что она все врёт!» — удовлетворенно подумал он и вышел из магазина, громко хлопнув дверью.

Потом он позвонил приятелю и рассказал, что встретил прелестную натурщицу, но, к сожалению, такую лгунью, что о встрече не может быть и речи!

А в магазине продавщицы ломали головы, чем вызвано дурное настроение их молодой заведующей.

— Наверное, с диссертацией нелады? — предположила одна из них.

— Нет, с диссертацией у нее все в порядке, — возразила другая.

— Тогда, видно, просто не с той ноги встала! — единодушно решили все.

Игорь Безбородов

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

СКАЖИ-КА, ДЯДЯ. . .

Какой пример для подражания
Мы выберем, какой размер?
Тому назад еще мгновение
Жизнь вызывала отвращенье,
Прельщала смерть одна.
И вдруг — как выход из неволи —
Освобождение от боли:
То ли цветы такне, то ли
Размер «Бородина»?

Александр Кушнер

«Где взять размер? Скажи-ка, дядя!» —
«Пиши, сынок, на старших глядя:
Богатыри — не вы.
Любого выбери поэта:
К примеру, Пушкина иль Фета,
Возьми у них. Надежней это,
Чем так, из головы».

Тут, совершенно сбитый с толку,
Я бросил долгий взгляд на полку
И ближе подошел.

Средь переплетов молчаливых,
Где тихо классики пылились,
Я взором жадным и пытливым
«Бородино» нашел.

Тому назад еще мгновенье
Жизнь вызывала отвращенье,
Но я не унывал.
И вот, как выход из неволи,
Пришел размер, родной до боли.
Знать, я литературу в школе
Не зря преподавал!

СТИХОНЕРЕСТ

Я словно рыба, что идет на нерест.
Знать не хочу, где небо, где земля.
Один мне путь, и русло мне одно:
Вверх по теченью, к самому истоку.
С размаху там ударившись о дно,
Стихи исторгну.

Вадим Халупович

С недавних пор утратил я покой.
Со мною нечто странное творится:
Огруз стихами, как лосось икрой,
И не могу никак освободиться.

Я, словно рыба, стал к воде влеком;
И вот, инстинкту полностью доверюсь,
С каким-то шедшим мимо косяком
Вверх по теченью двинулся на нерест.

Один мне путь, и русло мне одно,
И я упорно воду бил ногами,
Чтоб у истока, трахнувшись о дно,
Вдруг разрешиться мудрыми стихами.

Вячеслав Кузнецов

«О, КАК МНЕ ПЕРЕДАТЬ СВОЙ СВЕТ...»

Родина Евгения Шлионского — Ленинград, но встретить молодого поэта в родном городе не так-то просто. Он то в Якутии, то в Казахстане, то на Сахалине, а то и вовсе где-нибудь в Тихом океане мотается на сейнере... Но такое «непостоянство» объясняется верностью молодого человека однажды выбранной профессии — профессии исследователя социально-экономических проблем. Евгений Шлионский — научный сотрудник, член советской Социологической ассоциации. И вместе с тем, как уже сказано, он поэт, автор первой книги стихов «Тайфун».¹

Должен сразу же заметить, что Евгений Шлионский не исключение. В Союзе советских писателей подавляющее большинство его членов имеют, так сказать, первую профессию. Это и инженеры, и геологи, и врачи, и исследователи... Многие до седых волос не расстаются с этой первой своей профессией и глубоко благодарны ей, потому что именно она, давая

¹ Евгений Шлионский. Тайфун. Стихи. Л., «Советский писатель», 1976.

хорошую жизненную «привязку», питает живительными соками их творчество. Из ленинградских поэтов, сочетающих призвание к поэзии с верностью однажды избранной профессии, я бы назвал Леонида Агеева, Семена Ботвинника, Льва Гаврилова, Анатолия Краснова, Олега Тарутина и Олега Цакунва.

К этой славной когорте можно теперь причислить и нашего нового коллегу по поэтическому перу Евгения Шлионского. Он молод, но уже и первая его книга свидетельствует о немалых поэтических возможностях. Попробую это показать.

Многочисленные поездки по стране, вызванные профессиональной необходимостью, не остаются втуне и для поэтического развития автора «Тайфуна». И не случайно «музой дальних странствий», навеяны самые яркие строки в этой книге.

Когда мороз под пятьдесят,
И в воздухе туман,
И птицы в небо не летят,
И стонет океан,
Тогда один лишь человек
Идет через тайгу.
Он ночевать ложится в снег
И греется в снегу.

(«Теплый снег»)

Таких стихов не придумаешь, если сам не поночуешь вдоволь в этом самом «теплом снегу».

За каждой строкой — пережитое, за каждой строфой — что-то от главного в жизни, от судьбы. Это, на мой взгляд, и есть принцип настоящей поэзии. Этому принципу Евгений Шлионский привержен глубоко и подлинно. Это многое обещает.

И не просто «отражать жизнь», трансформировать пережитое в стихи, а извлекать из всего осмысленного луч, способный нести свет сердцам, которые нуждаются в свете.

И Е. Шлионский это понимает. Вот его строки:

О, как мне передать свой свет
И не погаснуть зря,
Чтоб видели с других планет,
Что светится Земля!

(«У каждого своя звезда...»)

Многие строки этой книги найдут благодарный отклик в чутких к поэзии сердцах.

Море рядом, за сопками где-то.
Воздух острый, соленый, как брынза...

(«Сахалин — это раннее утро...»)

Запомнится своей свежестью и «остротой» этот морской воздух, «соленый, как брынза».

Или, обращаясь к начинающим педагогам, поэт говорит:

Соберет малышей к вам
таежная осень.
Будет школа полна,
как корзина опят.

(«Первое сентября»)

Очень тепло и выразительно сказано о первоклашках!

Стих выразительных, как я сказал, много. Примеры легко можно умножить. И, пожалуй, самое отрадное в этой книге то, что она хоть и первая в творческой биографии поэта, но уже отмечена чертами гражданской зрелости. В подтверждение своих слов приведу одно стихотворение Евгения Шлионского целиком:

Будь велик,
Как твоя страна!
И живи ее счастьем
И бедами.
Ведь она
У тебя
Одна,
С ее горестями,
Победами.
Ну а если злословить привык,
Когда трудно ей
Или больно,
Вырви грешный себе язык!
Слишком просто быть недовольным...
Ты возьми на себя
Всю боль,
И тогда завоеешь право
На страдания и любовь,
На суровое слово
Правды.

По-моему, это замечательное стихотворение, одно из лучших в книге. Уверен, что под ним могли бы подписаться тысячи

ровесников Е. Шлионского как под документом гражданской зрелости и верности Родине. А это, я верю, самое прекрасное для поэта — добиться такой удачи, когда твои строки берут на вооружение современники. Хорошо понимая это, Е. Шлионский в одном из других своих стихотворений говорит:

На нашей планете, тревогой объята,
Поэт не флейтист, а сигнальщик у горна.

Думаю, это достойная, я бы сказал, «маяковская» позиция в поэзии. И это по-настоящему радует.

Я не все сказал о достоинствах первой книги стихов Евгения Шлионского. Но разговор был бы неполным еще в большей степени, если бы я не остановился на некоторых промахах в работе моего молодого коллеги по перу. А они, конечно, есть.

Начну, казалось бы, с самого малого, с элементарного в разговоре о поэзии — с рифмы. Небрежность к рифме может обернуться для поэта небрежностью к смыслу, а небрежность к смыслу может вызвать у читателя пренебрежение к тому, что написал поэт. . . Это не я первый сказал.

В принципе Е. Шлионский за рифмой следует, есть у него очень свои, дерзкие рифмы. Но есть и просчеты. К примеру: «солнце — оконце», «тризне — жизни». Ветхость этих рифм очевидна. Или: «готов — любовь», «шута — навсегда». Нельзя же так небрежно! Или: «я — меня». Но неудачные рифмы, кажется, этими примерами и исчерпываются.

Другой недостаток — это торопливость, беглость стиха, недоношенность замысла. Вот, к примеру, неплохой зачин стихотворения:

Пережиты декабрь и январь.
Лик якутской зимы просветлел.
И февральского солнца янтарь
Пожелтел, подобрел, потеплел.

Хочется хорошего разворота темы, интересного разговора. А следуют у поэта за этими четырьмя строчками еще четыре, которые сводятся к мысли: «В минус тридцать промерз бы Париж. Минус тридцать для нас — как подарок». Вот уж воистину открытие для поэта!

К таким же «невыношенным» миниатюрам я бы отнес и стихотворения «От двухдневного шторма пьяный. . .» и «Для того надеваю ласты. . .».

Встречаются в книге неточные строки, вроде «Крылья свои ссутуля». Есть плакатность:

Да будет утро солнечным и синим!
Да сгинет призрак ядерной войны!

Поэт, как известно, имеет право врываться и в другие сферы смежных искусств (в конкретном случае — в искусство плаката, лозунга), но не может обернуться пользой подмена средств собственно поэзии средствами, свойственными, скажем, плакату.

Отмеченные мной недостатки в книге «Тайфун» не затемяют в ней главного, настоящего. Они просто свидетельствуют о том, что у автора ее есть большие резервы поэтического совершенствования. Именно этого я и хочу от души пожелать моему молодому коллеге!

Сергей Макаров

ЯНВАРСКИЕ СКВОРЦЫ

Так назвал свою первую книгу стихов молодой ленинградский поэт Юрий Оболенцев.¹ О чем же его стихи? О Родине, о ее замечательных людях, о неповторимой русской природе, о героических свершениях наших предков, о заботах современников. Автору нет нужды придумывать лирического героя — лирический герой входит в стихи прямо из жизни, ибо Юрий Оболенцев работал в цехах ленинградских заводов, плавал на рыболовецких траулерах, не по книжкам знаком с трудом и хлеборобов, и корабелов.

Поэт обладает счастливым даром живописать природу:

Пришла к реке на водопой
Ночь вороною кобылицей,
Оленем рыжим лунный свет
Задумчиво застыл у брода...

Но поэт не ограничивается пассивным любованием природой — свое умение живописать словом, вдохнуть в него импульсы энергии автор переносит и на реальные бытовые сцены будней: «Третьи сутки у нас беда: в ключьях пены, в надсадном храпе, взбунтовавшаяся вода подступает под самый ста-

¹ Юрий Оболенцев. Январские скворцы. Стихи. Лениздат, 1977.

пель. . .» Так начинается триптих о наводнении, о людской спайке и взаимовыручке, о победе над стихией. Корабелы — народ дружный, работающий, смекалистый. Вот в шестом пролете бродит лось, пришедший на судоверфь по льду залива, и стоит себе возле стапелей, как на опушке под сосной, — «. . .огромный, ладный, рога лопатой — древний дух лесной. Светлее вроде в прокопченном цехе и славно пахнет первою листвою. . .» И, чтобы не причинить сохатому вреда, его выманяют на волю ломтями хлеба с солью, иначе, испугавшись, лось стал бы метаться, мог бы побить людей и себя погубить. И когда довольный лось, похрустывая коркой, снова вышел на лед залива, корабелы по-доброму шутили: «„Жми, сохатый! Лосихе — пролетарский наш привет!“ И несентиментальные ребята кепчонками махали гостю вслед».

Особенно тепло и нежно поэт говорит о земле, об извечных заботах хлебороба об урожае. Оболенцева вдохновляет и первая борозда, проложенная пахарем на целине, и колосющийся хлеб, стоя встречающий грозу, и уборка урожая: «В степи — ступай любой дорогой, любая приведет на ток. Здесь горы хлеба — как итог людской заботы и тревоги». Автор называет урожай «новым хлебом», «трудным хлебом», ибо в каждом зернышке — «частица сердца». Пятистопный ямб хорошо передает трудные ритмы целинных будней:

В разгар страды машины уставали,
Тогда, моторы заглушив на час,
Мы в борозде по-фронтовому спали,
К нагретым за день тракам привалясь.
Не для отчетов и не ради славы
Без продыха горбатили хребет. . .
Земля, мы делом добывали право
Судьбою стать причастными тебе.

С хорошим юмором Юрий Оболенцев повествует о встрече с бабой-ягой, к которой пришел за сказками; ненавязчиво рассказывает о том, как можно добывать дикий мед, не разоряя борт; вводит читателя в стародавние времена хазарских набегов на Русь, живописует Дикое Поле, знакомит нас с прашуром, который выгибает «круторогий лук», ибо настоящего нет без прошлого, а будущего — без настоящего.

Почти в каждом стихотворении автор славит жизнь, не обходя ее острых углов, славит саму жажду жить:

Жить —
каждой нервной клеткой

причаститься
к земле —
впитать ее тепло.
И петь!
И песню чувствовать,
как птица
упругость ветра
чувствует крылом.

Да, лирический герой стихов Юрия Оболенцева живет крупно, честно работая, вдохнув в труд свою душу, талант, энергию. Вот он овладевает профессией сварщика, вот он плывет матросом на советском корабле в субтропических водах далеко от Родины, вот он читает свои первые стихи в обеденный перерыв друзьям-рабочим: «Оказалось таким непростым — взять и на люди вынести слово... Много легче — стальные листы выправлять кувалдой пудовой! На краю верстака стою, растревожен, обеспокоен... Я товарищам отдаю в жизни самое дорогое».

Многие стихи книги написаны мастерски, искренне. Нельзя, однако, не отметить некоторые существенные недостатки: автор зачастую небрежен в рифмовке, иногда создается впечатление затянутости отдельных стихов, и, на мой взгляд, молодой поэт злоупотребляет пятистопным ямбом: почти все стихотворения в книге написаны именно этим размером, а однообразие, как известно, нередко утомляет.

В небольшом отклике, естественно, всего не скажешь. Ясно одно: в ленинградской поэзии зазвучал еще один голос, к которому, несомненно, прислушаются любители поэзии.

Николай Сотников

ПЯТЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРЕМЬЕР

Третья кассета молодых поэтов (Анатолий Белов, «Новый возраст»; Валентин Голубев, «Праздник»; Лидия Степанова, «Два легких крыла»; Андрей Романов, «Сторона отправления» и Григорий Калюжный, «Разбег»), выпущенная Лениздатом в 1976 году, по праву привлекла внимание любителей поэзии. Все пять молодых авторов первых книг принадлежат к послевоенному поколению — и по мироощущению, и по возрасту. Правда, Белов на несколько лет старше своих товарищей, но эти несколько лет — пока, во всяком случае, — не пролегают в стихах рубежом, они лишь делают стихи как-то серьезнее и степеннее.

Трое из пяти — Белов, Голубев и Калюжный — были участниками VI Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве в 1975 году. Они вместе вошли в состав литературного объединения при журнале «Аврора», и основные их публикации были именно в «Авроре» и в альманахе «Молодой Ленинград». Андрей Романов «начался» в газете «Смена» (там была опубликована его «Баллада о прорабе»), а Лидия Степанова, выпускница Литературного института имени Горького, имела к тому времени первую собранную книгу стихов. Так и сложилась кассета.

Что же объединяет этих совершенно разных и по судьбам, и по творческой манере авторов? Когда критики ана-

лизируют творчество послевоенного поколения в поэзии, то отмечают как одну из главных героинь лирики — память, пусть детскую, пусть опосредованную, но личную. Память о войне народной, о войне священной. Писать, думать о войне и победе для послевоенного поколения, обязанного своей жизнью народному подвигу в Великой Отечественной,— долг и воистину священная обязанность. История и предыстория этого поколения без периода, который обозначается в наиболее лаконичном виде цифрами 1941—1945, немислимы. Да и послевоенная жизнь неразрывно связана с последствиями войны.

Мы родились, когда все пушки
умолкли. И затихла даль.
Нам первой детской игрушкой
была отцовская медаль.
И наши мамы были рады,
что позади война и страх.
И нас, как высшую награду,
держали в худеньких руках.

Это восьмистишие Лидии Степановой. Она как поэт очень непосредственна и доверительна. Может быть, именно поэтому ей удалось выразить то, что не сумели сказать многие поэты послевоенного поколения. Чувствуется, что молодая поэтесса прошла серьезную профессиональную школу в Литературном институте имени Горького. Ведь, по сути дела, это ее творческий диплом.

Правда, после первого прочтения очевидная гладкость писания может показаться творческой безликостью. Но это не так. Стихи Степановой написаны для чтения преимущественно про себя, не вслух, а кажущаяся монотонность оказывается на поверку тонкостью словесного рисунка — в нем мелкие штрихи, в которые надо пристально взглядеться.

Сколько поэтов славили первый снег, повторы, казалось, уже неминуемы, но Степанова смогла увидеть первый зимний день первозданно:

Так бывает всегда:
соберут вожаки
лебединый народ —
и начнут воевать.
Будут кличи лететь
на село у реки,
и потрескивать льды,
и ветра завывать. . .

Нет, не бой лебедей:
это, светел и сух,
осыпается
на голубые дома
оглушающий их,
ослепительный пух.
И название тому не война —
а зима!

Когда цитируешь иные стихи, то видишь, что разбивку строк можно не соблюдать, так как она носит случайный характер и не вызвана необходимостью. В данном случае просто необходимо полностью передать графику стиха. Ничего не скажешь — красивая работа!

Стих Степановой открыт и для классического речевого оборота, и для традиционно-поэтического образа, и для нынешней разговорной речи. Почти все ее стихи — внутренние монологи. Она, конечно, горожанка, но городом не поглощена, не скована. У нее очень тонкая душевная организация, и порою кажется, что она словно боится писать в полную силу, боится взять высокую ноту, сказать чуть громче даже то, что хотелось. Будем надеяться, что это пройдет с накоплением опыта, с годами. Сейчас для нее самое важное — как сложится ее биография, жизнь. «Половина улицы — в тени. Половина — солнцем залита». Эти строки — меньше всего о городе в солнечный день. Поэтесса не желает бесшабашной и бездумной радости, ведь она «так однообразит наши дни», вот почему не стоит гнать печаль, именно печаль просветленную, умную, которую славил еще Пушкин. «Хорошо, что в грусти пол-лица, половина улицы — в тени». Не только тонкое наблюдение, но и зримую картину городского пейзажа сумели передать простые слова.

«Свет», «солнце» — неперенные героини ее стихов, а если они не названы, то присутствуют. Кроме того, они неоднозначны. Вот стихотворение: «Раньше я думала: это пустыяк — взять и уехать на все на четыре стороны света. Ведь в солнечном мире все одинаково. Разве не так?.. Думала: все одинаково в мире, солнцем заполненном... Как бы не так!» В других двух строфах нет ответа, там говорится об осени и зиме, но что-то и недоговаривается сознательно. Поэтесса настраивает на раздумья, дает им ход, направление. Вот и здесь между первой и последней строфой не просто осень и зима, а прошедшие годы, заставившие трезво и серьезно задуматься о жизни, о собственной судьбе; от романтического

юношеского порыва к душевной зрелости, пониманию пролегла дорога.

Нельзя не сказать о стихотворении Степановой про зеркало. «Не с зеркалом беседуя, не с ним — с самим собой все глубже, все неспешней, куда самый взгляд не стал двойным: одновременно внутренним и внешним» — в этом четверостишии, видимо, ключ к стихам Степановой, у которой даже ирония способна быть лиричной.

Остальные авторы кассеты подходят к военной теме издалека, рассказывая скорее и охотнее не о себе — о встреченных людях. Есть у Анатолия Белова стихотворение «Егор Заречный». Оно повествовательное и незатейливое. Где-то на Руси жил «у реки в избушке... белоголовый внучек кузнеца», играл, рыбачил... наверное, не очень-то дружил с соседскими ребятами, раз они его прозвали «Егор Заречный, сверчок запечный»; а когда подросли сверстники, то уж и невзлюбили его вовсе — ведь самая красивая девчонка ему, а не кому-нибудь из них сказала: «Егор Заречный, дружок сердечный». Потом была свадьба на всю деревню, и вскоре на Егоровы плечи... легла боевая гимнастерка. Вернулся он домой весь израненный, и людская молва родила другие слова о нем, горькие и по-деревенски прямые: «Егор Заречный, солдат увечный». Но повторяется на безвестной реке судьба другого Егорки, «пока во всем похожего на отца», снова дразнят ребята его заречным и сверчком запечным... Вот вроде и все стихотворение, фабулы которого иному прозанку хватило бы на размашистую повесть. Прочитированный рефрен кажется и одинаковым, и бесконечно разным: он звучит то как детская дразнилка, то как признание, то как горькая правда. Нервным центром стихотворения становятся слова из последней строфы: «*пока* (курсив мой. — Н. С.) во всем похожий на отца». И в этом *пока* сосредоточен весь поэтический заряд стихотворения: неужели и о другом Егорке можно будет когда-нибудь написать точно такое же стихотворение? Стихотворение прекрасно интонировано, оно щедро на точные и простые подробности. А вот другое стихотворение:

Светлая березовая рошица
на краю Сиявинских болот
то зеленым знаменем полощется,
то осенним пламенем цветет.
Вспять летит обочина шоссе́йная,
редко здесь машины тормозят,

зернами железными засеяна
эта роща много лет назад.

Здесь вода в траншеях ржавых копится.
Здесь скворцы проклюнутся не вдруг.
Здесь пройдет грибник —
и стрелка компаса
бешено замечется вокруг.

Стихотворение имеет притягательную силу, оно зовет к раздумьям об обездоленной природе и обездоленной жизни. Стрелка компаса. . . Такая же незримая стрелка компаса есть, видно, и в нашей молодой поэзии. Она то бешено мечется на подступах к военной теме у одних авторов — хочется сказать свое, но либо не хватает слов, либо ощущается со всей острой недостатком жизненного материала, — то замирает в каком-то одном, уже проторенном направлении.

Военная тема требует не только мужественности, но и особой ответственности, ясности. Неточность, простительная в ином случае, в иной теме, здесь может повлечь за собою ряд существенных ошибок, в числе которых, в частности, и нежелательные сантименты, и неуместная краснота. Вот почему Белову удалось восьмистишие «Три «мессершмитта» над деревней вились. . .» и оказалось несовершенным, недоработанным стихотворение «Мальчишка». Восьмистишие заслуживает того, чтобы его процитировать:

Три «мессершмитта» над деревней вились —
к березам прижимали «ястребок».
А в огородах женщины крестились,
желая, чтобы «бог сынку помог».

И он вгонял стервятников в могилу.
И верилось, что Родину спасет
и горестное «господи, помилуй!»,
и яростное «соколы, вперед!».

Стихотворение «Мальчишка» проще, менее драматически напряжено, внешне правдоподобно с житейской точки зрения. Однако в нем причудливо сплелись погрешности большие и малые. В прифронтовой деревне, «в погребке запыленном», мать с грудным ребенком ведет свое, женское, единоборство со смертью: «И не было цели выше, чем та, что звала и впредь бездомного — взять и выжить, голодного — не умереть». Если бы ситуация, а главное, поэтические обобщения были локальнее — выжить любой ценой, дожидаясь прихода

своих, — то стихотворение, возможно, и удалось бы, но чрезмерно далекий и в принципе безграничный выход за контекст привели к утверждению неверной по существу идеи. Высшей целью была Победа, а не просто сохранение своей жизни любой ценой.

В книге Анатолия Белова — широта диапазона, интересов, творческая отзывчивость на нашу жизнь. А. Белова одинаково волнует судьба первозданной природы и строительство новых городов, тема войны и Победы, деревенское детство на Селигере и Ленинград, в котором у него «изменились привычки» и «повзрослели заботы»; даже о личной своей семейной жизни он может написать в стихотворении «Единственный наследник» ненавязчиво, тонко и остроумно.

Особенно примечательно стихотворение Белова «Из варяг — в греки». Тут возможны были любые опасности — хрестоматийность, вторжение в сферу исторической науки, расхожесть образа. Ни одна не оправдалась. Молодой викинг едет в Русь «из морей — в реки, из варяг — в греки...». Молодость и сила дружат с искренним, неподдельным интересом к миру неведомой богатой страны, но ее богатства для него пока — только в щедрости, которой наделила природа эти края. Путь продолжается, долгий, многотрудный: «Вот и лоб — потный, вот и ход — полный, и второй за день поворот — сзади. Схватишь шесть острых — оттолкнешь остров, распахнешь ворот, обомрешь — город!» Стихотворение у Белова завершается там, где у другого автора оно бы начиналось. Только две последние строки передают чувство изумления и восторга молодого викинга, но какая в них гордость за Русскую землю, за нашу историю — не сказочную, реальную, но такую, что и со сказкой не сравнить!

Валентин Голубев моложе. Он увлеченнее в стихах, чем Белов. Порою это даже не увлеченность, а упоение. Как пишет сам поэт, он, упоенный земной красотой, избалованный ею, «бежал из леса к людям» и «не слушать — петь хотел». Военную тему он пытается решить плакатно, несколько высокопарно в стихотворении «Парламентер»: «Все пушки разрядив в меня, о люди, прекратите войны!» Такой призыв убеждает куда меньше, чем строки в том же стихотворении: «А я — оттуда, где война людским карается законом». Размашистость, цветистость образа, любованье сказочными персонажами, характерные для его книги «Праздник», не могли ему помочь в освоении военной темы. Стихотворение «Лицо Времени», не-

смотря на высокую степень обобщенности, не растворилось в общих словах. Оно написано от лица нашего, послевоенного поколения: «У Времени свое лицо — плотины иль могилы братской. Вот пережили мы отцов, пора и нам за дело браться. . . Окажется в конце концов, что дети мы поры великой. У Времени — свое лицо. Одно Безвремяе безлико». Стихотворение «Лицо Времени» ставит вопрос о героях войны, которые «остались в памяти земной». Это лирический реквием, и продолжает он во многом тему и проблематику «Реквиема» Роберта Рождественского — где теперь искать следы войны. Речь у Голубева идет о героях павших, навсегда оставшихся молодыми: «Герои не успели постареть, они, собой являя исключенье, уснули у притихших батарей давно уже минувшего сраженья, они ушли в тот вечный переплав лугов с цветами, пашни с перегноем, зеленою ракетой отпылав, последнею, сигнальною, пред боем. . .»

Радует в стихах Голубева обращение к теме дружбы народов, стремление постичь народ и культуру братской Туркмении. «Среди друзей и мне не быть чужому!» — утверждает он в стихотворении, посвященном своему новому туркменскому другу. Однако в целом к творческим удачам стихи туркменского цикла не отнесешь: есть в них, к сожалению, некая поза, чрезмерное увлечение экзотикой. Но это ведь первая встреча Голубева с национальной культурой и жизнью.

Да, Голубева привлекают фольклорно-сказочные мотивы, точнее — не мотивы, а образы. Ему верится, что условно-сказочные Аленушка, Снегурочка, Несмеяна помогут понять «недавние дни и дни бывалые» «деловой страны». Отдельные строчки в этих стихах запоминаются (например, «на древе русской старины листвою годы облетали»), но в целом в подобных поэтических опытах есть заведомая искусственность.

Голубев не скрывает от нас своей творческой цели: «Я пересыпал песни сказкой и древней сдобрил их молвой». В такой поэтической формуле прочитывается рецепт мастерства, в котором всего важнее *как*, а не *зачем*. Видимо, не спасут ни песенность, ни сказочность, если условность поглощает живые мысли и чувства.

Стихотворения «Холодный день» и «Я видел это, слышал это. . .» — прямая противоположность тем, о которых только что говорилось. Первое — казалось бы, простая зарисовка сельского дня и вечера, но поэтические строки, как мазки на живописном полотне, не дали забыться отлетевшему дню:

О чем-то скрипнут половицы грустно,
нахлынут песни наших русских сел.
Хозяйка в ведрах, свесившихся грузно,
на коромысле вечер принесет.

Вечер, принесенный в избу на коромысле, стоит куда дороже, чем обыгрывание любых, самых даже изначально поэтических сказочных образов. Глубоко волнует и второе стихотворение, написанное на едином дыхании. Атеистическая тема вообще в литературе чрезвычайно трудна, а в поэзии — тем более: много было на этом пути примитива, мало пронизательности, много частушек и агитационной сатиры, чрезвычайно мало поэтической проникновенности. Над теми, «кто на колени перед иконами упал», над колокольной кружат в вышине дикие голуби — «над всем отжившим и живущим, над той мечтой, что будет жить, но по-другому: много лучше и много выше, может быть, что в тех, молящихся и жалких, иная вера ожила — не та, что их к земле прижала, а та — чтоб в небо подняла». Эти стихи Голубева можно по праву считать поэтическим рубежом, исходным рубежом в его дальнейшей работе.

Григорий Калужный тороплив, слова его словно летят со скоростью самолета. Стихи для него не столько творчество и дело жизни, сколько наиболее приемлемая форма самопознания, кристаллизации каких-то неосознанных, рвущихся из души на волю ощущений. Поэтому эмоциональный поток редко еще, к сожалению, выносит на поверхность завершенные строки. Профессия (а он штурман лайнера ТУ-104) наложила на его творчество сильный отпечаток. Прекрасно ощущение полета, исполнена романтики авиация, забываема земля под крылом самолета... Все это так, но самолет продолжает набирать высоту, пейзаж уже не пейзаж, а карта, наконец и она не видна — видимость закрыли облака... Цепочка этих примеров преследует, когда читаешь стихи Калужного. Перед нами бесконечные виды с высоты полетов на лайнере. Аэродром красиво величается Парнасом, а он всего лишь, как было сказано у одного поэта, «цивилизованное поле». «Стихи, надежды — в сумме» повисают на самолетном крыле. Любимая «свежа, как чувство виража» (!). Ей лирический герой предлагает: «Сентиментально ослепи собою». В другом стихотворении выясняется, что, «склоняясь над Землею, поэзия всемирно настаёт». Читаешь эти стихи, и тебя не покидает чувство, что автор все время как бы кокетничает своей профессией. Да,

среди поэтов авиаторов мало. Нет их вовсе среди космонавтов. Но разве это исключает тот факт, что в арсенале поэзии есть прекрасные стихи и об авиации, и о космосе! Кроме того, авиация ныне не прерогатива летчиков, и, хотя боковой иллюминатор в салоне самолета дает меньший обзор, чем открывающийся из кабины пилота, поэты, критики и читатели испытали чувство, говоря словами Калюжного, «когда в тебе свершается полет». Правда, как в тебе в тот миг может «свершиться голубое», по вполне понятным причинам, кроме автора, никто не понял.

Калюжный пишет не только об авиации. В стихотворениях «Гость», «Альбом», «Лесной пляж», «Педсовет» и других соседствуют с красотами нарочитые прозаизмы типа «наглядный факт — неумолимо время». Иногда стихотворный вихрь заносит в самопародию: «Я думаю об алкоголике с талантом, в замкнутом кругу. Что часто по какой-то логике двух слов связать я не могу. И ничего не помогает: ни труд, ни злость, ни летный стаж...». Как было однажды сказано, «стихотворная строка и упряма, и строга». Такому упрямству и такой строгости надо воздать хвалу. В стихотворении «Сом», единственном сюжетном произведении сборника «Разбег», автору удалось добиться цельности, завершенности. «...Был мой сосед с хитринкой верной дядя, сетями рыбу греб из рек, не глядя. Тот дядя в нерестилищах знал толк — он дрыном рыбу бил под вздох». Браконьер — это кулак на природе, видимо, последний в истории кулак, которого так трудно бывает найти и раскулачить. Характер, сущность этого «кулака на природе» Калюжный сумел передать убедительно, психологически достоверно и художественно оправданно. Опыт этого стихотворения безусловно может помочь Калюжному в последующей работе.

Андрей Романов — типичный горожанин, даже точнее можно сказать — типичный ленинградец послевоенного поколения. Профессия железнодорожного инженера-строителя заставила его немало поколесить по стране, но память в стихах неизбежно возвращает его в родные уголки Ленинграда. Вот он приходит в недавний пригород в августовский теплый вечер, вот ищет послевоенное Лесное, наименее пострадавший в годы блокады район, вот видит в современном ленинградском трамвае тот «блокадный трамвайчик», который так обнадежил ленинградцев после суровой зимы.

Чтобы написать стихотворение «Ленинградская вагоновожатая», нужно быть коренным ленинградцем. Иначе этого просто не увидишь. Романов вообще тяготеет к сюжетным стихам, старается тщательнее прописывать поэтический сюжет. Вагоновожатая в наши дни снова видит перед собой блокадный город, «необстрелянного мальчика» с «тремя кубиками в синих петлицах», петлицы запомнила, а лицо — нет, потому что «стираются в памяти лица ушедших на битву ПАРНЕЙ». Он назначает ей свидание на трамвайной остановке. . . ДЕВЯТОГО мая. Это уже натяжка, слишком точный прогноз — даже не в «шесть часов вечера после войны!» А дальше идут последние две строфы:

. . . Победным салютом расцветен
давно завоеванный май,
и к месту несбыточной встречи
ты снова торопишь трамвай,
и снова считаешь минуты
с тоской на усталом лице
в кольце городского маршрута —
в своем обручальном кольце.

Заключительный образ — заключительный аккорд. Он обжигает душу и поднимается до высот подлинной поэзии.

В совсем не военном стихотворении «Бухгалтер», тоже сюжетном, этот «сказочный Кощей», трясущийся за казенную копейку, в споре с молодым строителем по поводу сметы находит последний и главный аргумент: «Эх, парень, ты не ел военный хлеб!» Эти слова запали в душу и органично вписались в несколько необычное, на производственно-финансовую тему, стихотворение. А вот миниатюра «Воспоминанье детства» не получилась. И главная причина неудачи опять же в неточности образов — солнце не может лежать на плечах, как погоны, след от костылей — две маленькие точки (да еще на перроне!), и от них не может клубиться пыль.

Андрей Романов начинал с производственной темы, столь редкостной в поэзии. Его «Баллада о прорабе» появилась в книжке видоизмененной по сравнению с газетным вариантом. Снят налет риторики. Стихотворение стало мягче, лиричнее, убедительней. Радует, что большая стройка показана через рабочий день одного человека без лишних цифр, терминов и призывов. Однако то, чего все-таки избежал Романов в «Балладе о прорабе», засорило и оказнило другие его стихи о строителях и железнодорожниках — «Балладу о безотказных», «Ночь перед наступлением» (рассказ начальника сортировоч-

ной горки). Попробуй угадай, что означает эта фраза из стихотворения: «А скорость надвига состава была предельно высока»! Не спасают положения и разговорные интонации в «Балладе о безотказных», ибо речь героев в таком виде была бы неуклюжа даже в прозе. В поэзии же мера особая. Убедитесь сами: «Мы считаем, запиши, прораб, наши «ветровые» сторублевки в детский комплекс вкладывать пора. Понимаем, что добиться сложно, но детсад по горло нужен нам... А чтоб не было простоя, через час конструкции давай... Подвозите и цемент, и доски, и на крыши листовую жечь...» Это, между прочим, тоже стихи... Но самое интересное, что они завершаются так: «Правильно подметил Маяковский: город будет — если люди есть!» Во-первых, Маяковский «подметил» не так. Можно напомнить: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвести, когда такие люди в стране советской есть!» Разница огромная!

После того как прочтешь эти стихи, с трудом верится, что «Стрелочницу» написал тот же автор. Пожалуй, пока это лучшее его стихотворение, так же как у Калужного — «Сом». И вот ведь чудо — если термины и техницизмы душили поэзию в других стихах, то в этом даже слово «блокировка» воспринимается естественно, без пояснений:

Одинокий флажок твой дрожал на весу,
и тогда становились кому-то роднее
и вокзальчик в снегу,
водокачка в лесу
и крутой поворот однопутки за нею.

А когда мы ввели блокировку и связь
и пошли поезда без стоянок, со свистом,
то в тебе невесомая нить порвалась,
та, что в узел связала далекое с близким.

Подобная невесомая нить существует и в поэзии. Ее так легко порвать и так трудно найти и протянуть от слова к слову!..

Третья кассета. Пять поэтических премьер. Десятки стихов, из которых мы выбрали лишь некоторые, наиболее характерные, примечательные. Но главное, что вышли в свет новые первые книги — яркие, праздничные, со вкусом и выдумкой оформленные! Время покажет, оправдаются ли прогнозы, сбудутся ли предсказания. А пока авторам хочется пожелать неуспокоенности, строгости к себе и определения ясных дорог в начале пути.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Ковалев	Мне нравится, Апрель идет по Выборгской, Блокадница, Толока, Суздаль, Июль в Михайловском, Плевен. <i>Стихи</i> 5
Олег Стрижак Поль Герман	Весла. <i>Повесть</i> 10 Баллада о гражданской, «Срыва- я с крыльев неба сгустки. . .», «Как давно это было: война, и жесто- кий мороз. . .», Ночной полет. <i>Стихи</i> 67
Наталья Ивасенко Павел Першин Юрий Шестаков	Сын, Автопортрет. <i>Рассказы</i> . . . 72 На БАМе, Дорога в тайге. <i>Стихи</i> 86 Весна, «Часто снится лето. . .», «Озвучено полднем июльским про- странство. . .». <i>Стихи</i> 89
Николай Байбанов	«О весне подумалось невто- пад. . .», «Костры ночные, сколько раз. . .». <i>Стихи</i> 91
Николай Шуманов Сергей Сорокин	Непрощенные заботы. <i>Повесть</i> . . 93 Корабел, «Я на завод пошел рабо- чим. . .». <i>Стихи</i> 153
Николай Севастьянов Борис Орлов	Старые раны, Зерна. <i>Стихи</i> . . . 155 Грузчики, У братской могилы. <i>Стихи</i> 156
Александр Люлин	Утро перед снегом, Перемена де- кораций. <i>Стихи</i> 158
Анна Сухорунова Людмила Фадеева Светлана Вишневская	Сотвори себе дом. <i>Повесть</i> . . . 160 Чайка, Белые ночи. <i>Стихи</i> . . . 206 «Ни гулкой арки, ни крыльца. . .», «Даже пыль не пылит. . .». <i>Стихи</i> 208
Юрий Леушев Валерий Трипутин Михаил Тулин	Игра (<i>Рассказ радиста</i>) . . . 210 Со второго взгляда. <i>Рассказ</i> . . 218 «Посмотрите на нас, герои. . .», «Атаки кончились. Окопной жизни взгляд. . .», Весна. <i>Стихи</i> . . . 228
Петр Кондратенко	«Постели, как бывало, в сенях. . .», «Ребенок рисует небо. . .». <i>Стихи</i> 230

Ирина Борисова
Эдуард Задеенюк

Анатолий Домашев

Михаил Чулани
Олег Великосельский
Анатолий Иванен

Вадим Кругов
Нина Погодина

Александр Скоков
Ирина Дружинина

Игорь Безбородов

РЕЦЕНЗИИ

Вячеслав Кузнецов
Сергей Макаров
Николай Сотников

Домашняя жизнь. <i>Рассказ</i>	232
«Казалось бы, так было и так будет...». <i>Стихи</i>	241
«Остров, остров! Как палубой гулкой...», «Вот зазеленеют стадионы...», «Изучен каждый завиток...». <i>Стихи</i>	242
Хорошо, что все прошло. <i>Повесть</i>	244
Пять цветов радуги, Сирень. <i>Стихи</i>	282
«Грушу — потому и грузчик...» <i>Стихи</i>	284
Обретение зрелости. <i>Повесть</i>	285
Вьюга, Запоздалые слова, Рожденье стиха. <i>Стихи</i>	324
Додонов. <i>Рассказ</i>	326
Чудо, Точка зрения. <i>Юмористические рассказы</i>	341
Скажи-ка, дядя... Стихонерест. <i>Литературные пародии</i>	345

«О, как мне передать свой свет...»	347
Январские скворцы	352
Пять поэтических премьер	355

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1978
368 стр. План выпуска 1978 г. № 35

Редактор *Т. Д. Зубкова*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *Э. Г. Игнатова*
Корректоры *Ф. С. Флейтман* и *Г. Л. Черняк*

* * *

ИБ № 1571

Сдано в набор 18.07.78. Подписано к печати 17.10.78. М 18679. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,39. Уч.-изд. л. 19,15. Тираж 30 000 экз. Заказ № 641. Цена 1 р. 50 коп.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Невский пр., 28.

* * *

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

1р. 50к.

